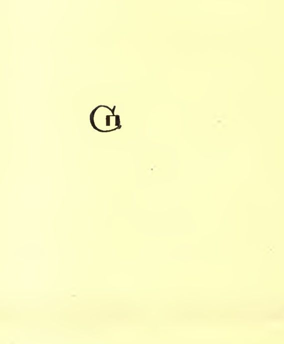
Александр Исбах

На литературных баррикадах

А. Серафимович
Д. Фурманов
В. Маяковский
В. Вишневский
Ф. Панферов
Я. Ильин
Э. Багрицкий
Е. Петров
В. Луговской



Александр Исбах

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА — 1964

На литературных баррикадах

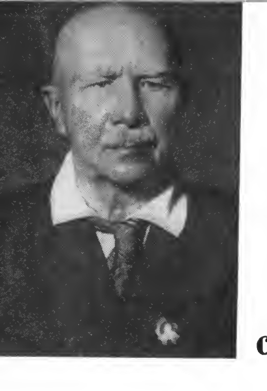
Александр Серафимович
Дмитрий Фурманов
Владимир Маяковский
Всеволод Вишневский
Федор Панферов
Яков Ильин
Эдуард Багрицкий
Евгений Петров
Владимир Луговской

В сборник Александра Исбаха «На литературных баррикадах» входят литературные портреты писателей-современников, всегда находившихся на линии огня, на литературных баррикадах, всегда державших руку на пульсе жизни народа, сражавшихся своим оружием — искусством — против реакции, против буржуазной идеологии во всех ее проявлениях, за высокие идеалы социализма и коммунизма.

Александр Исбах рассказывает о писателях, с которыми ему лично приходилось встречаться, дружить, совместно работать долгие годы, воевать против фашизма на фронтах, участвовать во многих боях за социалистический реализм.

Жанр книги своеобразен. Это и очерки, и лирические воспоминания, и литературоведческое исследование.

Вся книга, органически цельная, пронизана пафосом борьбы за социалистический реализм в искусстве.



Александр Серафимович

1

Имя Александра Серафимовича мы, пресненские комсомольцы, впервые услыхали в связи с рассказами о его сыне Анатолии. Мы еще очень мало знали историю русской литературы. Но имя Толи Попова было овеяно славой в московской комсомольской организации. Он был участником Октябрьской революции в Москве, вожаком первых пресненских молодежных организаций. Комсомол послал его на фронт, и он героически погиб, защищая советскую власть.

Его отцу, писателю-коммунисту Серафимовичу, сам Ленин послал очень теплое дружеское письмо, в котором сожалел о гибели Анатолия, просил писателя не предаваться тяжелому настроению, говорил о том, как нужны всему рабочему классу его работы, его творчество...

Мы познакомились с письмом Ленина и приняли на комсомольском бюро решение — изучить творчество писателя, которого так высоко оценил Ленин.

Коллективно мы прочитали рассказы «На льдине», «На Пресне», начали читать роман «Город в степи».

Рассказы понравились нам. Некоторые комсомольцы пробовали сами писать стихи, очерки, рассказы. При газете «Рабочая Москва» создали мы рабкоровскую литературную группу «Рабочая весна» и мечтали пригласить Александра Серафимовича руководить этой литературной группой. А вскоре при новом журнале «Молодая гвардия» было организовано объединение комсомольских писателей «Молодая гвардия». Входили в него тогда только начинавшие писать Николай Богданов, Марк Колосов, Яков Шведов, Александр Жаров, Иван Молчанов, Георгий Шубин, Михаил Шолохов, Лазарь Лагин, Валерия Герасимова, Борис Горбатов. Самым старшим среди нас был уже известный комсомолу поэт Александр Безыменский.

...И вот однажды мы нагрянули на квартиру Серафимовича. А жил он на Пресне, недалеко от знаменитой фабрики Шмидта, в самом центре старого рабочего района, района первых баррикад, описанных им в рассказе «На Пресне»,— Большой Трехгорный переулок, дом 5. Маленький старенький домик во дворе... Мы вломились сюда в один весенний день тысяча девятьсот двадцать третьего года, вломились незваными гостями... и с того дня, обласканные гостеприимным хозяином, протоптали постоянную стежку-дорожку к дому нашего «старшого».

2

Сколько вечеров провели мы в этой маленькой теплой уютной квартире! Садились вокруг большого стола, под яркой лампой. На столе шумел самовар. Дмитрий Фурманов читал здесь главы из «Мятежа». Потом, позже, совсем юный гость из Донбасса Борис Горбатов читал стихи и первые зарисовки комсомольской жизни. Рабочий паренек с завода Гужона («Серп и молот») Яша Шведов застенчиво знакомил нас с главами из повести «На мартенах».

Потом, еще позже, Михаил Шолохов рассказывал земляку о своих творческих планах.

Начинались бесконечные литературные беседы. Старый, мудрый, добрый Александр Серафимович подводил итоги нашим спорам, рассказывал о Ленине и его старшем брате Александре, о боях на Пресне, о литературных событиях 1905 года, делился воспоминаниями о Горьком, Короленко, Скитальце, Глебе Успенском, Леониде Андрееве. Перед нами раскрывалась большая литературная жизнь, в которую входили и мы, делая свои первые шаги в литературе. Здесь часами спорили и о первом томе «Брусков», и о первых главах «Тихого Дона», и — позже — о книге Василия Ильенкова «Ведущая ось».

Александр Серафимович любил молодежь, умел создать дружескую товарищескую обстановку. Он любил и пошутить и посмеяться всякой нашей

шутке и острому словцу. Лукаво прищурив глаз, он встречал каждого нового гостя, «церемонно» представлял своей жене, Фекле Родионовне, приглашал к столу и начинал «допрашивать»:

— Ну, молодой человек, вижу, по глазам вижу, что сочинили вы что-то необычайное. Не секретничайте, батенька, не секретничайте... Что нового видели, что нового написали?

Он всегда внимательно выслушивал все, что рассказывали писатели-«молодогвардейцы» о жизни, о мыслях, думах и чаяниях молодого поколения.

Он никогда не льстил молодым писателям. Его критика была творческой, она помогала жить и работать...

Сильно сердился Александр Серафимович, когда кто-нибудь из «молодых» брался описывать среду незнакомую. А в первые годы революции иные рабкоры сочиняли «завлекательные» рассказы из жизни аристократии.

— Ну и откуда это у вас берется? — говорил Серафимович.— Все это липа... Выдумка. Вокруг вас такая богатая, интересная жизнь... А вас... к графьям и князьям потянуло.

С огромным интересом относился он ко всякой новой рукописи о жизни рабочих. («Вот о чем писать надо... Вот что главное...») Поэтому так привлекали его рассказы Якова Шведова, а позже — роман Ильенкова «Ведущая ось».

Скажет свое слово, медленно, с расстановкой, опять прищурит глаз и спросит с этакой добродушной ехидцей:

— Ну, батенька, что вы скажете в свое оправдание?

Особенно близок Серафимовичу был Фурманов (так же полюбил он потом молодого Шолохова). В период работы над «Чапаевым» Дмитрий Фурманов еще не был знаком с Серафимовичем. Но, трудясь над «Мятежом», он не раз приходил в уютную квартиру на Пресне и читал отдельные главы. У них было много общих тем для разговоров. Ведь герой «Железного потока» (Епифан Ковтюх) был соратни-

ком Фурманова по знаменитому десанту в тыл Улагая.

Серафимович часто просил Фурманова подробнее рассказать о Ковтюхе. Старик внимательно слушал Дмитрия Андреевича, и в чуть прищуренных глазах его то и дело вспыхивала острая лукавинка.

Мы, молодые, боялись проронить слово. Так все это было захватывающе интересно. Вместе с Серафимовичем переносились мы на баррикады Пресни, вместе с Фурмановым и Ковтюхом по грудь в холодной воде переходили кубанские плавни.

Фурманов (он писал потом об этом и в дневниках своих) раскрывал перед Серафимовичем всю свою душу, советовался с ним о своих творческих замыслах и планах.

— Материалу у меня,— рассказывал он,— эх, и материалу! Кажется, так вот сел бы — полвека прописал. И хватило бы. Я все записываю — все, что случится по пути интересного. И материалу скопилось! Теперь только вот и распределяю: это туда, это сюда, это тому в зубы дать, это этому. Надо уметь все оформить, организовать.

А Александр Серафимович оглаживал свою лысину, поправлял неизменный отложной белый воротничок, покачивал головой и приговаривал:

— Да, вам вот, молодежи, вольно думать о всяких планах, а мне куда уж — годы вышли, да и сил не хватает.— И вдруг, хлопнув Фурманова по плечу: — Я вот, старый дурак, ничего не записывал — все заново приходится теперь собирать. Все некогда, казалось, да лень одна, а теперь куда уж...

Фурманов рассказывал о своих дневниках, а Серафимович все жадно вслушивался и покряхтывал:

— Кабы не поясница моя, кабы не сердце... Уж этот мне артериосклероз... Надо будет этим летом легкие подправить.

Но мы понимали, что старик хитрит. Понимал это прекрасно и Фурманов, записывая после таких бесед в свой дневник: «Выходило, места нет у него здорового. А все вот шумит, все вот волнуется, все в заботах: толчется в очередях у станционных касс,

нюхает по вокзалам, на постоялых дворах, у фабричных ворот, на окраинах, бывает,— и к себе зазывает рабочего, за бутылку пива усаживает, слушает, что тот ему говорит, а потом записывает...»

Мы, конечно, все наперебой старались убедить нашего «старшого», что ему еще жить и жить. По крайней мере лет до ста. Но, признаться, никто из нас и думать тогда не мог, что Александр Серафимович переживет Фурманова на целую четверть века, что в восемьдесят лет этот несгибаемый старик будет трястись на грузовике по военным дорогам, на фронт знаменитой Орловской дуги.

...«Мятеж» Фурманова очень понравился Серафимовичу с первой же читки.

Он написал к «Мятежу» взволнованное предисловие, в котором глубоко анализировал показанную Фурмановым обстановку в Семиречье, отмечал идейную глубину, всегда присущую Фурманову партийную направленность.

Александр Серафимович сделал Фурманову много критических замечаний, которые Дмитрий Андреевич принял с благодарностью.

Ранняя смерть Фурманова очень огорчила Александра Серафимовича. Очень сдержанный в выражении своих чувств, он сказал нам в минуту особой откровенности, что ему кажется, будто второй раз он теряет сына своего, Анатолия. На другой день после смерти Фурманова он напечатал в «Правде» статью, в которой запечатлел всю свою любовь к Дмитрию, сдержанно и страстно рассказал о всем, что их роднило.

«Что нужно от большевика? Чтобы он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом.

Таким был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же: революционный борец, революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий...

...Я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты,— я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это — художник, художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих...»

...И как наказ ушедшего от нас Фурманова, как наказ нашего «старшого», нашего вожака — к жизни, к борьбе, к творчеству звали нас последние слова некролога:

«...И он ушел. Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: *берите живую жизнь, берите ее трепещущую,— только в этом спасение художника!»*

Это была наша программа. Эти слова мы начертали на творческих знаменах в борьбе «со всяческою мертвечиной».

Этому учил нас весь многолетний творческий подвиг нашего правофлангового. Наше отношение к Александру Серафимовичу тогда уже прекрасно выразил сам Фурманов.

«Серафимович свою долгую жизнь — оттуда, из царского подполья, до наших победных дней — в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда ни единого раза не сошел с боевого пути; никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе...»

Глубже познавать жизнь — учил он нас всегда. Познавать ее во всей сложности, во всех противоречиях, во всех деталях.

Однажды он рассказал нам о том, как был в гостях у Ленина в Кремле, как пил с ним чай...

— И между прочим, из самовара,— хитро усмех-

нулся Александр Серафимович,— старенького помятого самовара.

Ленин очень интересовался жизнью рабочих Лосиноостровского арсенала, о которой ему рассказывал гость. Расспрашивал об их заработке, работе, школах, досуге, настойчиво выуживал каждую мелочь и заразительно смеялся всяким смешным деталям. А потом задушевно и любовно говорил о великом будущем рабочего класса.

— Уметь по-ленински верить в мечту и поленински превращать мечту в действительность. Об этом я думаю всегда,— очень просто и доверительно сказал Александр Серафимович.— А вы?..— И тут же тихо засмеялся, как бы разряжая напряженность минуты...— А вы? Что вы скажете в свое оправдание?

Однажды мы нашли старика необычайно взволнованным.

— А знаете ли вы, хлопцы,— спросил он,— что Анри Барбюс вступил в коммунистическую партию... Да вы, может быть, толком и не знаете, кто такой Анри Барбюс? Наверно не знаете...— И он рассказал нам о замечательном французском писателе, о его книге «Огонь», о его борьбе с реакцией.— Я вот тоже не видел его никогда, а люблю, как брата. Вот и письмо ему послал, приветствую его вступление в партию. Нашего полку прибыло...

Когда кто-нибудь из нас возвращался из очередной поездки по стране, он долго с пристрастием допрашивал нас. Горбатова — о жизни Донбасса, меня — о делах Коломенского завода.

А потом читал рукопись моего романа «Крушение», делал сердитые замечания на полях и говорил мне:

— А вот о старике Байкове вы рассказывали интереснее. А тут сфальшивили, надумали, приукрасили, батенька... А, сознайтесь, приукрасили? Ну, что вы скажете в свое оправдание?

О своей вере в молодую литературу он как-то хорошо и любовно написал в «Правде» в статье «Откуда появились советские писатели».

«Разве читатели не повернули головы к «Разгрому» Фадеева? Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана, и засветилась степь? И разве за ними шеренгой не идут другие? И ведь это все комсомол либо только что вышедшие из комсомола...»

Настоящим праздником был для нас вечер, когда Александр Серафимович прочел нам главы из «Железного потока».

Вечер этот был каким-то необычайно торжественным. Особенно блестел ярко начищенный самовар, и стол был уставлен всякой снедью. Фекла Родионовна даже испекла исключительные, замечательные пироги.

Вокруг стола сидели писатели старшего поколения: Федор Гладков, Александр Неверов, Алексей Силыч Новиков-Прибой... Мы, юнцы, скромно отступили на второй план.

Белый отложной воротничок Александра Серафимовича был ослепителен.

Фекла Родионовна потчевала вином и пирогами.

Александр Серафимович, как всегда хитро подмигнув нам, прищурил глаз.

— Я, братцы, хитрый... Вот подпою вас, хлопцы, чтобы подобрее были. А потом критикуйте...

Читал он хорошо, неторопливо, с выражением.

Чтение продолжалось до полуночи. И как же мы были горды за нашего старика, достигшего своей творческой вершины.

Старшие что-то говорили Серафимовичу, но мы, молодые, только пожали ему руку и выскользнули в ночь, во тьму Трехгорных переулков, взволнованные и переполненные картинами и образами народной эпопеи.

Наши мысли и чувства лучше всего выразил впоследствии Фурманов, написавший немедленно после выхода романа статью об этом «замечательном произведении современности», «классическом образце исторической повести из эпохи гражданской войны».

3

В начале двадцатых годов Троцкий опубликовал свои статьи, отрицающие творческие возможности пролетариата. Молодые пролетарские писатели, группирующиеся вокруг журналов «Октябрь» и «Молодая гвардия», вели ожесточенную борьбу с Троцким. Наших противников возглавлял пользовавшийся большим авторитетом редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский, снобистски скептически относившийся к творчеству Дмитрия Фурманова и других пролетарских писателей.

Происходили жаркие бои и на страницах печати и в клубных залах. Среди противников наших были солидные, имеющие большой опыт литераторы. А мы были совсем юны и по части теоретической весьма малоопытны. Зато отваги и комсомольского задора было у нас хоть отбавляй.

Из старых заслуженных деятелей литературы нас поддерживали А. С. Серафимович, М. С. Ольминский, П. Н. Лепешинский, Б. М. Волин.

Основные дискуссии происходили в Доме печати. Александр Серафимович восседал в президиуме среди комсомольцев как патриарх. И часто, выступая с резкой, задиристой речью, мы оглядывались на него, замечали его ободряющую улыбку, лукавый прищуренный глаз и снова, уже увереннее, бросались в бой.

Он был уже редактором журнала «Октябрь» и председателем Московской ассоциации пролетарских писателей. В двадцатых годах в президиум МАПП входили Серафимович (председатель), Фадеев (заместитель председателя) и я (ответственный секретарь). Все текущие дела решали мы сами, с Фадеевым, чтобы понапрасну не беспокоить старика. Но как только намечалось какое-нибудь важное, принципиальное дело, без «старшого» мы не обходились.

Он присутствовал сам на всех мапповских творческих вечерах. Любил забраться куда-нибудь в угол, на диван, сидел полузакрыв глаза. Иногда

казалось, что он дремлет. Но он слушал, и слушал внимательно.

С какой-то страстной пытливостью «допрашивал» он каждого нового автора, приходившего из рабочих литературных кружков.

Мы издавали сборники литкружковцев «На подъеме». Здесь впервые напечатал свою повесть Яков Шведов («На мартенах»), свои рассказы — К. Минаев, Н. Клязьминский, М. Платошкин, М. Эгарт, И. Семенцов, свои стихи — С. Швецов, В. Гусев, Д. Самойлов, А. Тарасенков.

Серафимович формально не входил в редколлегию сборников, но почти все произведения предварительно читал и давал авторам свои советы.

Помню, как у него на квартире обсуждали мы предисловие Фадеева к третьему сборнику «На подъеме». Фадеев полемизировал с неправильными теориями бывшего редактора «Нового Лефа» Б. Кушнера, отстаивающего принцип «молниеносности» творчества, скорости писания.

«Тенденция долго и кропотливо работать над литературными произведениями у авторов, принадлежащих к эксплуатирующим классам,— утверждал Кушнер,— часто являлась следствием барства, нежелания утомлять себя и взгляда на литературу как на благородный спорт».

Александр Серафимович был не на шутку рассержен статьей Кушнера. Он посоветовал Фадееву в ответ горе-теоретику привести требование рабочих завода им. Калинина.

В те дни рабочие завода им. Калинина обратились к пролетарским писателям с призывом разносторонне осветить борьбу на фронте социалистического строительства, все стороны рабочей жизни и быта. Они требовали создания литературы, «содействующей социалистической переделке человека».

«Многие пролетарские писатели не связаны тесно с нашей борьбой и жизнью,— писали они.— От этого в некоторых произведениях рабочие изображаются либо как ходульные герои, либо как безликая масса, где нет живых людей, а какие-то придатки к ма-

шине,— в таких произведениях мы не узнаем себя».

— Вот,— говорил Александр Серафимович,— вот вам, батенька, прекрасная основа для статьи. Ближе к жизни... Ближе и глубже... А? Что вы скажете в свое оправдание?

Именно в таком плане и было написано Фадеевым предисловие к сборнику «На подъеме», требующее от рабочих писателей не «скороспелок», а серьезных книг, зовущее идти по линии наибольшего сопротивления.

Предисловие мы утвердили единогласно.

— То-то же,— сказал Александр Серафимович, точно подводя итог споров с невидимым противником.

Очень увлекала Александра Серафимовича работа в журнале «Октябрь», воспитание молодых писателей.

Он входил во все детали работы, написал даже какое-то сопроводительное письмо к проспекту журнала о необходимости широкого распространения журнала в рабочих библиотеках и крестьянских избах-читальнях, выступал на многочисленных читательских конференциях.

Когда он выходил на сцену во главе молодых членов редколлегии, он был похож на заботливого отца, выводящего в свет своих сыновей, на старого воина, ведущего в бой своих молодых питомцев и соратников.

— Серафимович своих повел,— улыбались в публике.

Он любил разговаривать с читателями. Выезжал на конференции в Донбасс, в Тулу, делал доклад об итогах трехлетней работы журнала «Октябрь» в Доме союзов, проводил беседу с соседями, рабочими Трехгорки, опять выезжал в Горький, в Сормово, в Харьков, в Луганск.

К произведениям, печатающимся в журнале «Октябрь», Серафимович подходил очень критически, строго, делал десятки замечаний. Но если он уже принимал роман или повесть, то принципиально,

по-боевому воевал со всеми нападками на них. Ни на какие компромиссы не шел. Он и вообще больше всего ненавидел двуличие, интриги, закулисную игру.

Он принял и напечатал в журнале роман Шолохова «Тихий Дон». Принял Шолохова в свое сердце и полюбил его навсегда. Напечатал в «Правде» статью о «Тихом Доне» с высокой оценкой романа.

И когда появились всякие клеветники (их тогда было немало), пытающиеся опорочить роман Шолохова, Александр Серафи́мович дал им жестокий отпор, опубликовал вместе с Фадеевым и Ставским в «Правде» резкое письмо против клеветнических наветов на «Тихий Дон». Всякое проявление интриганства глубоко огорчало, возмущало и как-то даже травмировало его.

— Вот ведь сколько осталось еще у нас гадости от старого мира,— говорил он нам возмущенно, потирая лысину.— И надо же эдакое придумать...

4

В конце 1929 года в редакцию «Октября» прислал свой первый рассказ «Аноха» брянский писатель Василий Павлович Ильенков. Рассказ понравился нам. Ильенков хорошо знал рабочий быт, был близко связан с Бежицким паровозостроительным заводом, интересно писал о процессах, происходящих в жизни рабочего класса, о рабочем быте, культурном росте.

Вскоре мне пришлось с поэтом Эдуардом Багрицким выехать на завод «Красный Профинтерн». Мы побывали у Ильенкова, хорошо, задушевно поговорили о литературе, провели на заводе большой литературный вечер.

Как всегда, вернувшись в Москву, я явился с отчетом к Александру Серафи́мовичу.

— Ну, ну, батенька,— засуетился старик.— Выкладывайте... Что видели, что записали... Что можете сказать в свое оправдание?

Его интересовало все. И новые методы варки

стали в мартенах, и ход социалистического соревнования, и вечер самодеятельности во Дворце культуры.

— Знал бы, что так интересно, поехал бы с вами,— сокрушался наш «старшой».— А то засиделся я в столице. Жизни не вижу...

Это он-то жизни не видел, неугомонный, вечный путешественник...

— Надо бы мне с этим Ильенковым познакомиться. Интересный, видать, человек... И писатель... Несомненно писатель. Какой он из себя? Седой, говорите? Уже седой. И в темных очках? Очень интересно.

Вскоре Ильенков приехал в Москву. В январе тридцатого года в журнале «Октябрь» была организована встреча с начинающими писателями. Ильенков читал новый рассказ «Чмых». Рассказ этот по моему совету он заранее послал Серафимовичу. Читали свои произведения и другие молодые писатели. В заключение вечера выступил Серафимович. О рассказе Ильенкова, к моему изумлению, он не сказал ни слова.

Я задержался в редакции, и когда собрался уходить, ни Серафимовича, ни Ильенкова уже не было.

Ильенков жил у меня. Вернулся домой он поздней ночью. Взволнованный, взбудораженный.

— Загулял, Василий Павлович,— поддел его я, улыбаясь.— Седина в бороду — бес в ребро.

Он снял свои «мрачные» очки, и совсем молодые глаза его весело блеснули.

— Понимаешь, какое дело... Гулял, действительно гулял... По Тверскому бульвару... Со стариком... с Александром Серафимовичем. Ну, какой старик... Сколько интересного он мне о моем рассказе наговорил. А рассказ будто наизусть помнит. А потом все выпытывал, как и что. И какие планы, и как рабочие на заводе живут...

— А «что вы скажете в свое оправдание» говорил? — засмеялся я.

— Говорил. И конец рассказа велел переделать.

Я сначала спорил, а потом согласился. Убедил он меня... До сих пор его слова в ушах...

Был уже третий час ночи. Ильенков сел к столу, вынул рукопись, решительно зачеркнул последние страницы и стал лихорадочно писать.

Разбудил он меня рано утром и прочел новый вариант окончания рассказа.

Вскоре рассказ был опубликован.

Приближался XVI съезд партии. В литературе происходила ожесточенная борьба со всякими буржуазными влияниями, с левыми и правыми уклонистами.

На нашем творческом знамени было написано: глубокое проникновение в жизнь, правдивое отображение жизни в прозе и поэзии. Пролетарские писатели решили рапортовать съезду всеми своими лучшими произведениями, созданными за последние годы.

Мы подготовили творческий рапорт-сборник. Между рассказами и стихами в сборнике были боевые, ударные лозунги, набранные жирными шрифтами:

Беспощадный удар
по правым оппортунистам в литературе...
по аллилуйщикам,
по примиренцам к классовому врагу!
За чистоту марксистско-ленинского оружия.

Сами заглавия напечатанных в сборнике произведений говорили о его боевом характере.

В. Маяковский — «Кулак», Л. Овалов — «Ход сражения», Э. Багрицкий — «Из книги «Победитель», В. Ставский — «Волк», Н. Богданов — «Враг», Ю. Либединский — «Первые дни в коммунизме» и т. д.

Серафимович дал для сборника очерк «Что я видел». Очерк весь дышал жизнью, современностью. Писатель рассказывал о том, что он видел в последнем своем путешествии по стране. Он побывал на Тамбовщине под Козловом.

«Как и во всей производственной громаде Союза, и тут свои бури, свои взрывы, катастрофы, столкновения...»

Писатель рассказывал о достижениях беконной фабрики, дающей мясо стране, бичевал недостатки.

Очерк был явно полемический, направленный против маловеров, против правых уклонистов, против классовых врагов.

«Да, вождей правого уклона надо бы провести по таким глухим фабрикам, что дымят, как эта, под Козловом среди потерявшихся тамбовских полей. Да не в качестве знатных посетителей, а потерлись бы среди рабочих, незаметные и серые. Они ахнули бы: «Теперича и захочешь вертаться — не вернешься».

...Александр Серафимович, как вожак, как «старшой», с высокой ораторской трибуны рапортовал XVI съезду о достижениях и недостатках пролетарской литературы.

Он стоял на трибуне съезда спокойный, неторопливый, как всегда. И только по неприметным движениям, когда он оправлял свой знаменитый белый отложной воротничок, мы, его друзья и ученики, понимали, как сильно он волнуется.

«Писательская масса Федерации,— сказал Серафимович,— принимает широкое участие в социалистическом строительстве. Многие писатели рассеялись по заводам, колхозам, стройкам, чтобы непосредственно видеть, чтобы дать в творчестве жизнь».

И все же:

«Один из главных... провалов, недочетов — это отставание литературы от развивающегося строительства, от бегущей жизни».

Серафимович с горечью говорил и о внутренних наших недостатках, о групповщине, о беспринципной борьбе.

Он заверил съезд в том, что «писатели в меру их сил, умения и дарования будут участвовать в социалистической стройке, будут отдавать ей все силы».

Съезд дружными аплодисментами приветствовал автора «Железного потока», старейшего писателя страны.

И опять поиски нового материала, новых героев, путешествия по стране. Он приезжает на родину, в Усть-Медведицу, собирает материал для задуманного романа о социалистическом строительстве в деревне. Он объезжает многие колхозы. Сюда, в Усть-Медведицу, ранней осенью приезжает навестить его молодой Шолохов, которому он дал «путевку в жизнь», которого горячо любит, за крепнущим талантом которого беспрерывно следит.

В ноябре 1930 года в городе Харькове, бывшем тогда столицей Украины, созывается вторая Всемирная конференция революционной литературы. Серафимович возглавляет советскую делегацию.

Это была первая большая литературная встреча прогрессивных литераторов мира. На ней присутствовало сто одиннадцать делегатов от четырех частей света — Европы, Азии, Африки и Америки, от двадцати двух стран.

Делая на конференции доклад мандатной комиссии, я отметил, что старейшим делегатом конференции является Александр Серафимович. Все делегаты стоя приветствовали писателя-революционера.

Александр Серафимович выступил на конференции от имени Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП).

Он был в своей обычной длинной черной блузе с белым отложным воротничком. Он внимательно оглядел зал, едва-едва улыбнулся своему старому другу итальянцу Джиованни Джерманетто, чуть заметно кивнул сидевшему в первом ряду Матэ Залка, остановил взгляд свой на сидевших кустиком юных немецких антифашистах, приехавших приветствовать конференцию, видимо, вспомнил, как они вдохновенно пели накануне марш Ведингского квартала, и растрогался.

— Товарищи, — сказал Серафимович, — когда Ленин организовывал Коминтерн, к нему пробралась маленькая кучка товарищей. Некоторым из них пришлось ехать в трюме парохода, в угольной яме, рискуя быть открытыми. Матросы, чтобы их скрыть, засыпали их углем, оставляя дырочку для дыхания.

А теперь Коминтерн потрясает весь земной шар, и потрясаемый им капиталистический мир дал глубокую трещину.

Три года назад за большим столом в Наркомпросе, в Москве, сиротливо сидело человек восемь — десять товарищей писателей, представителей заграницы.

А теперь я от имени ВОАПП приветствую революционных и пролетарских писателей двадцати двух стран.

Какие задачи стоят перед товарищами писателями? Огромные. Вот за Харьковом лежало пусто-порожнее место, а через пять месяцев мы осматривали это место, и сказочно на пустыре, на глазах растет там изумительный завод.

Это, товарищи, не просто строится завод, это живой портрет того, что делается во всем Союзе, это отображение социалистического строительства.

Он замолчал, поправил воротничок и очень задушевно, как бы беседуя с друзьями, закончил:

— Так вот, задача революционного писателя — в живых красках бросить в массу пролетариев заграницы этот портрет, ибо никакими лекциями, никакими брошюрами не заменишь того, что видишь глазом, а художественная литература — это глаз, это непосредственное восприятие...

...Мы выступали в те дни на харьковских предприятиях. В одной из творческих выездных бригад, в которую посчастливилось попасть и мне, оказались Серафимович, Джерманетто, Матэ Залка и Эми Сяо.

Вел вечер молодой вихрастый комсомолец — токарь.

Давая слово Джиованни Джерманетто, он проговорил:

— А сейчас выступит итальянский пісменнік Джерманенко...

Многие в зале засмеялись. Улыбнулся и Джерманетто, а Серафимович весело, так, что услышали в зале, сказал:

— Ну, Джиованни, украинский народ вас уже на свой лад переделал... Значит, своим считает...

5

Закончив роман «Радость», посвященный жизни Коломенского паровозостроительного завода, завода, с которым я был связан с юных дней, я отдал рукопись Александру Серафимовичу.

Роман был довольно толстый, и я не ожидал быстрого ответа. Однако Александр Серафимович позвонил мне уже через неделю.

— А ну-ка, молодой человек, являйтесь на суд и расправу.

...Мы разговаривали целый вечер. Старик интересовался малейшими деталями, расспрашивал меня о людях, о машинах. Поля моего романа были исписаны его крупным почерком. Он не вмешивался в ход сюжета, но обращал мое внимание на отдельные безвкусные выражения, на вычурность языка, на излишнюю «чувствительность» и слезливость. Он говорил мне о том, каких героев он видит в действии, в развитии, а какие остаются мертворожденными.

Я показал ему письмо инженера, крупнейшего конструктора завода Льва Сергеевича Лебедянского, создавшего впоследствии замечательную машину — паровоз марки «Л».

Инженер жаловался на то, что не успевает читать художественную литературу. «Очевидно, по неумению правильно ценить время, а может быть, из-за недостаточной работы наших втузов нет времени иметь тесную связь с вами, творцами души — писателями. И лично я чувствую остро этот пробел и думаю, что моя техника, техника заводских людей поднялась бы на неизмеримо большую высоту, если бы было это знакомство...»

И дальше писал конструктор:

«Рапортую вам, что наш завод выполнил программу по паровозам. Но моя борьба за паровоз не окончена, и я получаю все время подзатыльники за допущенные ошибки, несмотря на то что машинисты благодарят за паровоз. Сейчас готовлю новый пассажирский паровоз».

— Это же, батенька мой, замечательно,— загорелся Серафимович.— Это же настоящая связь жизни с литературой... Умница он, ваш конструктор. А вот вы его в романе показать не сумели. В этом письме я его вижу больше, чем в романе. А что, батенька, если мы вместе поедем на этот ваш завод? Вот будет замечательно.

Тут же он вспомнил о своем старом знакомом, бывшем коломенском рабочем Иване Козлове, которому он помогал в литературной работе[1].

На Коломенский завод с нами поехал еще поэт Эдуард Багрицкий...

Поезд до Голутвина шел тогда три с половиной часа. В дороге я рассказывал своим спутникам историю Коломенского завода, выросшего из кузницы, построенной в 1863 году при впадении Москвы-реки в Оку.

Серафимович засмеялся:

— Значит, мы, батенька, с вашим заводом ровесники. Здорово это получилось. Я-то с 1863 года превратился уже в эдакую историческую развалину, а завод-то, наоборот, растет и крепнет. Нуте, нуте, рассказывайте дальше.

Больше всего взволновали Серафимовича события пятого года, связанные с карательной экспедицией полковника Римана.

Кое-что об этом было рассказано и в моем романе. Но теперь «на местности» все это представлялось убедительнее и живее.

— Так, так... А машиниста Ухтомского я помню. Да и о Римане достаточно понаслышан. Вот я там на полях добавил вам пару штришков... Для оживления.

Три с половиною часа прошли незаметно. На вокзале нас встречали представители литературного кружка.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— весело при-

---

[1] Иван Андреевич Козлов — профессиональный революционер, большевик с 1905 года, впоследствии автор книг «В крымском подполье», «Жизнь в борьбе» и др.

ветствовал их Серафимович и сразу огорошил своей обычной шуткой: — Что вы скажете в свое оправдание?

Ребята предложили провести Серафимовича в Дом приезжих отдохнуть. Но он отмахнулся.

— Что, вы меня за старика считаете, что ли? Отдыхать можно в Москве. А сейчас — на завод, в цехи, к людям.

Он внимательно осмотрел памятную чугунную доску с именами рабочих-революционеров, расстрелянных Риманом.

— А вот, батенька,— сказал он мне укоризненно,— а цвета этой доски, ржавых пятен, выпуклых букв, запаха времени вы передать не сумели...

Старик обошел главные цехи завода. Я познакомил его со знаменитым дизельщиком Вяткиным, родоначальником целого поколения дизельщиков, и знаменитым паровозником Георгием Ахтырским. Отец Ахтырского пятьдесят два года работал на заводе, с первых дней его существования, сам мастер отдал уже заводу несколько десятков лет[1]. Они были ровесниками Серафимовича, как и весь этот старый завод, построенный братьями Струве, завод, где рядом со старинной задымленной кузницей вырос новый инструментальный цех и рядом со старым чугунолитейным цехом, в котором трудно было дышать от дыма и пыли, возник светлый просторный новодизельный, оснащенный новейшими замечательными машинами. Эти контрасты старого и нового очень заинтересовали Серафимовича. Он шагал из цеха в цех, вглядывался в лица молодых сталеваров, следил за процессами их труда, едва не попал в опоку, только что наполненную горячим металлом, едва не угодил под тяжелую болванку, переносимую краном. Лицо его, озаренное ярким отсветом плавки, было возбужденное и совсем молодое.

---

[1] Кстати говоря, сын Георгия Ахтырского Николай, продолжая дело отцов своих, без отрыва от производства кончил техникум, и сейчас он конструктор, принимал участие в создании первого советского газотурбовоза.

Я вспомнил, как несколько лет назад приехал к нам на завод старый коломенец писатель Борис Пильняк и как удивился он, когда я предложил ему пройти в сталелитейный, посмотреть новый мартен.

— Зачем? — сказал Пильняк.— Это уже описано Куприным. Читали, юноша, такую книгу «Молох»? А мне это не нужно.

...До встречи с читателями, которая была назначена в заводском театре, Серафимович беседовал с литкружковцами. Во главе литературного кружка стоял тогда рабочий-автогенщик Иван Семенцов, интересный и своеобразный человек, написавший повесть «Разбег», часть которой мы печатали в сборнике «На подъеме». В повести шла речь о сложных конфликтах старого и нового и в заводской технике и в человеческих отношениях.

Все литкружковцы были рабочими. Только один, немолодой уже, широколицый, кудрявый человек по фамилии Карлик, был «интеллигентом», фармацевтом местной аптеки. Он писал рассказы преимущественно из рабочего быта, рассказы грамотные, пожалуй более грамотные, чем Семенцов, но лишенные остроты. Все у него получалось схематично, поверхностно, подчас лакированно. Чувствовалось отсутствие глубокого знания заводской жизни. Карлика всегда очень резко в кружке критиковали. Но фармацевт стойко выдерживал побои и мужественно приходил на все собрания заводского кружка, хотя жил в городе, в семи километрах от завода, а в городе при библиотеке был свой литературный кружок.

— Почему же вы его не переведете в тот литкружок? — усмехнулся Александр Серафимович.

— А без него у нас не так интересно будет,— ответил Семенцов.— Мы вот и держим одного интеллигента, так сказать, для битья...

Серафимович долго смеялся.

— Ну и выдумают... Интеллигент для битья...

На собрании кружка старый писатель сидел как всегда сосредоточенный, внимательно слушал, что-то записывал в свою книжечку.

...Литературный вечер в театре прошел прекрасно. Александр Серафимович рассказывал о том, как он работал над «Железным потоком». Эдуард Багрицкий читал «Весну»... Было много вопросов — о жизни, о литературе. Серафимовича не хотели отпускать. Только к концу вечера я вспомнил, что за целый день старик не отдохнул ни мгновенья (обедали мы после смены в гостях у Ахтырского, и старики вели задушевный и сердечный разговор все время обеда). А он, кажется, и не собирался еще отдыхать...

Мы еще долго обменивались впечатлениями, располагаясь ко сну в Доме приезжих. За окном гудел только что родившийся новый паровоз. Днем кто-то в цехе приглашал Серафимовича ночью на тендер, принять участие в обкатке, и я еле уговорил его отказаться.

Услышав гудок, Серафимович вскочил с кровати, подошел к окну, вгляделся во тьму. Паровоз с подъездной заводской ветки выходил на большие пути... В жизнь.

Уже засыпая, я услышал, как Серафимович засмеялся. Я приподнялся на локте.

— Интеллигент для битья,— сказал вполголоса Александр Серафимович,— скажите пожалуйста...

Уже прощаясь, в Москве, он хитро посмотрел на меня и сказал:

— А роман дайте мне, батенька, еще дня на три... Я там кое-что почеркаю...

6

Мне приходилось не раз выезжать с Александром Серафимовичем на заводы. Побывали мы (ездили тогда, помнится, с нами В. П. Ильенков, поэт Антал Гидаш и профессор П. Ф. Юдин) и на знаменитом Горьковском автомобилестроительном. И здесь наш «старшой» также бродил по цехам, пытливо расспрашивал стариков и молодых об их работе, об опыте знаменитого горьковского кузнеца Бусыгина.

— Вот ведь,— говорил он нам,— путь русского рабочего класса — от сормовского рабочего Петра Заломова до нижегородского рабочего Александра Бусыгина. Вот о чем нужно писать, молодые люди... Вот чего требует от нас народ... А мы часто драгоценное время по пустякам тратим, шумим попусту, в «вождей» играем, интригами занимаемся... Эх...

На большом заводском вечере он отвечал на сотни вопросов — о литературе, морали, этике, быте. Помню, как пространно и задушевно, необычайно интересно и волнующе говорил он о Сергее Есенине. А вопросов о Есенине было множество. Серафимович говорил о нем с любовью и горечью. Как непохож был его ответ на стандартные «резолютивные» штампы иных унылых проработчиков! Он говорил об оригинальности и своеобразии есенинского таланта, об искренности поэта, о его противоречиях, о борьбе старого и нового в его творчестве, о тонкой лирике Есенина и об эпигонах, подымающих на щит худшие стороны его творчества, о так называемой «есенинщине». Слушали Серафимовича напряженно, боясь пропустить слово. Он удивительно умел находить путь к сердцам человеческим.

...В начале тридцатых годов мы стали замечать, что старик наш все чаще хмурится, брюзжит. Он ушел из редколлегии журнала «Октябрь». Многое было ему не по душе в Ассоциации пролетарских писателей.

Действительно, в «королевстве датском» было далеко не спокойно.

Внутри Российской ассоциации пролетарских писателей развернулась борьба против так называемого авербаховского руководства.

Возглавлявший тогда РАПП Авербах проводил внутри ассоциации сектантскую линию, против которой еще в свое время боролся Дмитрий Фурманов. Один из основных авербаховских лозунгов — «кто не союзник (то есть кто не с Авербахом) — тот враг» — механически отбрасывал во вражеский лагерь большое количество талантливых советских писателей.

Среди писателей, выступивших внутри РАПП против Авербаха и его вредной для развития литературы политики, были Серафимович, Ставский, Панферов, Ильенков, Горбатов, Галин, Я. Ильин, Платошкин, Черненко, Нович, Гидаш, автор этих строк. Резко критиковали авербаховскую линию «Правда» и ЦК комсомола, философы Юдин, Митин и другие.

Никогда не забыть, как дружески заботливо выслушивал нас в редколлегии «Правды» Емельяп Ярославский, не забыть его отеческой, истинно партийной помощи в нашей работе.

Заседания секретариата РАПП становились все более бурными и напряженными, совсем как в фурмановские времена 1925—1926 годов.

Авербах и его друзья не хотели прислушиваться к партийным указаниям, они пытались травить всех своих противников.

Им было неудобно прямо «бить» старейшего пролетарского писателя Серафимовича, и они, обрушиваясь на все предложения Серафимовича, приписывали их «молодым» — Горбатову или мне. И тут уже на наши молодые головы обрушивался «сокрушительный» молот авербаховского ядовитого красноречия.

Серафимович все это прекрасно понимал. Ему было уже почти 70 лет. Он работал над новым романом. Он объехал с сыном Игорем донские колхозы, написал для «Правды» цикл очерков «По донским степям». Он посетил в станице Вешенской любимца своего Михаила Шолохова и хорошо, задушевно побеседовал с ним.

Авербаховские уколы раздражали его. Он перестал ходить на заседания секретариата.

Но все же вся эта суматоха, травля инакомыслящих, друзей Серафимовича, мешала ему работать, мешала она и всему развитию советской литературы.

Серафимович не мог молчать.

Зимой 1931 года он жил на своей даче, на станции Отдых, неподалеку от Быкова.

Мы поехали к нему встретить Новый год... Не помню уже всех приглашенных. Помню только, что мы с Василием Павловичем Ильенковым запоздали и едва-едва не пропустили встречу Нового года. Был сильный мороз. Мы, совсем обледенелые, ввалились на дачу, когда все уже сидели за столом. Было шумно и весело. Сын Александра Серафи́мовича, Игорь, помог нам раздеться (пальцы у нас не гнулись), хозяин, веселый, совсем молодой, потребовал сразу выпить штрафной бокал.

Мы без всякого сопротивления подчинились. Подняли полные бокалы. Залпом выпили. Громкий хохот всех собравшихся. Очередная шутка Александра Серафи́мовича: в бокалах была вода, щедро приправленная уксусом.

Веселая была эта ночь. Играли. Пели. Александр Серафи́мович запевал свою любимую «Ой да ты подуй, подуй, ветер низовый», и, глядя на его раскрасневшееся лицо, не верилось, что ему совсем скоро семьдесят.

Потом, под утро, вздумали пойти в лес на лыжах... Потом искали потерявшихся.

...Гости разъехались. Мы с Ильенковым задержались на даче. После завтрака Александр Серафи́мович увел нас к себе в кабинет. Его было не узнать. Он сразу постарел, казался раздраженным и угрюмым.

— Ну так что вы скажете в свое оправдание? — попытался он сострить по-всегдашнему. И сразу перешел к делу: — Неладно у нас в литературе, хлопцы... Ой неладно... Вот я набросал кое-что, так сказать в порядке дневника. Хотите прочту?..

Мы насторожились. А он вынул из стола несколько страниц, исписанных его широким, немного корявым почерком...

«...Конечно, отдельные разрозненные неполадки, промахи, даже провалы, если они осознаются, исправляются, нельзя ставить организации в непреходящую вину. Отдельные, разрозненные. Но если

эти ошибки, промахи, провалы непрерывно сцепляются в систему, горе организации!

Нельзя их ставить в непокрываемую вину РАПП, этой громадной ответственной организации пролетарских писателей, пока они разрозненны.

А они в РАПП, эти промахи, ошибки, глухие провалы, густо родятся и идут друг за другом как прибой, длинными, далеко разбегающимися валами, непрерывно возникая.

Кусок РАПП — Уральская областная ассоциация пролетарских писателей — на самом лучшем счету. Член правления РАПП едет на Урал на ревизию и со слезами восторга докладывает на секретариате РАПП: «Какой размах! Какая напряженная деятельность! Тьма ударников. Удивительные стеклянные пластинки с золотыми надписями в великолепном здании».

Не успел он сомкнуть восторженных уст, в дело вмешался уральский обком партии, постановил: «Снять всю верхушку УралАПП». Одним выговор, другим — строгий, третьим — с предупреждением. Оказывается, в УралАПП — черный развал: наглое очковтирательство, бесстыдная ложь, дутые ударники, на произвол судьбы брошенные пролетарские писатели, великолепные золотые надписи и двухсоттысячный бюджет. Одним словом, от великолепной деятельности УралАПП, вызвавшей восторженные слезы у большинства руководителей верхушки РАПП, остался тяжелый, мертвый, лживый пепел.

Да, грядут валы, широко разбегаясь, захватывая все новое. Неладно в Вотской области, Удмуртской АПП, в Баку, в Татарстане, неладно на Украине (Одессе)...

Поразительная история разыгралась в сердце рапповской организации — в Москве. На Красной Пресне на заводах и фабриках были литературные кружки. Руководители в кружках — от МАПП.

Молодежь фабрично-заводских литературных кружков, комсомольцы приступили к руководителям, чтобы те им рассказали о сущности дискуссии, в которой участвовали комсомол, «Комсомольская

правда», РАПП, ЦО партии «Правда», и чем эта дискуссия кончилась.

Мапповцы, руководители кружков, заметались: расскажи всю правду, расскажи об ошибках РАПП, обнаруженных дискуссией,— большинство руководителей РАПП не простит. Начни врать,— молодежь азартно выведет на чистую воду. Что тут делать?!

Попробовали отмолчаться — молодежь покою не дает. Крепились, крепились и... разбежались, побросав на произвол судьбы кружки.

А комсомольцы бунтуют. Кто-то купил для них двести экземпляров брошюры (издание «Федерации») о дискуссии, ну, немного успокоились.

Проходит месяц, другой — никого. Кружки без руководителей стали дичать, стали разваливаться. На Трехгорке развалился. На «Большевике» развалился. На других развал.

На некоторых заводах кружки махнули рукой на МАПП и живут себе самостоятельной жизнью — пишут, работают, критикуют друг друга. Так и тянулось. Краснопресненский райком наконец вмешался, потребовал от МАПП присыла в кружки руководителей. Ответили: «сейчас» — и ни с места. И на все требования было все то же — «сейчас» — и ни с места. Кружки доживали свои дни.

Тогда райком назначил рабочего ударника, кружковца тов. Такоева временно заведовать кружками, чтоб предотвратить окончательный распад их во всем районе. А тов. Ильенкова наметил председателем районного литературного бюро.

Тов. Такоев выявился как деловой, энергичный, деятельный работник. Так его расценил и райком. МАПП-РАПП упорно саботировали тов. Такоева, просто не замечали, как будто он не существует в природе, как будто и весь Краснопресненский район не существует в природе.

Но когда увидели, что дело налаживается, что из развалин начинает потихоньку вставать жизнь, что в кружках снова потянуло к учебе, к творчеству, что тов. Такоев организовал отличное начинание — литературную эстафету, связав с социалистическим

строительством, доведя ее до цехов заводов и фабрик,— когда это увидели, прилетели представители МАПП, РАПП и заявили, что МАПП отводит тов. Такоева при выборах в бюро, а тов. Ильенкова (чтобы сорвать его кандидатуру в председатели бюро) назначает в транспортную секцию. На место тов. Ильенкова и тов. Такоева ставят своих кандидатов. Но это не вышло, тогда тов. Авербах бросился хлопотать, чтобы тов. Такоева назначили редактором «Изобретателя».

Позвольте, что же это такое?! Полгода разваливать целый район, а когда партия взяла дело в свои руки и разрушенное стало восстанавливаться, МАПП-РАПП явились и привели своих кандидатов?! Это уже грозно, это не отдельные ошибки, это уже непрерывно возникающая система».

Мы слушали не шелохнувшись. Да, все это было так. Обо всем этом мы знали и даже писали вместе с Федором Панферовым в ЦК. Мы не хотели тогда беспокоить старика. Но вот теперь наш «старшой» как бы подытожил все наши мысли и наблюдения, а мы-то думали, что он устранился от борьбы... Старик остановился, поднял на нас глаза, обличающие, грозные, и, заметив наше волнение, продолжал:

«...Ни одна организация не может жить, если не умеет пополнять постоянно свои ряды новыми силами, не умеет притягивать к себе работников, наилучше их использовать.

Работал в РАПП, был членом секретариата тов. Безыменский. Оттолкнули, исключили из секретариата, злобно травили.

Был с ними тов. Билль-Белоцерковский — оттолкнули, заели.

Работал с ними Серафимович — поставили в невозможность совместно работать.

Тов. Волин, когда был назначен зав. Главлитом, открыто и искренне хотел работать с писательской массой. Собирал актив рапповского руководства, совместно обсуждали способы борьбы с проникновением буржуазных, чуждых, иной раз прямо враж-

дебных произведений в советскую литературу — чего же лучше? Так нет, злобно и злостно накинулись, пока не поставили в невозможность совместной работы.

Оттерли Ставского, этого талантливого, искреннего писателя, художника-очеркиста, и теперь с пеной у рта травят.

Но наиболее гнусную травлю устроили тов. Ильенкову с выходом его «Ведущей оси».

А за этими писателями тянется целый ряд талантливых молодых пролетарских писателей, которых сумели оторвать от себя, которых при всяком удобном случае злобно рвут гнилым, ядовитым клыком.

Но руководящая верхушка РАПП не только сумела оттолкнуть от совместной работы отдельных пролетарских писателей, она ввязалась в борьбу с целыми организациями. Борьба с комсомолом, с «Комсомольской правдой», с ЦО партии «Правда». Наконец, крупная ячейка Института литературы и языка при Комакадемии — ЛИЯ, на совесть желавшая сработаться с РАПП, выносит осуждающее постановление за возмутительный скандал, дико устроенный большинством руководящей верхушки РАПП члену ЛИЯ.

Безудержная травля творческой группировки тов. Панферова продолжается по-прежнему вопреки указаниям партии...

Грозность этого «оголения» отлично понимает руководящая верхушка РАПП и, теряя голову, ищет спасение в оголтелом терроре скандалов и брани.

Конечно, надо проходить мимо этих выкриков, брани,— молодость, горячность в пылу борьбы,— но это до тех пор, пока это единичные, разрозненные выпады. А когда это сливается в систему, когда в этом ищут выхода, это — грозно.

Отношения с товарищами приняли у большинства руководящей верхушки РАПП тот характер нетерпимости, заносчивости, безапелляционной грубости, лжи, интриганства, лицемерия, неутомимой злобы против всякого, кто осмелится указать на

ошибки руководства,— тот характер, который отталкивает массу товарищей, массу работников, целые организации.

Недаром на критическом совещании, созванном РАПП, председательствовавший тов. Фадеев горько плакался, что отсутствуют на совещании как раз те, кто должен был быть,— писатели и критики не идут.

Пролетарские писатели истосковались по работе, по напряженной работе вне интриг, борьбы, подвохов. Ведь назначение пролетписателя — творчество, пронизанное социалистическим строительством, а не мордобой.

Ударники литературы жалуются, что с ними шумно носятся, когда надо сделать парад, и совершенно забрасывают, когда нужна повседневная кропотливая работа.

Да, грозно».

...Старик кончил читать. Мы долго сидели молча.

— Вот, хлопцы,— сказал Александр Серафи́мович.— Больше молчать невмоготу. Да к кому же обращаться, как не к партии? Партия всегда поддержит нас. Вот я об этом всём и напишу в ЦК... Одобряете?

7

Серафимович написал письмо в ЦК. Вопросы работы РАПП не раз обсуждались на заседаниях Секретариата Центрального Комитета. Руководители партии резко критиковали рапповских заправил, указывали на ошибки в работе Ассоциации пролетарских писателей. Однако указания партии в РАПП не выполнялись. Сама рапповская система уже изжила себя и мешала дальнейшему развитию литературы.

23 апреля 1932 года Центральный Комитет партии принял историческое решение «О перестройке литературно-художественных организаций».

После всего сказанного естественно, как вы-

соко оценил это решение наш «старшой». Он писал впоследствии (в статье «Писатель должен шагать вровень с жизнью»):

«Это решение ЦК ВКП(б) является документом крупного исторического значения. РАПП была окостеневшей формой, в которую рьяные руководы старались загнать все многообразие литературной жизни, литературных интересов, литературного творчества. Рапповцы занимались не столько художественным творчеством, сколько болтовней и расправами со всеми, кто не признавал безраздельности рапповского владычества на литературном поприще. РАПП культивировала беспринципную групповщину. Произведения «своих» людей превозносились до небес, другие охаивались. Вместо товарищеской критики и помощи применялись дубинка и оглобля. Царствовали полнейший зажим самокритики, угодничество и подхалимство...»

Высоко оценивая мудрое партийное руководство, старый писатель-большевик еще и еще раз напоминал писателям об их основной задаче — помочь партии, народу своим творчеством, добиваясь высокой идейной насыщенности и художественного мастерства...

Как же ненавидел он болтунов и резонеров!

«У нас есть особая разновидность людей,— говорил он,— которые по профессиональному званию числятся писателями, но по фактической профессии они — резонеры. Одни из них легко взбегают, другие солидно, с величавой осанкой поднимаются на трибуну писательских съездов и собраний, каются в безделье и ошибках, дают клятвенные обещания по-деловому приняться за работу. Но проходят сроки, и клятва оказывается нарушенной...

Есть и другая категория членов Союза писателей: они довольно производительны, но творения их носят все следы подмены настоящих художественных ценностей мнимыми. Они изображают наших современников стандартными красками, не заботятся ни о психологической глубине разработки образа героя нашего времени, ни об оригинальности

сюжета, ни о свежести авторского языка и языка описываемых ими людей...»

В день опубликования решения ЦК мы собрались на квартире Александра Серафи́мовича. Он уже давно оставил старый домик на Пресне и жил в Замоскворечье в Доме правительства, на улице, названной впоследствии его именем.

Мы часто собирались в большой светлой квартире Серафимовича. Встречи, происходившие там, были такими же теплыми и задушевными, как когда-то на Пресне...

Так же отчитывались мы перед стариком после каждой поездки по стране, так же читали рассказы, отрывки, главы из новых произведений и выслушивали его дружеские, глубокие, прямые и нелицеприятные советы.

А потом брат Александра Серафи́мовича, старый большевик-литератор Вениамин Серафи́мович Попов-Дубовской садился за рояль. Звуки музыки Чайковского, Мусоргского, Бетховена заполняли всю комнату, выплескивались сквозь открытые окна на улицу. Их сменяли звуки народных песен. И вот уже сам Александр Серафи́мович становится у рояля, дирижирует и вместе с тем зорко следит, чтоб никто не выходил из хора. Поют его племянница, сын Игорь. Поют Панферов, Ильенков, Билль-Белоцерковский. Приходится вступать в хор и мне, хотя я всячески доказываю, что одним звуком могу сбить с ноги целую дивизию.

Ой да ты подуй, подуй,
Ветер низовый,
Ой да ты надуй, надуй
Тучу грозную...

Александр Серафи́мович любил видеть вокруг себя смеющиеся, молодые лица, любил смех, веселье, жизнь...

В знаменательный вечер 24 апреля собрались к Александру Серафи́мовичу друзья, которые поддерживали его взгляды на литературное творчество.

Много говорили в тот вечер о значении решения ЦК, о том, что свободнее стало дышать.

— Что прошло, то прошло,— сказал Серафимович.— Точно исцелились мы от злой лихорадки. А теперь давайте вперед смотреть, как работать будем. А ну — каковы ваши планы, молодые люди? Что вы скажете в свое оправдание?

Одним из результатов этого вечера было наше решение: разъехаться по стройкам, подготовить коллективно большой сборник о современной жизни страны. Вот это и будет наш творческий отчет партии.

Старик внимательно, полузакрыв глаза, слушал нас, улыбаясь изредка в усы.

— Что же, добре, хлопцы,— сказал он.— Настроения у вас хорошие. А там, может быть, и я что-нибудь подкину для сборника... Есть у меня одна думка...

И опять сел к роялю Попов-Дубовской, и опять пели песни, и опять дирижировал «старшой». Очень хорошо было у нас на сердце в тот лучезарный весенний апрельский день 1932 года...

19 января 1933 года Александр Серафимович в связи с семидесятилетием со дня рождения был награжден орденом Ленина.

Накануне этого дня мы зашли к нему с В. П. Ильенковым и И. С. Новичем. Старик встретил нас, как всегда, какой-то шуткой, а потом очень серьезно сообщил:

— Звонили мне из правительства, спрашивали, какому городу хотел бы дать свое имя. А я даже растерялся. «Не слишком ли,— спрашиваю,— городу? Может быть, библиотеке там или институту, а то городу!» Отвечают: «Не слишком». Ну, можно сказать, меня врасплох застали. Какой же это город моим именем окрестить? А потом словно открытие: Усть-Медведицкую. Так и брякнул: «Вот ежели можно — Усть-Медведицкую». Слышу, там, у трубки совещаются, сомневаются. «Усть-Медведицкая,— говорят,— не город, а только станица». Но тут я даже рассердился. «Вы что же, полагаете, что я продеше-

вил? Ничего. Пусть станица. Она еще и городом будет». Так вот и сошлись на Усть-Медведицкой. А вы, хлопцы, может быть, тоже думаете, что продешевил старик? А? Что вы скажете в свое оправдание?..

...Постановлением Президиума ЦИК СССР станица Усть-Медведицкая была переименована в город Серафимович. Имя Серафимовича было присвоено улице, где он жил. В день юбилея Александр Серафимович получил сотни приветствий: от ЦК партии, Совнаркома, редакции «Правды», ЦК комсомола, рабочих, колхозников, писателей, зарубежных друзей...

На юбилейном вечере в Колонном зале среди других ораторов выступил легендарный герой гражданской войны, герой «Железного потока» и соратник Фурманова по «Красному десанту» Епифан Ковтюх. Ковтюх говорил о прошлых боевых делах. И опять два родных имени прозвучали рядом: Серафимович и Фурманов.

Отвечая на приветствия, Серафимович особенно горячо говорил о партии: масса партийцев — это вдохновенная, самоотверженная красноармейская колонна, это — авангард, который берет изумительные препятствия... Он призывал писателей больше писать о жизни и работе коммунистов.

Кончил он свою речь, как всегда, шуткой:

— Здесь было требование от войсковых частей, чтоб я еще прожил семьдесят лет. Ну, товарищи, уступите, ну, лет тридцать пять...

Вскоре вышел в свет под редакцией Ф. И. Панферова задуманный нами боевой альманах «1933 год».

Писатели рапортовали о боевых делах рабочих и колхозников, мастеров и инженеров.

Каждый очерк являлся своеобразным боевым донесением с «линии огня».

В сборнике приняли участие: А. Серафимович, Ф. Панферов, В. Ильенков, Б. Галин, А. Безымен-

ский, В. Ставский, А. Гидаш, Я. Ильин, Б. Горбатов, А. Эрлих, А. Исбах, Н. Дементьев, З. Чаган, С. Виноградская, Г. Васильковский, С. Щипачев, Д. Заславский, Н. Адфельдт.

На внутренних сторонах обложки альманаха была развернута карта страны.

Альманах был боевым отчетом того творческого объединения писателей, которым руководил Александр Сера́фимович, объединения, на знамени которого было написано: «Прощупать жизнь своими руками».

Александр Серафимович в очерке «Город-сад» рассказал о своем родном городе. Очерк был пропитан чудесным степным воздухом, ароматом задонских лесов и полей.

Так выполнили мы решение, принятое на квартире Серафимовича 24 апреля 1932 года.

Зимой 1935 года Серафимович совершил длительную поездку по зарубежным странам. Был в Польше, Чехословакии, Австрии. Более двух месяцев жил в Париже.

Он привез нам маленькие подарки — сувениры, много и горячо рассказывал о странах и людях.

Особенно запомнился рассказ Александра Сера́фимовича о том, как на берегу Сены он повстречал писателя, с которым когда-то начинал свою литературную деятельность,— Гусева-Оренбургского. Гусев после революции эмигрировал за границу, опустился, обнищал. Даже сознание его помутилось. Он не узнал Серафимовича... Две жизни... Две писательские судьбы...

Серафимовичу было уже семьдесят два года, а он оставался по-прежнему подвижным, неутомимым. Бывало, сидит на каком-нибудь собрании полузакрыв глаза, насупив седые брови. И кажется, что старику уже совсем не до нас, что он устал, дремлет.

И вдруг блеснут глаза, хитроватая улыбка сколь-

знет в усах, и Александр Серафи́мович вмешивается в спор, говорит обстоятельно, остро... и оказывается, что не упустил он никакой мелочи, никакой детали.

С какой молодой резкостью выступил он на вечере, посвященном десятилетию со дня смерти Фурманова. Десятилетию со дня смерти Фурманова... И кто бы мог подумать...

— Невольно приходит мысль,— сказал Серафимович, как бы отвечая всем, кто недооценивал фурмановского мастерства,— был ли Фурманов натуралистом, фотографом, который берет только голую действительность; перед Фурмановым могла встать такая опасность. Но почему же эта опасность миновала Фурманова? Почему мы его произведения воспринимаем как глубоко художественные, как реалистические? Куда же девалась масса его фотографических снимков?

Старик на секунду замолчал, и вдруг в голосе его появились совсем басовые ноты:

— *Ясно, что он делал отбор.* Все его вещи с огромной силой освещены революционным содержанием. Эти материалы собраны как бы натуралистически, но огромное художественное чутье позволило ему отобрать основное и реалистически художественно построить свой материал...

Это было сказано уже не только о Фурманове. Это была программа писателя-большевика, писателя-реалиста Александра Серафимовича.

8

Александр Серафи́мович очень любил спорт. Физическую зарядку он делал до самого преклонного возраста. Донской казак, он любил быструю верховую езду, плавание. Обоих своих сыновей воспитал он крепкими, выносливыми, физически закаленными. У отца переняли они и любовь к физическому труду. Еще в годы ссылки Серафимович в совершенстве изучил столярное дело. И на Дону и в Москве он приспосабливал верстак, имел прекрас-

ный набор столярных инструментов, многое мастерил сам, многому обучал детей. Инструменты Александр Серафимович всегда содержал в образцовом порядке.

— Человек проверяется,— говорил он,— тем, как содержит он свое оружие, свои орудия труда.

С коня он пересел на мотоцикл. Еще в 1913 году проделал в странствиях своих более тысячи километров на мотоцикле. А было ему тогда уже полсотни лет. В более поздние годы он пристрастился к речным походам по «тихому Дону» на мотоботе. Он любил рассказывать о своем «крейсере», о разных видах навесных моторов.

Он путешествовал на мотоботе и в одиночестве и совместно с сыном, невесткой, друзьями. Мотобот остался его «страстью» до самых последних лет жизни.

Опытный и бывалый военный корреспондент, любил он и военное дело, стрельбу. Выезжал в гости в красноармейские части, обучал стрельбе из малокалиберки своих сыновей.

Сам Серафимович стрелял почти снайперски и очень этим гордился.

На даче своей, на станции Отдых, в лесу, он не раз устраивал учебные стрельбы.

Ружье содержал, как и столярные инструменты, в образцовом порядке. И горе было тому гостю, который после стрельбы забывал вычистить ружье,— ему уже не доверяли. После чистки Александр Серафимович долго, прищурив глаз, проверял, достаточно ли блеску в канале ствола.

...В 1936 году в Московском военном округе проводились войсковые маневры.

В маневрах участвовало много частей. Предполагалось провести операцию с высадкой большого парашютного авиадесанта.

Маневры проводились близ города Вязники.

Союз писателей послал на маневры бригаду во главе со старым воякой Всеволодом Вишневским. В бригаду вошли писатели Серафимович, Новиков-Прибой, Санников, Низовой, Исбах.

Александру Серафи́мовичу исполнилось семьдесят три года. Но он первый заявил о желании испытать все трудности войсковой жизни. А трудностей было немало. Маневры проходили под лозунгами: «На учебе — как на войне...», «Больше пота — меньше крови...»

Мы видели действия всех родов войск — пехотинцев, танкистов, кавалеристов, артиллеристов. Особое впечатление на всех нас оказала танковая атака с предварительным форсированием реки.

Я не раз видел, как Александр Серафи́мович, подостлав демисезонное пальтецо, расстегнув неизменный белоснежный свой воротничок, примостившись в лесу, где-нибудь у пенька, писал корреспонденцию в «боевой листок» полка. Он был точен и исполнителен, как всегда. К выполнению приказов нашего «командира» Вишневского относился исключительно дисциплинированно.

А вечером, собравшись все вместе в Вязниках, мы обменивались опытом.

Было много задушевных разговоров о людях, которых повстречали за день, переполненный впечатлениями до краев. Много было и всяких комических рассказов. Особенно отличался Алексей Силыч Новиков-Прибой. Его соленым шуткам смеялись мы до упаду.

Во время маневров попали мы и в авиадесантную дивизию.

Всеволод Вишневский просил, чтобы командование разрешило нам прыгать в составе парашютного десанта. Это было вполне в духе нашего «командарма». Но этому категорически воспротивился настоящий командарм.

— Не хочу рисковать автором «Железного потока»,—сказал он.— Да и сомневаюсь, что автору «Цусимы» надлежит прыгать из самолета для впечатлений. Он — человек морской.

Всеволод с сожалением согласился.

Но свидетелями операции с авиадесантом мы были. Это было действительно необычайное зрелище. Мы наблюдали его вместе с «посредниками»

и командирами, среди которых находился народный комиссар Климент Ефремович Ворошилов. Над нами появились десятки больших самолетов. В строгом строю. Флагманский корабль дал сигнал. Из самолетов посыпались люди. И вот уже все небо над большим зеленым лугом расцвело сотнями разноцветных тюльпанов. Приближаясь к земле, они растут в размерах. Опи опускаются точно в указанное место. На других парашютах спускаются машины, орудия, танкетки. И вот уже приземленная дивизия, расчленившись на боевые порядки, идет в бой.

Я стоял неподалеку от Серафимовича и видел восхищенную улыбку на его лице. Он поймал мой взгляд, совсем озорно прищурил глаз, и загорелое, оживленное лицо его показалось мне совсем-совсем молодым.

Вдруг я увидел тень беспокойства на этом лице. Я взглянул вверх. Один из парашютов не раскрылся. Парашютист камнем падал вниз.

Сначала мы думали, что это фокус, прием высшего пилотажа, что он хочет показать выдержку. Но по тому, как тревожно дал какие-то распоряжения нарком, мы поняли, что это не фигура высшего пилотажа, а авария, чепе.

Какие-то командиры побежали на поле. С ними, конечно, увязался Вишневский. Послышалась сирена санитарки... И все это молниеносно, в течение секунд.

Серафимович сурово сдвинул брови.

И вдруг все ахнули. Уже неподалеку от земли падающий парашютист ухватился за стропы соседнего парашюта. Это было почти чудо. Под огромным голубым куполом спускались два парашютиста...

Вскоре мы узнали, что все обошлось благополучно. Вишневский даже успел побеседовать с героями дня.

Вечером, подробно рассказывая нам о всей этой истории, командарм усмехнулся и сказал Вишневскому:

— В боевой обстановке всякое бывает... Мы люди привычные... Но это, конечно, был редкий случай. А вы еще требовали, чтобы мы в такое дело включили наших дорогих гостей — Серафимовича и Новикова-Прибоя. А вдруг...

— Что же,— хитро улыбаясь, сказал Серафимович,— я человек гостеприимный, я бы Алексею Силычу половину парашюта уступил...

Вернулись с маневров помолодевшие, посвежевшие. Александр Серафи́мович возбужденно рассказывал друзьям о своих впечатлениях. «Тактические учения,— говорил он,— дали мне большую творческую зарядку». Об этом он написал и в «Литературную газету», назвав свою статью «Боевая зрелость». О наших замечательных воинах говорил он и на состоявшемся вскоре литературном вечере в помощь детям и женщинам героической Испании.

9

Когда началась война, Александр Серафи́мович был в каком-то лекционном турне на Смоленщине. Несмотря на свои семьдесят восемь лет, он был попрежнему неугомонным.

Уезжая на фронт, я не мог попрощаться с ним. Из писем товарищей узнал, что он долго жил в родном городе, потом, в связи с наступлением фашистов на Серафимовичский район, уехал в Сталинград, из Сталинграда в Ульяновск, писал очерки, выступал перед ранеными красноармейцами в госпиталях.

В день восьмидесятилетия он был награжден орденом Трудового Красного Знамени (орденами Ленина и «Знак Почета» он был награжден ранее). А через несколько месяцев за многолетние выдающиеся достижения в области литературы и искусства Александру Серафи́мовичу была присуждена Государственная премия первой степени.

Свою премию он отдал на вооружение Красной Армии.

Весь наш коллектив писателей и военных журналистов из-под озера Ильмень послал Серафимовичу теплое поздравление.

А в августе дошло до нас еще одно удивительное известие. Впрочем, правду говоря, я не был столь удивлен. Я знал, что наш «старшой» способен на такие дела. Восьмидесятилетний старик сам отправился на фронт. Да еще на какой фронт! На знаменитую Орловскую дугу.

Вместе с молодыми писателями и военными корреспондентами он трясся в грузовиках по фронтовым дорогам, «спускался» в батальоны и роты, беседовал с бойцами, собирал материалы для очерков «Коммунисты в бою», для сборника «В боях за Орел». Приказом командарма гвардии генерал-полковника А. В. Горбатова за активное участие в издании сборника Серафимовичу была объявлена благодарность.

Товарищи, которые сопровождали Серафимовича в этой поездке, рассказывали мне потом, что он страшно сердился, когда ему хотели доставить хоть немного больше удобства, чем другим. Он был верен себе, всей своей героической жизни борца-революционера.

А зимой 1943 года, получив очередной номер журнала «Красноармеец», мы прочли уже очерк Серафимовича из родного города, отвоеванного у фашистов,— «На освобожденной земле».

И опять продолжается неугомонная жизнь. Работа над новой книгой, путешествия, лекции, беседы с читателями.

...Последний раз мы собрались у Серафимовича накануне его восьмидесятипятилетия. И опять было то же. Рассказы о поездках. Бесконечные расспросы о нашем творчестве.

— А ну-ка, батенька, не скромничайте, что нового видели, что нового готовите... Хорошо это вам, молодежи...

И опять рояль... Старые песни... Многих старых друзей уж нет на этой традиционной вечеринке у «старшого». А он все такой же. Седые брови ку-

стятся над озорными, молодыми глазами. Неизменный белый воротничок. Только морщины уже частой сеткой изрезали лоб, пергаментную, точно выдубленную кожу лица.

Ой да ты подуй, подуй...

10

Выступая на собрании московских писателей, посвященном его восьмидесятипятилетию, Александр Серафи́мович сказал:

— С высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть: «Друзья! А жизнь такая чудесная! Да как она вкусно пахнет!..»

...Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадаешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути...

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово. «Жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша — необъятный простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!»

Он очень волновался, говорил с трудом. Окончив речь, он сел, полузакрыв глаза... Выступали другие ораторы, а в моих ушах все еще звучали последние слова «старшого».

И мне казалось, что перед его полузакрытыми глазами проходит вся его замечательная жизнь, люди, которых встречал он на своем пути. Его учи-

теля и его ученики. Александр Ульянов... Владимир Ильич Ленин... Петр Моисеенко... Глеб Успенский... Короленко... Горький... Фурманов... Шолохов...

...Мы собрались вскоре после его смерти в опустевшей знакомой квартире. Мы говорили о живом Серафимовиче, о его большой благородной жизни. Нам, конечно, было грустно, как ни старались мы бодриться.

Все казалось — раскроется дверь, на пороге появится он, живой, веселый, глянет хитровато из-под седых бровей и скажет:

— А что вы, хлопцы, приуныли?. А ну, давайте споем...— И привычным жестом огладит белоснежный свой воротничок...

...В апреле 1958 года мне пришлось выступать в клубе «Трехгорной мануфактуры». Собрались старые пресненцы, участники первой революции, и юные пионеры, родившиеся уже после войны.

Я рассказал им о героической жизни Ленина. Конечно, вспомнил о письме Ленина к старому пресненцу Серафимовичу и о сыне Серафимовича Анатолии, одном из первых пресненских комсомольцев. Нашлись в зале старики, лично знавшие Серафимовича и бывавшие на его квартире.

А потом известный артист прочел рассказ Серафимовича «На Пресне», а совсем юный пионер выступил со своими стихами, посвященными Ильичу.

Возвращался я ночью. Прошел мимо старого, знакомого дома № 5, зашел во двор. На втором этаже помещалась квартира № 13. Здесь собирались мы вокруг самовара тридцать пять лет тому назад. Здесь учил нас «старшой» мудрости житейской. Я посмотрел на темные окна второго этажа... И мне вдруг почудилось, что вот сейчас распахнется окно, высунется знакомая голова, окаймленная белым воротничком, и я услышу вопрос:

— А ну, батенька, что вы сегодня сделали для революции? Не секретничайте... Что вы скажете в свое оправдание?..



Дмитрий
ФУРМАНОВ

1

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Внутрипартийная дискуссия в начале двадцатых годов в Московском университете протекала бурно. Комсомольцев на закрытые партийные собрания не допускали, но и до нас докатывались волны дискуссии. На общем комсомольском собрании факультета общественных наук оппозиционеры предприняли разведку боем. Какой-то незнакомый большеголовый тучный человек призывал освежить, как он сказал, «застоявшуюся» партийную кровь. Он заигрывал с комсомольцами, напоминал о вечно передовой роли молодежи. Говорил оратор цветисто, злоупотребляя картинными театральными жестами, пересыпал свою речь выпадами по адресу руководства партии, обрушивался на «бюрократизм» в партийном аппарате. Председатель, отметив недопустимый тон, предупредил следующих ораторов. И тогда поднялся худенький чистенький юноша в белом свитере и пронзительным голосом начал выкрикивать:

— Слова не даете сказать! Рабочий класс скажет свое слово. Не за то боролись!

В разных местах зала одновременно раздались аплодисменты, протестующие крики, свистки. В общем шуме трудно было уже что-то разобрать. Но кто дал право этому юнцу говорить от имени рабочего класса? Когда и где он боролся, этот маменькин сынок? Несколько человек рванулись к трибуне. Я тоже что-то кричал, просил слова.

В этот момент к кафедре вышел коренастый, плечистый человек в военной гимнастерке, с орденом Красного Знамени. Он поднял руку, и все затихли. Он говорил не повышая голоса. Просто, задушевно беседовал со слушателями, убеждал их, как старший младших. Но делал это так, что нигде, ни в одной фразе вы не ощущали ноток превосходства. Он ничего не навязывал вам, но слова доходили до самого сердца. Краснознаменец рассказывал об истории партии, о Ленине и его учениках. Приводил красочные и убедительные примеры из не-

давней истории гражданской войны. Он говорил о мудрости руководителей-ленинцев и называл в их числе товарища Фрунзе, которого, оказывается, он и лично хорошо знал. Мне казалось, что я еще никогда не слыхал подобной речи. Его слова глубоко подействовали на комсомольцев. Юноша в белом свитере пытался еще что-то выкрикивать, но его не слушали.

Прения вскоре закрылись, моя речь так и осталась несказанной. Да после речи краснознаменца она не так уже была и нужна.

— Кто это был, этот, с орденом? — спросил я товарища, однокурсника.

— Как, ты не знаешь? — удивился он.— Это наш студент, Дмитрий Фурманов, бывший комиссар дивизии.

Это было как раз в ту пору, когда Дмитрий Фурманов писал книгу «Чапаев». Мы познакомились в тот же день. И с этого вечера Дмитрий Фурманов занял большое место в моем сердце. Он рассказывал мне о жизни, читал главы будущей книги, и я видел живых героев, радовался победам Чапая и тяжело переживал его гибель.

Однажды, в перерыве между лекциями, я стоял у окна аудитории. Фурманов вошел своей твердой походкой (он редко посещал лекции,— многие из нас в те годы совмещали учебу с редакционной работой). Я увидел необычайное волнение на его строгом лице.

— Кончил! — сказал он мне.— Точка. Точно простился с любимым человеком.

Я крепко пожал ему руку.

Через несколько дней Фурманов отнес рукопись «Чапаева» в Истпарт.

2

КАК БЫЛ СОЗДАН „ЧАПАЕВ“

Книгу о Чапаеве Дмитрий Фурманов задумал еще в годы гражданской войны, будучи на фронте. Тогда этот замысел не имел конкретных очертаний. Ясно было одно: о всем пережитом нельзя не напи-

сать, нельзя оставить это только в дневниках и записных книжках. А записывал Фурманов все: образы встречающихся людей, свои размышления, пейзаж. У него было много ярких впечатлений, была большая жизнь, дававшая материал для книг: фронт первой мировой войны, Октябрьская революция, активная работа среди ивановских ткачей, встречи с Фрунзе. Однако все это оформилось в литературные произведения уже значительно позже, после первой настоящей книги — книги о Чапаеве. Несомненно, в дни гражданской войны самым красочным и ярким событием в жизни Фурманова была встреча с Чапаевым, участие в руководстве 25-й дивизией. Этот прекрасный жизненный материал определил дальнейший творческий путь Фурманова.

В книге «Чапаев» Фурманов так характеризовал дневниковые записи комиссара дивизии: «Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себе ясного отчета».

И действительно, когда Фурманов делал свои дневниковые записи в Чапаевской дивизии, он не представлял себе, что из них впоследствии выйдет книга. В условиях жестоких непрестанных боев записывал он свои размышления и встречи, набрасывал характеристики людей, записывал, как всегда, подробно, точно, обстоятельно.

Фурманов с детства любил литературу, мечтал о ней всегда, еще на фронте гражданской войны мечта о будущей книге начала принимать конкретный характер. Но творческий «толчок» возник уже после войны. Об этом он поведал потом в своем дневнике:

«Ехали из деревни. Дорога лесом. Дай пойду вперед; оставил своих и пошагал. Эк хорошо как думать! Думал, думал о разном, и вдруг стала проясняться у меня повесть, о которой думал неоднократно и прежде,— мой «Чапаев». Намечались глава

за главой, сформировывались типы, вырисовывались картины и положения, группировался материал. Одна глава располагалась за другою легко, с необходимостью. Я стал думать усиленно и, когда приехал в Москву, кинулся к собранному ранее материалу, в первую очередь к дневникам. Да, черт возьми! Это же богатейший материал, только надо суметь его скомпоновать, только... Это первая большая повесть...»

Гражданская война окончилась. Комиссар дивизии Дмитрий Фурманов, боевой соратник Чапаева, вернулся к мирной жизни. Он перелистал страницы своих дневников. Ожили картины боевых дней, вспомнились друзья, боевые товарищи. Чапаев мчался на своем коне впереди бойцов, и знаменитая бурка его развевалась по ветру... Представилось, как обнимал он комиссара при последнем прощании и долго смотрел, как кружилась по дороге пыль вслед за машиной, увозящей Дмитрия. Весь путь Чапаева, вся жизнь этого человека ярко встала перед Фурмановым. А рядом с образом Чапаева возникал образ Петьки Исаева, беззаветно преданного рядового бойца, прикрывающего до последней минуты грудью своей раненого командира. Десятки Исаевых вставали со страниц дневника. Они боролись за свою страну, за жизнь, за счастье. Об этом нельзя было не написать.

И все-таки она нелегко далась ему, эта книга.

Долгими ночами сидит Дмитрий Фурманов над своими записками. Будущая книга волнует, захватывает его. Он думает только о ней.

«Ее надо сделать прекрасной. Пусть год, пусть два, но ее надо сделать прекрасной. Материала много, настолько много, что жалко даже вбивать его в одну повесть. Впрочем, она обещает быть довольно объемистой. Теперь сижу и много, жадно работаю. Фигуры выплывают, композиция дается по частям: то картинка выплывает в памяти, то отдельное удачное выражение, то заметку вспомню газетную — приобщаю и ее; перебираю в памяти друзей и знакомых, облюбовываю и ставлю иных стержнями-

типами; основной характер, таким образом, ясен, а действие, работу, выявление я ему уже дам по обстановке и по ходу повести. Думается, что в процессе творчества многие положения родятся сами собою, без моего предварительного хотения и предвидения. Это при писании встречается очень часто. Работаю с увлечением. На отдельных листочках делаю заметки; то героев перечисляю, то положения-картинки, то темы отмечаю, на которые следует там, в повести, дать диалоги... Увлечен, увлечен, как никогда!»

Фурманов уже не раз перечел свой дневник. Ему кажутся недостаточными его записки участника и очевидца, он собирает решительно все материалы о дивизии. Он достает комплекты газет, архивные материалы, он хочет ясно представить себе обстановку, жизнь всей страны, чтобы не измельчить тему, чтобы не сделать свою книгу просто мемуарами или рассказами о тех или иных боевых эпизодах. Он записывает в дневник:

«Материал единожды прочел весь. Буду читать еще и еще, буду группировать. Пойду в редакцию «Известий» читать газеты того периода, чтобы ясно иметь перед собой всю эпоху в целом, для того чтобы не ошибиться, и для того, чтобы наткнуться еще на что-то, о чем не думаю теперь и не подозреваю».

Он обращается с письмами к старым боевым соратникам. Хочет выяснить всю историю Чапаева с его юношеских лет до своей встречи с ним. Он получает много писем и приобщает их к своим материалам. Важно все,— ведь ему нужно будет показать, как Чапаев стал Чапаевым. Один из старых соратников пишет ему:

«Когда Чапаев приехал из Москвы, он взял меня и Исаева, и мы поехали в Александров Гай. А дальше ты ведь все сам знаешь».

Да, он все знает сам, но он не доверяет себе, не доверяет своим дневникам, он проверяет каждую деталь дополнительными материалами. Его книга должна быть повестью не только о Чапаеве, но

о гражданской войне, о том, как в жестоких боях с врагами крепла Советская республика.

...Долгие ночные часы сидит Фурманов над старыми пожелтевшими газетами, над дневниками. Переписывает, анализирует, припоминает, сопоставляет... Но все это кажется ему недостаточным... Мало... мало...

— У меня такое чувство,— делится он со мной во время нашей очередной прогулки от памятника Гоголю к памятнику Пушкину,— что я еще не все знаю, что я слишком рассчитываю на свой личный опыт, что у меня не хватает кругозора.

Это у него-то не хватает кругозора! Я смотрел на него, широко раскрыв глаза. Рядом с ним я казался себе совсем маленьким и неопытным. И я все больше ценил и любил его с каждым днем.

Фурманов подымает специальные военные архивы, усиленно штудирует работы молодых военных ученых, слушателей специальных курсов Военной академии РККА, работы, посвященные анализу событий девятнадцатого года на Восточном фронте.

Он готовится к своей книге, как к решительному сражению. Иногда ночами, среди работы, сомнения одолевают его.

«Прежде всего — ясна ли мне форма, стиль, примерный объем, характер героев и даже самые герои? Нет.

Во-вторых, пытал ли свое дарование на вещах более мелких? Нет.

Имеешь ли имя? Знают ли тебя, ценят ли? Нет. Приступить по этому всему трудно. Колыхаюсь, как былинка. Ко всему прислушиваюсь жадно. С первого раза все кажется наилучшим писать образами —вот выход. Нарисовать яркий быт так, чтобы он сам говорил про свое содержание,— вот эврика! К черту быт — символами. Символы долговечней, восторженней, глубже, чем фотографированный быт. В символах выход...»

«Символы» Фурманов понимал как обобщение, типизацию.

Материал весь собран. Надо приступать к работе.

И теперь проблемы формы особенно волнуют Фурманова.

«Ни одну форму не могу избрать окончательно. Вчера в Третьей студии говорили про Вс. Иванова, что это не творец, а фотограф... А мне его стиль мил. И я сам, верно, сойду, приду, подойду к этому,— все лучше заумничания футуристов... Не выяснил и того, будет ли кто-нибудь, кроме Чапая, называться действительным именем (Фрунзе и др.). Думаю, что живых не стоит упоминать. Местность, селения хотя и буду называть, но не всегда верно — это, по-моему, не требуется, здесь не география, не история, не точная наука вообще... О, многого еще не знаю, что будет».

И опять через несколько дней в своих дневниках он возвращается к этой же теме:

«Как буду строить «Чапаева»?

1. Если возьму Чапая, личность исторически существовавшую, начдива 25-й, если возьму даты, возьму города, селенья — все это по-действительному в хронологической последовательности, имеет ли смысл тогда кого-нибудь окрещивать, к примеру — Фрунзе окрещивать псевдонимом? Кто не узнает? Да и всех других, может быть... Так ли? Но это уже будет не столько художественная вещь, повесть, сколько историческое (может быть, и живое) повествование.

2. Кой-какие даты и примеры взять, но не вязать себя этим в деталях. Даже и Чапая окрестить както по-иному, не надо действительно существовавших имен — это развяжет руки, даст возможность разыграться фантазии».

Так, разговаривая с собой на страницах дневников, окончательно систематизируя и подготовляя материалы, приступает Фурманов к основной работе над книгой.

Детали быта чапаевцев занимают очень большое место в дневниках. Они во многом были использованы и в книге. Здесь на помощь автору дневников пришла и его память, пришло и художественное воображение.

...Перечитав все свои дневники через три с половиной года после непосредственных записей в дивизии, Фурманов записывает 21 сентября 1922 года:

«Писать все не приступил: объят благоговейным торжественным страхом. Готовлюсь... Читаю про Чапаева много — материала горы. Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить? В творчестве четыре момента... 1. Восторженный порыв. 2. Момент концепции и прояснения. 3. Черновой набросок. 4. Отделка начисто... Я — во втором пункте, так сказать, «завяз в концепции». Встаю — думаю про Чапаева, ложусь — все о нем же, сижу, хожу, лежу — каждую минуту, если не занят срочным другим, только про него, про него... Поглощен. Но все еще полон трепета. Наметил главы и к ним подшиваю каждый соответственный материал, группирую его, припоминаю, собираю заново».

Образ главного героя больше всего волнует его. Он опять вспоминает свои встречи с Чапаевым, и многочисленные стычки, и примирения, и крепкую волнующую дружбу. Ему хочется вылепить фигуру Чапаева во всей ее яркости, во всей реальности. Слащавые образы претят ему, он стремится показать реального человека.

19 августа 1922 года Фурманов записывает:

«Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную? Склоняюсь больше к первому».

В дневниках, в заметках на отдельных листках мы находим у Фурманова-комиссара довольно пространные записки о чапаевской «требухе», «грехах». Фурманов отмечает холодную встречу Чапаевым иваново-вознесенских рабочих, его неприязнь к политотделам и комиссарам. Он резко критикует ошибки Чапаева, помогает ему их осознавать и выправлять, не останавливаясь в таких случаях даже перед тем, чтобы вступить в конфликт с Чапаевым.

В повести Фурманов-художник также нисколько не идеализирует образ Чапаева, выступает против

слащавой, паточной романтизации, но с той же силой отметает снижающие образ героя гражданской войны натуралистические элементы, зафиксированные в дневниковых записях комиссара Чапаевской дивизии. Он типизирует образ Чапаева, основываясь на реальном материале, но из этого материала он всегда отбирает лишь то, что может служить обобщению образа.

Фурманову органически претит какая бы то ни было идеализация стихийности. Он хочет показать, как воля партии организует стихийную партизанщину, преодолевает отсталое и в характере самого Чапаева. Он хочет показать формирование характера Чапаева, образ героя в динамике, а не в статике, самый процесс формирования героя, процесс формирования нового человека. Автор дневников двадцать второго года, пройдя сам большой путь развития, несомненно, глубже проникает в явления действительности, чем автор дневников девятнадцатого года. В девятнадцатом году Фурманов наблюдал, записывал, часто регистрировал факты. В двадцать втором году Фурманов обобщает. В девятнадцатом году Фурманов главным образом комиссар дивизии. В двадцать втором году Фурманов — художник. «Чапаев» является книгой высокой вдохновенной идеи, книгой, очень далекой от натуралистической бытовщины.

Фурманов стремится вылепить образ Чапаева во всей его многогранности. Он хочет создать тип народного полководца, не лишая его индивидуальных черт самого Василия Ивановича. Разными путями пришли к большевизму Фурманов и Чапаев, но они встретились на этом пути, их дороги сошлись, и задачей писателя Фурманова, задачей большевика Фурманова, его партийным писательским долгом было — поведать искренне и правдиво о том, как пришел Чапаев своим путем к революции, как он стал воспитателем тысяч людей и их полководцем.

И в то же время реалистический образ Чапаева не лишен своеобразной романтики. Именно в сплаве реализма и романтики сила этого образа у Фурма-

нова. Чапаев дается в его типическом и в его индивидуальном.

В дневниковой записи «Ночные огни» скупо сказано: «Было холодно. Чапай приткнулся рядом». И всё. И вслед за этим: «Поднялись с зарей — мокрые, захолодалые, голодные как волки». И потом сразу — заря, солнце.

В книге совсем по-иному:

«...Было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому, и вдруг... запел — тихо, спокойно и весело запел свою любимую: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала — не ослышался ли?..»

И дальше идут проникновенные рассказы Чапаева о различных случаях из его бурной жизни, когда он видел в лицо смерть и эту смерть побеждал.

«— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было хуже моего. Да подумаю, и вижу, что терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть?..»

И вступает в разговор Петька, и рассказывает о себе, о своих «случаях» и переживаниях. И люди раскрываются перед нами в каких-то новых, не показанных еще связях с жизнью, в каких-то новых нюансах, новых тональностях своей психологии.

А потом уже идет финал — пробуждение, заря, солнце...

Эти разговоры, сокровенные и лирические, эти песни, которые поет Чапаев в степи, чрезвычайно обогащают и всю книгу, и характеристику образа Чапаева, и характеристику образа Петьки.

— Перечитал я эту свою дневниковую запись, — рассказывал мне Фурманов, — вспомнил эту поездку, эти огоньки в степи и вижу: нельзя эту запись в таком оголенном, суховатом плане переносить в книгу. По правде-то мы в тот раз действительно устали и

будто бы так и заснули без разговоров. А оставить вот так эту сцену в книге, только с усталостью, грязью, слякотью, нельзя. Никак нельзя. Есть какая-то другая, большая художественная правда... И вспомнил я другие ночевки с Чапаевым. И захотелось мне именно здесь, в этой главе, показать какие-то иные грани его души. А то, что здесь нарушилось какое-то хронологическое правдоподобие и точность дневниковых записей, так это ведь не беда. Ведь дневники для книги, а не книги для дневников. Ведь в совместной нашей жизни с Чапаевым, с Петькой было и это. Пусть в другие разы, но было. И захотелось мне рассказать и об огнях в степи, и о разговорах задушевных и придать больше душевного тепла этой сцене... Ну, как удалось... не знаю.

Но многие страницы черновых записей совсем не воспроизведены в книге. Так, не вошли в книгу споры Федора Клычкова, Андреева, Бочкина и Лопаря на общие темы: об этике, о морали, о пережитках старого в сознании человека, о собственничестве. Интересно привести некоторые рассуждения фурмановских героев.

«Совместно жить ой-ой как трудно»,— говорит один из них.

Лопарь отвечает: «Когда надо действовать вместе, всякая рознь, всякая мелочность побоку. Выходило так, будто в мелочах этих житейских в нас объявлялось все, что от старого осталось, от прошлого, от жизни нашей, от ученья школьного, от воспитания... А когда на борьбу сходились, тогда все отбрасывалось и оставались только воины — тут-то настоящий новый человек и объявлялся...»

«И все-таки,— молвил Терентий,— никогда не бывает, чтобы человек из одних талантов задался».

Прекрасные страницы неопубликованных вариантов посвящены характеристике людей «высоких человеческих качеств». Таким человеком несомненно был Миша (командующий армией М. В. Фрунзе). Старые друзья много разговаривают о нем, вспоминают, как он вел себя когда-то в тюрьме.

«— Его к смертной казни приговорили, а он себе английский язык разучивает по самоучителю. Это не каждый сумеет так-то. Силу надо иметь для этого особенную...

— Так и выучил? — наивно изумился Бочкин.

— Выучил ли — не знаю, а учил... И когда в централе, где он сидел, заваруха какая начиналась: скандалы затевали или просто перенервничаются люди и помощи ждут со стороны,— к кому тогда идти: опять к Мише, опять к нему; словно склад тут какой, словно запасы в нем сохраняются. И весел постоянно, бодрый ходит такой, все торопится куда-то, все учится, занимается сам, помогает кому-нибудь; нет, братцы, это чудесный человек, чудесный... Мы еще не знаем его... Вот уж действительно никакая мелочь к нему не приставала.

— Не лишку ли нахвалил? — быстро и насмешливо взглянул Андреев на Лопаря.

— Так и не хвалю вовсе,— изумился тот вопросу,— чего же хвалить, это не выдумали, а рассказывают те, что вместе с ним тюрьму отбывали... Тут, наоборот, хулу можно было бы не принять, можно ей и не поверить; а уж, брат, коли хорошие дела рассказывают, значит, так и было. Хорошее не выдумывают...

— Немного таких-то,— грустно улыбнулся Терентий.— Он, знать, вперед себя ушел — знаете, бывает, человек вперед себя уходит. То есть он как будто и не отличается от кого, похож на всех, а нет, ни на кого не похож на деле-то, и на себя даже не похож, как это видишь его, а другой он человек, вперед тронулся... Надо быть, и он из этаких...»

Этот отрывок тоже не вошел в книгу. Судя по всему (вспоминаю и личные разговоры с Фурмановым), он думал его вставить потом в расширенный вариант «Чапаева». Да и вообще он думал написать о М. В. Фрунзе отдельно, развернуто.

Работая над книгой, Фурманов исключал те материалы, которые могли бы затормозить развитие сюжета.

В одной из не вошедших в книгу дневниковых записей речь идет о пространных спорах между Фурмановым и его друзьями еще до встречи с Чапаевым на темы об этике и морали коммуниста.

«Мы снова и снова возобновили разговор о том, сколь много следует коммунисту работать над собой, чтобы быть действительным и достойным носителем великого учения, за которое боремся: учения о коммунизме. В нас вросло, от нас пока неотделимо жадное, своекорыстное чувство частной собственности... Мы никак не можем научиться воплощать в жизнь то, что проповедуем. На лекциях и на митингах наших мы говорим много красивых, звонких фраз, но, лишь только потребуется эти высказанные положения проверить на опыте, приложить к себе, пасуем, черт побери, непременно пасуем...»

На эту тему мы не раз беседовали с Дмитрием Андреевичем. Одной из основных черт его характера была ненависть к двуличию, двурушничеству, двойному счету. Человек, живущий по двойному счету, фальшивящий с окружающими, а подчас и с самим собой, всегда жестоко осуждался Фурмановым. Да и в Чапаеве его особенно привлекала искренность, прямота его характера. Этой честности, прежде всего внутренней, в собственных мыслях и чувствах, он требовал всегда и от нас, своих молодых товарищей по литературной борьбе.

Об этой честности он писал и в своей книге «Путь к большевизму».

И как же ненавидел он всевозможных конъюнктурщиков и хамелеонов. Как-то на квартире Серафимовича кто-то, кажется Юрий Либединский, рассказывал об одном знакомом писателе, который горячо поздравлял Лидию Николаевну Сейфуллину с выходом ее «Виринеи», а потом, после ухода писательницы, ядовито высмеивал ее.

Фурманов вскипел.

— При встрече я ему руки не подам,— сказал он резко.— Такие люди продадут ни за грош.

Фурманов был очень строг к себе. Он сумел показать в образе Клычкова свою собственную борьбу

со всякими мелкими чувствами, которые иногда возникали в нем. Напомним чувство страха и его преодоление в первом бою. Фурманов ничего не лакировал и не замазывал, но он умел отбирать основное, не увлекался риторикой, отметал то, что, как казалось ему, загружает книгу излишними, уводящими в сторону подробностями. Так, была снята им в окончательной редакции книги довольно значительная глава «Револьвер», повествовавшая о собственнических чувствах, случайных, не органичных для Клычкова, и об их преодолении. О проблемах воспитания, морали, этики он собирался написать целую книгу.

...В последний раз перечитывает он рукопись, и снова вся жизнь дивизии встает перед ним. Он записывает в дневник:

«А может быть, уже такое героическое время наше, что и подлинное геройство мы приучились считать за обыкновенное, рядовое дело... Пройдут десятки лет, и с изумлением будем слушать и вспоминать про то, что кажется теперь, при изобилии, таким обыкновенным и простым...

Так, может быть, обыкновенными кажутся и нам здесь необыкновенные деяния Чапаева. Пусть судят другие — мы рассказали то, что знали, видели, слышали, в чем с ним участвовали многократно».

«По заголовку «Чапаев»,— пишет Фурманов в другом месте,— не надо представлять, будто здесь дана жизнь одного человека — здесь Чапаев собирательная личность. На самом деле дан ряд бытовых картин».

Вся творческая история «Чапаева» говорит об этом же. Исходя из конкретного материала, проверенного и проанализированного много раз, Фурманов все время идет к обобщению. Об этом процессе обобщения он сам несколько раз пишет в дневниках и в специальных заметках:

«Чапаев — лицо собирательное (почему и дано название очерку) и для определенного периода очень характерное... Метод мой нов: не обязательно повествование свое надо вылизывать и облизывать,

словно грудного котенка,— *оно может быть столь же обрывочным, как сама жизнь:* ввел лицо — его бросил, оставил по пути, не довел героя до конца. Многих вводишь эпизодически, на час-другой, они нужны, но не до конца повествования».

И опять эту же мысль подчеркивает Фурманов в специальной заметке «Мои объяснения»:

«Обрисованы исторические фигуры — Фрунзе, Чапаев. Совершенно неважно, что опущены здесь мысли и слова, *действительно* ими высказанные, и, с другой стороны, приведены слова и мысли, *никогда ими не высказывавшиеся* в той форме, как это сделано здесь. Главное — чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена, а детали значения совершенно не имеют. Одни слова *были* сказаны, другие *могли* быть сказаны,— не все ли равно? Только не должно быть ничего *искажающего* верность и подлинность событий и лиц». (Подчеркнуто всюду Фурмановым.— *А. И.*)

Эта запись в известной мере является ключом к раскрытию замысла Фурманова, его творческого метода. Писатель-реалист, привлекший огромное количество истинных деталей боевой жизни и быта чапаевцев, писатель-реалист, идущий в изображении своих персонажей от жизни, от конкретного, в то же время умеет подняться до высокого обобщения, умеет показать действительность в революционном развитии, умеет произвести отбор, не находясь в плену у фактов и деталей (те, которые ему не нужны, он смело отбрасывает), умеет показать Чапаевскую дивизию на фоне общей жизни страны, на фоне общей борьбы, показать ее место в этой борьбе. Писатель-реалист подымается до настоящего эпоса, сочетает свой реализм с революционной романтикой, изображает героев, глядящих далеко вперед.

Несомненно, органически связано с прекрасной реалистической книгой Фурманова и не вошедшее в книгу эпическое посвящение автора:

«Мужикам Самарской губернии, уральским рабочим, красным ткачам Иваново-Вознесенска, киргизам и латышам, мадьярам и австрийцам — всем, кто составлял непобедимые полки Чапаевской дивизии, кто в суровые годы гражданской войны часто без хлеба, без сапог, без рубах, без патронов, без снарядов, с одним штыком сумел пройти по уральским степям до Каспийского моря, по самарским лугам на Колчака, на западе против польских панов, кто мужественно бился против белоказацкой орды, против полков офицерских, кто кровь свою пролил за великое дело, кто отдал жизнь свою на алтарь борьбы,— всем вам, герои гражданской войны, чапаевцы, я посвящаю эту книгу».

...Фурманов заканчивает свою книгу 4 января 1923 года. И вот последняя бессонная ночь, замыкающая десятки ночей, заполненных «Чапаевым».

«Ночь. Сижу я один за столом у себя — и думать не могу ни о чем, писать ничего не умею, не хочу читать. Сижу и вспоминаю: как я по ночам страницу за страницей писал эту первую многомесячную работу... А теперь мне не о чем, не о ком думать... Остался я будто без лучшего любимого друга...»

«Чапаев» вышел в свет. Это была творческая победа советской литературы. Это была книга, показавшая реально, правдиво и убедительно гражданскую войну. Это была книга, давшая яркие образы простых людей, героев гражданской войны, от Чапаева до Петьки Исаева.

«Чапаев» был любимым творением Фурманова. Писатель мечтал, что эта книга станет первой главой задуманной им эпопеи о гражданской войне. «На «Чапаева»,— писал он в дневнике,— смотрю, как на первый кирпич для фундамента».

«Есть мысль,— писал он,— раздвинуть «Чапаева». Дать и новые картинки, может быть, лица ввести и особенно расширить, усерьезнить изложение чисто внешней стороны походов и сражений,

а равно и очерк социальной жизни города и деревень, ухватив экономику и политику...»

Этой прекрасной мечте писателя не суждено было воплотиться в жизнь.

3

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

После выхода «Чапаева» Фурманов стал признанным писателем и окончательно связал свою судьбу с литературой. На литературном фронте Дмитрий Андреевич остался тем же горячим большевиком, активно участвующим в борьбе за партийную линию в литературе. Огромное значение придавал Фурманов движению рабочих корреспондентов, переписывался с десятками начинающих писателей. Работая с 1922 года в Государственном издательстве, он много помогал молодым. В 1923 году Фурманов вступил в Московскую ассоциацию пролетарских писателей и вскоре был избран ее секретарем. Он упорно боролся с врагами партии, с интриганами, склочниками, мешавшими развитию советской литературы.

Дни и ночи, исключительно собранный, дисциплинированный и организованный, он отдает борьбе, творчеству и учебе.

Наряду с работой над новыми произведениями, над материалами будущей книги «Мятеж», Фурманов очень много внимания уделяет разработке проблем новой эстетики. Его записи свидетельствуют о том, как вырабатывался у писателя метод социалистического реализма.

Формирование эстетических взглядов Дмитрия Фурманова началось еще задолго до Октябрьской революции.

Искренний, пылкий, непримиримый ко всякому злу и несправедливости юноша страстно любит литературу, мечтает о ней. Его юношеские дневники заполнены стихами, записями о прочитанных книгах. Здесь и Тургенев, и Толстой, и Григорович. Под

впечатлением прочитанных книг Фурманов решает вести день за днем записи своей жизни.

«Почему же мне не приняться и не написать повесть о себе? Я в душе тоже поэт, я пишу стихи, интересуюсь литературой, терзаюсь за русский язык и очень ревную порою к нему приближающихся, но, по-видимому, недостойных.

...На свое будущее я смотрю очень и очень спокойным взглядом... Мне думается почему-то, что *я должен сделаться писателем и обязательно поэтом*».

Этой записью открывается первая страница фурмановского дневника, 26 июня 1910 года. С этого дня он систематически ведет дневник до конца своей жизни.

2 августа 1910 года Фурманов записывает: «Я постараюсь, по возможности, исключить из своих писаний все ложно придуманное. Быть писателем-реалистом — дело великое и полезное».

Порою, на литературном ли вечере, на бурном ли писательском собрании, мы были свидетелями того, как Дмитрий Андреевич начинал лихорадочно что-то записывать на клочках бумаги, на крышке папиросной коробки, если бумаги не было под рукой. Это были отдельные зарисовки, записи отдельных мыслей. Все это Фурманов бережно сохранял, все это он потом переписывал в дневник, использовал в своей работе. Так же он делал дневниковые наброски в походах, в седле, в перерыве между боями. Дневники Дмитрия Фурманова представляют необычайный интерес.

Особенно любил он Льва Толстого. Он считал его «за величайшего как из предшественников, так и из современников писателя, за истиннейшего мыслителя и проповедника своих высокогуманных идей». Портреты Толстого, цитаты из его произведений были развешаны по всей комнате. В школьном кружке, который организовал Фурманов, шли жаркие споры о Тургеневе, о Толстом, о Достоевском.

«Толстой бесконечно ближе мне (Достоевского.— *А. И.*),— запишет он позже (5 января 1914 года),—

со своей теплотой, лаской, цельностью душевной и свободным проявлением души, далеким от ярма аскетизма».

В кружке часто назывались имена Герцена, Чернышевского, Горького.

Волевой, твердый и принципиальный юноша, которому душно в гнетущей обстановке царской школы, бунтует против казенщины и бюрократизма. Не случайно, что одним из первых любимых героев молодого Фурманова был Базаров. В образе Базарова он особенно ценил цельность натуры, честность, борьбу с иллюзиями, стремление к правде. Все это было близко мыслям и чувствам Митяя, все это было связано с его жизненными идеалами. В дневниках Фурманова школьных лет мы находим много записей, посвященных Белинскому и Писареву, Добролюбову и Чернышевскому.

«Передо мной рисуется моя будущая литературная жизнь,— записывает он в дневнике,— не такая, правда, грозная и кипучая, как жизнь Белинского, Писарева, Добролюбова, но какая-то плодотворная...»

Для биографии Фурманова школьные годы имеют очень большое значение. Происходит становление мировоззрения Фурманова, несомненно связанное со сложными психологическими сдвигами, с пересмотром многих детских представлений о жизни.

«Страшный перелом совершился в моей душе, все, во что я верил доселе, что непоколебимо чтил и уважал, все это теперь как-то иначе осветилось, помутнело, уступило место иному, еще не знакомому. Нет уже более неопределенного, безотчетного преклонения перед «тихими наслаждениями», перед миром и покоем «душевной радости», и вижу и знаю я, что резко и холодно расстался я с прошедшим... *Писарев и Добролюбов перевернули вверх дном все мои мечты и убеждения.* Я знаю, что ничего еще нет во мне основательного, твердого, но зачатки чего-то уже есть... Явится новая жизнь, явится новое сознание, новые стремления и мечты...»

Важное место в дневниках Фурманова 1910—1912 годов занимают его первые литературные опыты, первые стихи, еще далеко не совершенные, еще слабые и идейно и художественно, но, несомненно, характеризующие стремление юноши вырваться из маленького душного мирка, стремления, навеянные великими революционными демократами.

«Человек только тогда истинно высок,— писал Фурманов (1910 г.),— когда, свято исполняя обязанности человека и гражданина, он кладет все свое достояние, материальное и духовное, исключительно на благо — общественное...»

1912 год. Столица. Московский университет. Об этом университете давно мечтал Фурманов. Поступление в университет рисовалось ему выходом в большой, многообразный, интересный и сложный мир. Однако быстро пришло разочарование. Он видит здесь ту же казенщину, бюрократизм, тот же душный мир, из которого он стремился вырваться. Царские чиновники изгоняют из университета всякое свободное слово, увольняют лучших профессоров. Многие студенты высылаются из Москвы. Фурманов записывает в своем дневнике: «Значит, все... все так? Так что же это за храм науки? Я думал, что это моя больная душа заныла, раны мои заныли и обрушились всей тяжестью на бедный университет... Ошибся я!.. Всем тяжело!.. Тюрьма, а не храм».

Разочарование в университете связано у Фурманова с его не осознанным еще протестом против царизма, против всей гнетущей обстановки николаевской реакции довоенных лет.

Он все время ищет верного пути. С большим интересом приглядывается к событиям, происходящим в литературе. Волнует его знаменитое письмо Алексея Максимовича Горького в редакцию «Русского слова» (1912 г.). Горький протестует против постановки на сцене Художественного театра инсценировки «Бесов». Резкие и справедливые слова Горь-

кого о Достоевском помогают Фурманову понять собственный, еще не осознанный протест против «достоевщины», против всего, что казалось ему чуждым в творчестве великого писателя. Об этом думает Фурманов много и напряженно. Это связано с пересмотром многих старых привязанностей, с органическим неприятием всего упадочного, болезненного, декадентского. Может быть, именно в эти ранние годы раздумий рождается у Фурманова та ненависть к декадентству, которая была типична для него в более поздние литературные годы.

Кстати говоря, еще в 1910 году, в Кинешме, он резко осудил известный роман Арцыбашева «Санин». «Сальность, цинизм, сладострастие, да, пожалуй, кутеж и бесшабашность, беспринципность — вот характерные черты этого декадентского героя».

В стихах, опубликованных только на страницах дневника, он пытается выразить свое литературное credo:

Но кипит в душе презрение и злоба
На стихи уныньья, рабства и тоски,
Где живые люди сами ищут гроба,
Молятся на холод гробовой доски.
Эти дети мрака, дети подземелья
С гимнами бессилью и могильной мгле,—
Взросшие без солнца, света и веселья,
И не им царить на солнечной земле.

Фурманов решительно отвергает и философию и литературу, связанную с мистикой, с упадком, с безверием.

«Лучшие умы не глумились над человеком,— пишет он.— Они страдали и своими страданиями прокладывали и указывали путь, или они любили и показывали, как надо любить,— таковы Толстой, Достоевский, Горький и Тургенев».

Жизнерадостность и вера в будущее никогда не покидают его. Ему нужно найти путь к людям борьбы, путь к революции. Он мечтает о большом, настоящем деле. Он мечтает о новой, лучшей жизни. Он записывает в свой дневник: «Кажется, столько во мне этой силы теперь, что все страдания, все муки, все тяжести — все могу перебороть. Только чтобы

сказать и говорить себе поминутно: «Я существую в муках, в пытке, но я вижу солнце, я знаю, что надежда на лучшую жизнь меня не обманет. Бороться — значит жить».

Еще только мечтая о будущем своем литературном труде, он рисует его себе как труд, органически связанный с народом. «Пойду по народу, не «в народ», а по народу: есть страстное желание пережить как можно больше чужих жизней, чтоб знать жизнь мира...» (1912 г.)

Будущее творчество свое он определяет только как творчество реалистическое. «Реалистом быть — дело великое и полезное». «Писать буду, может быть, и по-старому возвышенно, но прежде всего постараюсь быть искренне правдивым и не преувеличенно чувствительным...»

Естественно, что стремление это к реализму сочеталось у Фурманова с резко отрицательным отношением к декадансу, в какие бы формы он ни рядился.

«Выходки и требования «свободы» наших футуристов, кубистов, эгоякобинцев и вообще названных новаторов жизни напоминают мне дикую, неудержную форму требований и самообличений Ипполитова кружка (очевидно, кружок Ипполита Терентьева из романа Достоевского «Идиот».— *А. И.*) зеленой молодежи, бродившей не на дрожжах, а на чем-то искусственном и фальшивом...»

Еще в 1913 году, еще задолго до «Чапаева» и «Мятежа», двадцатилетний Фурманов утверждал, что искусство призвано вдохновлять людей, способствовать росту сил, направлять эти силы на борьбу за лучшую жизнь. Борясь за вечный идеал, «никогда не должно терять из виду и земного идеала, цели, чисто человеческих житейских поисков и желаний...»

Он утверждал, что поэт, бесцеремонно третирующий окружающую жизнь,— не член общества, у него нет гуманизма в душе, его отличает «сатанински-невозмутимый» эгоизм. В период общественных бедствий и драматических событий такие

поэты могут бренчать о красоте природы, о прелестях любви и т. д., «...потому что петь (об этом) оказывается безопаснее и спокойнее, а под прикрытием высокого идеала, под идеей бесконечного поклонения своему богу — это ведь и извинительно, прощается... Мы говорим о ценности художника помимо ценности вообще,— и для данного времени... *То творчество ценнее и выше, которое помимо вечного ответило и насущному».* (Курсив мой.— *А. И.*)

Он утверждал, что все гениальные писатели были кровно связаны с жизнью своего народа, а их творения тем и значительны, что правильнее и глубже отразили жизнь своей эпохи.

«Жизнь настолько полна и разнообразна, что невозможно петь обо всем, что придет на ум, надо выбирать только ценное... *«Искусства для искусства» нет, есть только искусство для жизни».* (Курсив мой.— *А. И.*)

Эти мысли Фурманова целиком совпадали с его конкретным анализом произведений классиков реализма, в частности произведений столь высоко ценимого им Льва Толстого.

«Толстой требует, вернее желает, чтобы жизни давали ход, не опутывали ее, не раздражались ее мелочами...»

Все это не случайные, мимоходом высказанные мысли. Это — программа. Кодекс морали и эстетики.

«Искусство для искусства» — абстракция, удаленность, мертвый мир, самодовлеющая ничтожность. Искусство имеет цель — не выдуманную, не деланную, но рождаемую его полнотой и чистотой. Искусство будит мысли... Искусство рождает порыв, а порывы рождают святые дела...»

И как же ненавидел он штукарей, которые примазывались к литературе во все времена! Как негодовал он против малейшего проявления пошлости в искусстве!

«Оскорбляет до боли, что песни наши, любимые народом песни, полные чувства и огня, постепенно вытесняются разной пошлостью.

Дети не знают народных песен, но распевают разные гадости, вроде:

Я директор Варьете,
Театра Зона, театра Зона...[1]
Я в помощницах была
У Пинкертона, у Пинкертона...

С большой охотой поют «Мариэту»:

Мариэта... Люблю за это,
Что ты к нам вышла без корсета...

А о «Пупсике»[2] уж и говорить нечего, на нем все словно помешаны.

...Меня просто тошнит, физически тошнит, когда я слышу эту пошлость. В душе накипает злоба, хочется кому-то мстить, мстить жестоко...»

Это написано в 1914 году, в начале первой мировой войны... Задолго до «утомленного солнца», которое «тихо с морем прощалось», задолго до многих «гитарных» песен... шестидесятых (!) годов...

А в конце 1915 года, хлебнув тяжелой фронтовой жизни и ненавидя тыловых мещан и окопных туристов, он писал о пошляках и мещанах: «Любя треск и бесцельную болтовню, они создали Игоря Северянина, не в силах превозмочь ни единой главы Достоевского. Скоро движение. На Игоря плюнут, а может, не удостоят плевка — куда же эта шатия уйдет?..»

Рядом с постепенным, сложным осознанием всей преступности царского строя, погнавшего миллионы людей на бойню, рядом с ненавистью к царским чиновникам и мещанам («Глупость или измена — этот роковой вопрос давно взбурлил народные массы...») зреет вера в жизнь, в будущее, в народ, в свои собственные силы и творческое призвание.

«Вера в себя не должна умирать ни на единый миг...»

---

[1] Зон — антрепренер дореволюционного опереточного театра в Москве.

[2] «Мариэта» и «Пупсик» — модные в 1914 году пошлые куплеты.

«Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы...» (В эти же дни Маяковский писал: «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год».)

«Чувствую в себе огромную жажду жизни, любовь к ней, надежду на собственные силы и плодотворную работу, веру в то, что моя жизнь может гореть и светиться, но не тлеть...»

Но не тлеть... Это лейтмотив.

«Скоро придет главное — тогда отдам ему все силы...»

Мысли о жизнетворящем искусстве никогда не покидают его. Даже в самые тяжелые дни, даже в самой гнетущей обстановке.

«Я чувствую полную неспособность к пессимизму, мертвому отношению к жизни. Непротивление мне как-то не к лицу».

«Громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий, солнечный путь... Слава тебе, живая вера в живой источник живой души...»

А потом революция. Фурманов в самом котле революционной борьбы. Путь к большевизму. Иваново. Гражданская война. Чапаевская дивизия...

И, наконец, воплощение многолетней мечты... Творчество. «Чапаев».

Органична связь взглядов на искусство зрелого Фурманова, автора прославленного «Чапаева», с мыслями, записанными в юношеских дневниках. Единый кодекс. Единая эстетическая программа.

О художественном творчестве он мечтал всегда. И тогда, когда вместе с Чапаевым водил на врага бойцов в лихие атаки. И тогда, когда вместе с Ковтюхом возглавлял легендарный десант в тыл Улагая.

Коммунист, комиссар, начальник политотдела Фурманов записывал в дневник 17 января 1920 года:

«Я жил все время как художник, мыслил и чувствовал образами».

Кончилась война. Он сумел воплотить в замечательной книге весь свой опыт горячей боевой жизни. Он стал известным писателем. Но он всегда был готов «в случае крайней нужды оставить литературу и пойти работать на топливо, на голод, на холеру бойцом или комиссаром... Эта готовность — основной залог успешности в литературной работе.

Без этой готовности и современности,— писал он,— живо станешь пузырьком из-под духов: как будто бы отдаленно чем-то и пахнет, как будто и нет... *Со своим временем надо чувствовать сращенность и следовать не отставая — шаг в шаг...»* (Курсив мой.— *А. И.*)

Уже в Москве, приступив к работе над «Чапаевым», окунувшись в безбрежное творческое море, он делился с дневником сокровенными своими раздумьями.

«Не хочу я славы, счастье жизни отнюдь не в славе, это заблуждение... но сам ты, сам — не будь скотиной только своего стойла, вылезай за тын своего огорода, живи общественной жизнью. Помни, что счастье и не в том, чтобы жить только личною, тем паче растительной жизнью...»

В 1923 году (уже после окончания «Чапаева») Фурманов пишет статью «Спасибо», как бы завершающую все его мысли о задачах искусства, которые были намечены в первых дневниковых записях еще десять лет назад:

«Настоящим, подлинным художником никак нельзя считать того, кто занят в искусстве разработкой элементов исключительно формальных... Настоящий художник всегда выходить должен на широкую дорогу, а не блуждать по зарослям и тропинкам, не толкаться в скорбном одиночестве... Художник лишь тогда стоит на верном пути, когда он в орбиту своей художественной деятельности включает основные вопросы человеческой жизни, а не замыкается в кругу интересов частных и групповых... Надо уметь ловить пульс жизни, надо всегда за

жизнью поспевать,— коротко сказать, надо быть всегда современным, даже говоря про Венеру Милосскую...»

Какая поразительно цельная программа на протяжении ряда лет. И каких лет! И какая *партийная* программа! И главное: программа, находящая органическое воплощение в собственной художественной практике.

Перелистываешь страницы фурмановских дневников и на каждой из них находишь золотые крупицы его раздумий, заповеди писателя, которые сохранили всю свою боевитость и в наши дни, которые и сегодня действенны, как «старое, но грозное оружие»:

«Нужна художественная политика».

«Поэзия Некрасова настраивала *на боевой лад*, в этом ее заслуга».

«Простота в искусстве — не низшая, а высшая ступень».

«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров».

«Формальные приемы творчества — язык и проч.— зависят от содержательно-идеологической сущности произведения» (Плеханов).

«Весь старый мир мы тоже можем освещать (не только современить!), но под своим углом зрения».

«Эстетика должна быть наукой исторической и отнюдь не догматической. Она не предписывает правил, а только выясняет законы; она не должна осуждать или прощать, она только указывает и объясняет».

«Голос пролетлитературы был всегда созвучен революции».

«Ближе к живой конкретной современности!»

«Да здравствует пролетарская романтика!»

«Необходимы эпические произведения вровень эпохе».

«Надо расширять и углублять содержание и работать над новой, синтетической формой».

«Мы боремся с застоем, перепевами самих себя, крайним увлечением формой».

«Существующие формы — лишь исходные точки для пролетарского писателя в деле создания новых форм».

«Футуризм — гаубица, из которой можно стрелять в любую сторону».

«К литературе нельзя относиться мистически — это орудие борьбы».

«Довольно политической безграмотности литераторов!»

«Помогайте массам понять революцию».

«Давай историческую перспективу!»

«Стойте ближе к РКП».

«Надо смотреть на жизнь глазами рабочего класса».

«Мы против сектантства».

Или эта замечательная запись, особенно остро звучащая в наши дни огромного роста мемуарной литературы:

«Человек, ударившийся в воспоминания, иной раз напоминает токующего глухаря: так залюбуется собою, так себя обворожит своими же собственными песнями, что хоть ты голову ему снимай — не шевельнется. Воспоминания обычно владеют человеком настойчивей, нежели он сам овладевает ими: воспоминания всплывают как бы непроизвольно, сами по себе, выскакивают словно пузырьки по воде: раз, два, три, четыре... И до тех пор, пока ты созерцательно отдаешься своим воспоминаниям,— сделай милость, вспоминай что хочешь, вреда от этого нет никакого.

Но если задумал воспоминаниями своими поделиться на сторону, тем паче ежели надумал их написать,— тут уж воспоминаниями следует активно овладеть, из всего воспоминаемого отобрать самое ценное и важное, отбросить второстепенное, как бы навязчиво ни томило оно в мыслях, как бы тебя ни волновало. Больше всего опасайся к крупным событиям подходить с мелким масштабом; приподнимаясь на цыпочки, глядеть через плетень и вообра-

жать, что видишь целый мир. Бойся и того, чтобы в центре излагаемых событий непременно выставить себя: смотрите, дескать, какой я молодец, эва каких геройских дел натворил. От такого самовосхваления отдает всегда тошнотворной пряностью, рябит в глазах, звенит в ушах — словом, нехорошо себя чувствуешь...

Не про то я здесь говорю, что «стыдно», «нехорошо» говорить о своих поступках,— это чепуха, отчего же не сказать? Но в этом деликатном вопросе очень много значит — *как* сказать...»

Большое внимание уделяет Фурманов проблемам формы. Он всегда говорит о недопустимости отрыва формы от содержания. Реалистическое мастерство заключается у него не только в выборе злободневной темы. Неоднократно пишет он о том, что писатель-реалист может взять любую тему, весь вопрос в том, как к этой теме подойти.

«Все ли можно писать? Все. Только... В бурю гражданских битв пишешь об особенностях греческих ваз... Они красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын или по идиотизму, или по классовости. Писать надо то, что служит непременно, прямо или косвенно служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть фарфоровое время, а не стальное. Впрочем, можешь и про вазы. Дело тогда решит душа произведения, смысл, гармония чувств и настроений».

«Как писать? — заносит Фурманов в свой дневник.— Вопрос удивительный, непонятный, почти целиком обреченный на безответность. Крошечку завесы можно, впрочем, поднять. Так, чтобы это действовало в отношении художественном, подымало, будило, породило новое. Драма, повесть, стихотворение — все равно. Только не упивайся одной техникой — она вещь формальная. Чудо может быть и без нее, а с другой стороны — она, как тина болотная, втягивает и губит подчас с головой, остается голая любовь к форме,— это нечто даже враждеб-

ное, совсем чуждое поэзии. Пиши, чтоб понимали».

Борьбу за реализм, за понятность, за художественную простоту Фурманов всегда связывает с борьбой против формализма. Уделяя и в своей эстетике и в своей практике большое внимание качеству, высокохудожественной форме, Фурманов резко возражает против формализма, против трюкаческих изысков. В одной из своих заметок о Всероссийском союзе писателей он прямо пишет:

«Нельзя отбрасывать те завоевания художественной техники, которых мы достигли,— ими пренебрегать — это значит быть рутинером, но радеть только над рифмами — бесполезное занятие. Помоему, содержание должно неизбежно, органически рождать те рифмы, которые ему необходимы, которые его выражают — все равно, старые или новые. Одна рифма сама по себе еще отнюдь не имеет красоты — эту внутреннюю красоту дает только содержание, порождающее рифму».

Проблема народности, массовости искусства встает перед Дмитрием Фурмановым с первых же дней его творческой работы. Целые страницы его дневников, тех самых дневников, в которых давались и описания боев и портреты Чапаева и его соратников, теперь заполняются мыслями Фурманова о литературе, об эстетике, о проблеме формы и содержания. Особое место в высказываниях его об искусстве занимает вопрос о создании положительного образа, создании характера. Фурманов требует показа человека во всем его многообразии. Он выступает против механического создания образа живого человека, путем дозировки его отрицательных и положительных черт.

«Никогда,— пишет Фурманов,— не увлекаться в отрицательном типе изображением отрицательных черт, а в положительном — положительных: пряно».

Проблема развития характера особенно занимает Фурманова.

«У каждого действующего лица,— пишет он,— должен быть заранее определен основной характер,

и факты — слова, поступки, форма реагирования, реплики, смена настроений и т. д.— должны быть только естественным проявлением определенной сущности характера, которому ничего не должно противоречить, даже самый неестественный, по первому взгляду, факт».

Говоря о развитии характера, Фурманов особое внимание уделяет психологическому анализу. Психологический рисунок образа представляется ему особенно важным.

«Действующие лица должны быть нужны по ходу действия; должны быть актуальны и все время находиться в психологическом движении. Никогда не должны быть мертвы и очень редко эпизодичны: ценнее, когда они участвуют на протяжении всего действия, почти до конца».

«Следить за точностью в обрисовке внешних проявлений психологического состояния (движение рук, головы, побледнение, покраснение, физическое реагирование и т. д.)».

«Все время учитывать изменения (главным образом психологические), которые происходят во взаимоотношениях между действующими лицами благодаря столкновениям».

«У каждого возраста своя типичная психология, склад ума, объем и характер интересов, форма выявления чувств и т. д. (уклонение от типа — по индивидуальности)».

Большое внимание уделяет Фурманов динамике развития характера. Он говорит о том, что действующее лицо всегда надо иметь в виду как единицу динамическую. «Каждая черта характера,— говорит Фурманов,— должна быть изображена наиболее выпукло, так сказать конденсированно, в одном месте, а в других — лишь оттеняться... Весь характер сразу не раскрывать, а только по частям и намекам».

Немало места в своих высказываниях уделяет Фурманов и вопросу об общей композиции произведения, о движении темы в целом.

«Тема должна быть полна интересных коллизий, избегая воспроизведения известного заранее. Допустимы неожиданности, но не часто, чтобы не сбиться на уголовщину, на авантюризм, сенсационность, филигранное пустяковство».

Фурманов требует показа героя в действии, а не в риторических отступлениях, не в рассказе о нем. Он говорит о том, что описания лиц должны быть коротки, «скорее вводить их в действие, главным образом в поступки, а не в рассуждения о чужих делах».

Особый интерес в высказываниях Фурманова, как писателя, работавшего в известной мере над исторической тематикой, представляют его взгляды на характер введения в повествование исторического, фактографического материала. Фурманова упрекали в фактографии. Между тем сам Фурманов, признавая огромное значение конкретно-исторического факта, никогда не считал его доминирующим в художественном произведении. Фурманов писал о том, что чрезвычайно полезно в основу положить факт действительной жизни, сведя до минимума выдумку, вымысел. Он писал о том, что необходимо вводить памятные особенности эпохи для полноты ее очерка (открытия, важные события в разных областях науки и т. д.), но в то же время требовал от художника собственной трактовки события, художественности формы изложения, говорил о том, что абсолютно недопустимо «нырять случайно, от факта к другому».

Немалое внимание уделял Фурманов и проблеме языка. С большим интересом относился он к новым словообразованиям, к новым языковым изменениям. Необходима работа над совершенствованием художественного слова, писал Фурманов, «усиленная и плодотворная работа над его обновлением, оживлением, мастерским объединением его с другими — и старыми и новыми словами». И в то же время Фурманов резко отрицательно относился к формалистическим трюкачествам в языке, к языку как заумному, так и псевдонародному.

«С чрезвычайной тщательностью,— пишет он,— отделывать характерные диалоги, где ни одного слова не должно быть лишнего».

В одном из своих писем начинающему писателю, довольно сурово проанализировав язык его повести, Фурманов пишет: «Вы ошибочно взяли псевдонародный язык, выдавая его за подлинный рабочий: «чаво», «ведметь», «када», «тада» и т. д.— вовсе не являются типичной рабочей речью... Отдельные рабочие, конечно, могли говорить и так, но нельзя этого обобщать и распространять на всех рабочих как правило. Это неверно, а потому и художественно фальшиво».

Уже в ранних своих высказываниях о языке Фурманов близок к Горькому, борется против жаргонизмов и вульгаризмов, за чистоту языка.

Отдельные замечания, взятые нами из дневников, речей, высказываний, писем Фурманова, составляют законченную эстетическую программу, не теряющую и в наши дни боевого своего значения.

Фурманов-теоретик, как и Фурманов-практик, стоял у самых истоков литературы социалистического реализма.

4

НА ЛИТЕРАТУРНЫХ БАРРИКАДАХ

Любимым романом Фурманова был «Железный поток». Фурманов прочел этот роман, как только он был опубликован весной 1924 года в литературно-художественном сборнике «Недра». Роман прочел он залпом. Уже глубокой ночью разбудил меня телефонный звонок Митяя:

— Серафимовича читал?

— Что именно? И почему тебя это интересует именно ночью?

— Эх ты... О «Железном потоке» говорю.

— Не читал. Слышал отрывки. На квартире старика.

— Завтра приходи. Возьмешь у меня «Недра», узнаешь, что такое настоящая книга... Ну и старик! Поехать бы к нему сейчас, расцеловать. Вот как писать нужно.

На следующий день, вручая мне «Недра», Фурманов долго и вдохновенно говорил о достоинствах «Железного потока»:

— Ты посмотри только, как изображен Ковтюх. Куда мне с «Красным десантом». Учиться надо. Всем нам учиться.

Фурманов написал первую рецензию о «Железном потоке» еще до выхода романа в отдельном издании.

«Центр сборника («Недра», кн. 4.—*А. И.*) — десятилистовая повесть Серафимовича «Железный поток». Это произведение следует отнести к тем, которыми будет гордиться пролетарская литература. Технически здесь обнаружено большое мастерство и в использовании материала сказалось серьезное, большое умение.

Сюжетом повести послужил легендарный поход Таманской армии осенью 1918 года под начальством Ковтюха («Кожух» по повести) по Черноморскому побережью, с Таманского полуострова — берегом, горами, через Туапсе, на Армавир.

Автор врезает в память эту героическую эпоху, особенно же тип самого Ковтюха — молчаливого, не тратящего слов и делающего молча, со стальной решимостью свое почти непосильное дело. Армия спасена после тяжких испытаний — она соединилась со своими. Но пока она идет и страдает, с нею страдаете и вы.

Рассыпанные по повести эпизоды (с безногим на шоссе, с ребенком, погибшим от снаряда, с граммофоном и т. д.) чрезвычайно выигрышно впаяны в свое место, усугубляют то впечатление, которое дает автор изложением основного хода развертывающихся событий.

Язык повести, за немногими ляпсусами, подлинный язык красных частей 18-19 годов. Ни в поступках, ни в диалогах нет фальши: автор чуток на ма-

лейшую неловкость. Внимание поглощается всецело, читается повесть как героическая эпопея. Изданную отдельной книжкой, ее надо широчайше распространить по Красной Армии».

Большую статью посвящает Фурманов всему творчеству Серафимовича. Он пишет о том, что Серафимович необычайно ярко сумел показать массы, сумел «распутать сложный и спутанный клубок жизни». Фурманова привлекают цельность Серафимовича, его вера в силу пролетариата. «Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда, ни единого раза не сошел с боевого пути; никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе...»

Именно так, именно этими словами можно сказать и о самом авторе приведенных строк.

Он был настоящим другом. Вряд ли был среди писателей хоть один, не уважавший этого прямого, искреннего, задушевного человека. Даже среди противников. Он обладал какой-то особой, исключительной способностью подходить к людям. Он работал редактором Госиздата, а потом инструктором по литературе в Центральном Комитете партии. Всегда твердый, решительный, принципиальный, строгий к себе и к другим и в то же время удивительно милый и чуткий товарищ, он быстро занял руководящее положение в пролетарской литературе. Вскоре ни один вопрос у нас не решался без Фурманова. От всех он требовал максимальной аккуратности и четкости, сурово обрушивался на малейшие проявления расхлябанности и богемы.

Однажды, после неоднократных нареканий, он дал нам прекрасный урок.

Заседание правления МАПП было назначено на пять часов.

Мы, как водится, начали собираться к шести. Пришли и остановились в дверях, изумленно прислушиваясь к фурмановским словам:

— Итак, переходим к третьему вопросу. Садитесь, товарищи, заседание продолжаем.

В комнате находились только Фурманов и технический секретарь Л. И. Коган.

Как мы узнали потом, Фурманов начал заседание ровно в пять, в одиночестве.

— Надо уважать время товарищей,—сказал он нам в конце заседания.

Больше мы не опаздывали.

Заседания под руководством Фурманова проходили как-то особенно энергично. Только во время речей не согласный с чем-нибудь Фурманов нет-нет да и вставит ядовитую, колкую реплику. Иногда он вызывал нас к себе в Госиздат. Там Дмитрий Андреевич сидел за огромным столом, заваленным рукописями; надевал он очки и становился как-то старше и добродушней. На скамейке в коридоре Госиздата не раз выслушивали мы ясные, дельные, четкие мнения Фурманова по всевозможным вопросам. Всегда прямой, честный, открытый, он и в литературе был доблестным комиссаром Чапаевской дивизии. Потому так резко и решительно восстал Фурманов против сектантской политики, которую проводили в Ассоциации пролетарских писателей сначала Родов и Лелевич, а потом Авербах. Много раз, и на той же скамейке в Госиздате и на квартире Митяя в Нащокинском переулке, обсуждали мы план борьбы против двурушников и политиканов в литературном движении. А когда Фурманов клеймил кого-нибудь, он не жалел слов, и, бывало, на фракции МАПП он не щадил своих противников.

Собранность, четкость отличали Фурманова и в личном быту. Когда Фурманов был поглощен творческой работой над новой книгой, он, очень общительный и гостеприимный, сводил до минимума встречи с друзьями. (Не надо забывать о том, что много часов в обычные дни отнимала у него служебная и общественная работа.) На дверях его квартиры появлялось объявление, написанное не без юмора, но звучащее для нас как закон:

Друзьям!

1. По воскресеньям ко мне прошу не ходить, я очень занят:

Не мешайте работать.

2. Приходите не чаще 2-х раз в месяц: 1. Между первым и пятым числом. 2. Между 15—20.

3. Только от 5-ти до 7-ми.

Примечание. В экстренных случаях — особая статья: тут можно в любой час.

Но как же умел он веселиться!.. Порою после тяжелого рабочего дня, до краев наполненного и творчеством и борьбой, собирались мы в его маленькой квартире, и он запевал любимые чапаевские песни. «Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!» — эти фурмановские слова органически связаны со всем обликом этого человека.

Он любил литературные встречи, был резким противником сектантства в литературе. Его привязанности были очень разнообразны. Он никогда не льстил никому из писателей, умел одной фразой подчеркнуть основные ошибки того или иного произведения. Он любил литературу и никогда не был конъюнктурщиком. Жадно и напряженно всматривался в творчество самых разнообразных писателей. В те двадцатые годы, когда были сильны еще осужденные Лениным пролеткультовские тенденции, когда многие руководители МАПП и ВАПП свысока относились к творчеству так называемых «попутчиков», не было среди нас более яростного врага сектантства, чем Фурманов. Он высоко ценил Александра Серафимовича, встречался с Николаем Никитиным и Алексеем Толстым, с Всеволодом Ивановым, Константином Фединым.

Он внимательно следил за всеми новинками советской литературы. Каждую книгу своего современника читал с карандашом. Сразу определял свое отношение к ней, делал пометки на полях, записи в дневнике, отмечал, что дает ему эта книга и в познавательном и в творческом плане.

Всеволод Иванов сразу полюбился ему, как впоследствии и Бабель. Фурманов записал об Иванове в дневнике:

«Нахохлившись, сидел за столом и, когда давал руку,— привстал чуть-чуть на стуле — это получилось немножко наивно, но очень-очень мило, сразу показало нежную его нутровину. Глаза хорошие, добрые, умные, а главное — перестрадавшие. Говорит очень мало, видимо, неохотно и, видимо, всегда так. Он мне сразу очень люб. Так люб, что я принял его в глубь сердца, как немногих. Так у меня бывает редко».

Как прекрасно передают эти строки и облик Всеволода Иванова и внутренний облик самого Фурманова!

Он издавна, еще со времен «Красного воина», дружил с Леонидом Леоновым. Как всегда, в специальной записи Фурманов не для печати, а для себя отмечает основные особенности творчества Леонова, разнообразного его дарования. Что отвергнуть, чему поучиться.

С большим пристальным вниманием и симпатией следил Фурманов за развитием творчества, за политической борьбой Владимира Маяковского и высоко ценил поэзию Сергея Есенина, хорошо понимал все достоинства и недостатки ее.

Незадолго до трагической своей гибели Есенин, хмельной, пришел в Госиздат, вынул из бокового кармана сверток листочков — поэма, как оказалось потом, предсмертная. Его окружили Фурманов, Евдокимов, Тарасов-Родионов, сотрудники Госиздата.

— Мы жадно глотали,— вспоминал потом Фурманов,— ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри. А Сережа читал. Голос у него знаете какой — осипло-хриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался тогда, и голос крепчал, яснел, он читал, Сережа, хорошо. В читке его, в собственной, в есенинской, стихи выигрывали. Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами... ни успе-

хами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявления внимания к себе, когда был трезв. Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых, голубых глаз. И если улыбался Сережа, тогда лицо становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.

Фурманов встречался с Есениным часто. Он рассказывал, что Есенин не любил теоретических разговоров, избегал их, чуть стыдился, потому что очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной раз он вступал в спор по какому-либо большому политическому вопросу, тогда лицо его делалось напряженным, неестественным. Есенин хмурил лоб, глазами старался «навести строгость», руками раскидывал в расчете на убедительность; тон его голоса «гортанился», строжал.

— Я в такие минуты,— рассказывал Фурманов,— смотрел на него, как на малютку годов семи-восьми, высказывающего свое мнение... Он пыжился, тужился, потел — доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти его, я начинал разговор о ямбах... Преображался, как святой перед пуском в рай, не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза... голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда — и без гортанного клекота — Сережа говорил о любимом: о стихах.

Он очень не любил, Есенин, когда его поучали вапповские вожди — Вардин или Лелевич. Но вот к Фурманову он приходил всегда за самыми разными советами и не стыдился показать ему свою политическую неосведомленность.

Однажды по почину Фурманова мы поехали в гости к Тарасову-Родионову, который имел дачу в Малаховке и считался среди нас крупным собственником. Среди гостей были Фурманов, Никифоров, Березовский, Берзина, Артем Веселый. В дороге смеялись, что пригласивший нас Тарасов-Родионов, как генерал (он носил два ромба), может забыть о своем приглашении и повторить трюк героя гоголевской «Коляски».

К счастью, этого не случилось. Нас прекрасно приняли, накормили и напоили.

...Есенин начал читать стихи. Он не ломался, и упрашивать его не приходилось. Доходило, что называется, до сердца. Фурманов обнял его и расцеловал.

Разожгли костер. Купались в пруду. Лучше всех плавал Есенин, гибкий и белый, как молодая березка.

А потом опять Есенин читал стихи. До самой зари...

Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет...

Фурманов сидел рядом тихий, задумчивый, грустный. И я слышал, как он повторял про себя последние слова: «Это к завтраму все заживет».

Разгульная жизнь Есенина огорчала Фурманова. Он высоко ценил его талант и всегда противопоставлял его кривлянию имажинистов, в частности Мариенгофа, пьесу которого «Заговор дураков» он както слышал в «Стойле Пегаса» (поэтическое кафе, обозванное Фурмановым «Стойлом буржуазных сынков».— *А. И.*) и которую разругал последними словами.

Он пытался решительно и со всем присущим ему тактом критиковать Есенина, помочь ему... Но Есенин, высоко ценивший дружеское отношение к нему Фурманова, всегда отшучивался, и настоящего, большого разговора на эту тему у них не получалось.

Смерть Есенина Фурманов воспринял очень тяжело. Мы встретились в тот день, когда появилось сообщение о самоубийстве. Фурманов сгорбившись сидел за письменным столом и перелистывал томик Есенина. Кажется, это был сигнальный экземпляр.

Увидев меня, он снял очки и, точно вспоминая ту ночь над прудом, а может быть, какой-нибудь другой свой разговор с Есениным, сказал не то мне, не то самому себе:

Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет...

Помолчал...

— А не зажило ведь... Вот беда... Не уберегли Сережу. Не зажило...

И мне показалось в тот день, что он не просто жалеет о смерти большого поэта, стихи которого так любил. Он считал и себя в какой-то мере ответственным за эту смерть...

А в дневник свой он записал:

«Большое и дорогое мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант этот Есенин, вся эта гамма его простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами».

В каждом новом произведении советских писателей Фурманов находил то, что помогало его творчеству, что развивало реалистические традиции советской литературы. Он радовался каждому успеху нашей литературы, взволнованно говорил об этом успехе и писал о нем.

Интересовал его своеобразный талант Ларисы Рейснер, женщины-комиссара. Весь облик этой отважной и обаятельной женщины очень привлекал Фурманова.

Лариса Рейснер бывала у нас на собраниях МАПП. Фурманов часто беседовал с ней. И трудно было оторвать взгляд от этих двух, таких красивых и чем-то очень похожих друг на друга людей.

С особым интересом прочитал он первые рассказы Лидии Сейфуллиной, которые сразу обратили на себя внимание и писателей и читателей. Как всегда, сделал для себя выводы о ее творчестве:

«Дает прогрессивную деревню.

Бодрость, радость, вера.

Среда, ей наиболее знакомая,— крестьянство.

Эпоха — 17-й год излюбленный, вообще начало революции.

Стихийная ненависть к кулаку, к эксплуататору.

Остатки народничества.

Сгущение отрицательного («Инструктор «красного молодежа»).

Понимание детской психологии.

Глумленья нет, есть товарищеская ирония.

Строительство соввласти писать пока не умеет.

Реалистическая манера — по Толстому.

Сочность языка.

Наблюдательность.

Вопросы религии в ее творчестве».

С особым вниманием относился он к Бабелю. Книги его перечитывал не раз. Творческая направленность Фурманова была иной, чем у Бабеля, и со многим у Бабеля он не соглашался, но он всегда хотел овладеть секретами бабелевского мастерства. При встрече с земляком Бабеля Семеном Кирсановым он долго расспрашивал его о Бабеле, требовал каких-то очень конкретных деталей жизни и творчества полюбившегося ему писателя. Потом он познакомился с самим Бабелем и подружился с ним.

С первой встречи они стали испытывать симпатию друг к другу. Бабель стал часто бывать у Фурманова. Разговоры и споры продолжались иногда всю ночь.

Бабель высоко оценивал «Чапаева», но нелицеприятно излагал Фурманову и свои критические замечания.

— Это золотые россыпи,— говорил он,— «Чапаев» у меня — настольная книга. Я искренне считаю, что из гражданской войны ничего подобного еще не было... И нет... Я сознаюсь откровенно — выхватываю, черпаю из вашего «Чапаева» самым безжалостным образом. Вы сделали, можно сказать, литературную глупость: открыли свою сокровищницу всем, кому охота, сказали щедро: бери! Это роскошество. Так нельзя. Вы не бережете драгоценное... Разница между моей «Конармией» и вашим «Чапаевым» та, что «Чапаев» — первая корректура, а «Конармия» — вторая или третья. У вас не хватило терпения поработать, и это заметно на книге — многие места во-

все сырые, необработанные. И зло берет, когда их видишь наряду с блестящими страницами, написанными неподражаемо... Вам надо медленней работать! И потом... еще одно запомните: не объясняйте! Пожалуйста, не надо никаких объяснений — покажите, а там читатель сам разберется. Но книга ваша исключительная. Я по ней учусь непрестанно.

Бабель не раз рассказывал Фурманову о своих творческих планах, о своем замысле написать большую книгу «Чека».

Интересные разговоры велись между ними о поисках новой формы.

Бабель говорил о своих творческих муках: старая форма не удовлетворяет, а новая не удается.

— Пишу-пишу, рву-рву... Беда, просто измучился. Так это я работаю. Много читаю...в Госкино, на фабрике много занят (Он написал сценарий.— *А. И.*), словом, не кисель... общественный работник, ха-ха!.. Но — мучительно дается мне этот перелом. Думаю — бросить все, на Тибет куда-нибудь уехать или красноармейцем в полк, писарем ли в контору... Оторваться надо бы...

Фурманов очень умел располагать к откровенности, умел успокаивать. Ему верили, ощущали какую-то теплую силу и весомость его слов, чувствовали, что он ничего не говорит попусту, на ветер.

Он умел найти нужные, успокаивающие, без сладенького утешения, бодрящие слова и для Бабеля. Он это сознавал сам. Он записал как-то в свой дневник:

«Я чувствую, как благотворно, успокаивающе, бодряще действуют на него мои спокойные слова. Он любит приходить, говорить со мной. Мне любо с ним говорить — парень занятный».

И это писал Фурманов в горячие августовские дни 1925 года, дни напряженной борьбы, дни, когда сам он волновался, нервничал, ожесточенно отбивался от противников.

Кстати говоря, Бабель тоже принимал участие в борьбе за Фурманова. Он резко спорил с Ворон-

ским, со всеми теми, кто считал творчество Фурманова «нехудожественным», только «мемуарным».

Это глубокое понимание Бабелем, большим мастером прозы, истинной высокой художественности фурмановского «Чапаева» весьма показательно.

Однажды мне пришлось присутствовать при их разговоре. Незадолго до этого я написал в журнале «Книгоноша» небольшую рецензию на рассказы Бабеля, и, спутав имя Бабеля, расшифровывая инициал И., назвал его Иваном. Дмитрий Андреевич познакомил нас. Мы долго посмеивались над моим промахом. Фурманов смеялся, как всегда, раскатисто, заразительно, Бабель — короткими залпами, а я... смущенно улыбался. В тот день Бабель говорил Фурманову о планах своего романа «Чека».

Я не помню точных его определений. Но Митяй, как всегда, записал их в своем дневнике.

— Не знаю,— говорил Бабель,— справлюсь ли,— очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди... И я опасаюсь, не получилось бы приторно, а другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры,— это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь...

И опять разговор зашел о «Чапаеве», о сочетании реальной исторической действительности с художественным вымыслом и обобщением, о разнице между «Чапаевым» и «Конармией».

Рассказывал Бабель, и довольно смешно рассказывал, о первой своей встрече с Фурмановым в служебной обстановке. Бабель пришел в Госиздат просить отсрочки сдачи «Конармии» в производство.

Сам Фурманов так потом зарисовал его портрет:

«5 часов. Все ушли. Сижу один, работаю. Входит в купеческой основательной шубе, собачьей шапке, распахнут, а там: серая толстовка, навыпуск брюки... Чистое, нежное с морозцу лицо, чистый лоб, волоски назад черные, глаза острые, спокойные, как две капли растопленной смолы, посверкивают из-под очков... Широкие круглые стекла американки. Поздоровались. Он сел — и сразу к делу:

— Вы здесь заведуете современной литературой... Я знаю... Но хотелось бы вам еще сейчас кой-что сказать, просто как товарищу... Вне должностей...

— Конечно, так и надо.

— Я пропустил все сроки с «Конармией», уж десять раз надувал. Теперь просил бы только об одном: продлить мне снова срок.

— Продлить-то, что не продлить,— говорю,— можно. Только все-таки давайте конкретно, поставим перед собой число, и баста.

— Пятнадцатое января.

— Идет».

Так вот и состоялась первая встреча автора «Конармии» с автором «Чапаева», двух столь разных людей, сразу почувствовавших необходимость друг в друге.

Бабель в ту пору жил в Троице-Сергиевом посаде. Рассказывал о том, что нет отбою от разных ходоков-заказчиков, где-то понаслышанных о нем.

— Я мог бы буквально десятки червонцев зарабатывать ежедневно. Но креплюсь. Несмотря на то, что сижу без денег. Я много мучаюсь. Очень, очень трудно пишу. Думаю-думаю, напишу, перепишу, а потом почти готовое,— рву: недоволен. Изумляются мне и товарищи — так из них никто не пишет. Я туго пишу. И, верно, я человек всего двухтрех книжек! Больше едва ли сумею и успею. А писать я начал ведь эва когда: в 1916-м. И помню, баловался, так себе, а потом пришел в «Летопись», как сейчас помню, во вторник, выходит Горький, даю ему материал. «Когда зайти?» — «В пятницу»,— говорит. Это в «Летопись»-то! Ну, захожу в пятницу — хорошо говорил он со мной, часа полтора. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу. «Пишите»,— говорит. Я и давай, да столько насшибал...

Он мне снова. «Иди-ка,— говорит,— в люди», то есть жизнь узнавать. Я и пошел. С тех пор многое узнал. А особенно в годы революции: тут я тысячу шестьсот постов и должностей переменил, кем

только не был: и переплетчиком, наборщиком, чернорабочим, редактором фактическим, бойцом рядовым у Буденного в эскадроне... Что я видел у Буденного, то и дал... Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной Армии, дам, если сумею, дальше.

...А я ведь как вырос: в условиях тончайшей культуры, у француза-учителя так научился французскому языку, что еще в отрочестве знал превосходно классическую французскую литературу. Дед мой — раввин-расстрига, умнейший, честнейший человек, атеист серьезный и глубокий. Кой-что он и нам передал, внучатам. Мой характер — неудержим, особенно раньше, годов восемнадцати — двадцати, хуже Артема был (Артема Веселого.— *А. И.*). А теперь — мыслью, волей его скручиваю. Работа, главное теперь мне — литературная работа...

Как мы должны быть благодарны Фурманову за то, что он записал зтот замечательный и знаменательный разговор... А потом речь пошла на самые различные темы. Бабель спрашивал совета, стоит ли вставлять в «Конармию» образы политработников, и жалел о том, что он не повстречался с Фурмановым на фронте. Фурманов просил подробнее рассказать о конармейцах, о том, как достигает Бабель такого предельного лаконизма, об оттенках юмора на его творческой палитре, и жаловался на то, что юмор не удается ему самому, а Бабель возражал и приводил запомнившиеся ему эпизоды из «Чапаева». И еще запомнилось, как резко критиковал опять Бабель Воронского, в частности за недооценку творчества Фурманова.

«И за что он любит Пильняка,— возмущался Бабель,— за что и что любит, вот не понимаю».

Кстати, Пильняка не любил и Фурманов.

Как необычайно точно и всесторонне дал он характеристику Пильняка в своих коротких, конспективных заметках, а ведь нельзя забывать, что зти заметки писались в те дни, когда «звезда» Пильняка

стояла едва ли не в зените литературного небосклона, когда многие видные, так называемые «ведущие» критики пели ему дифирамбы и представляли его открывателем советской литературы. Ожесточенный спор с Пильняком вела только небольшая группа пролетарских писателей. Борьба с Пильняком была борьбой, связанной с основными программными манифестами пролетарской литературы. Фурманов никогда не был сектантом, но он не был маниловцем и либералом. Он боролся за партийность советской литературы и всегда правильно определял направление главного удара. Запись его о Пильняке имеет большое принципиальное значение в истории литературной борьбы двадцатых годов.

«Б. Пильняк

Хаотичность, растрепанность.

Цинизм и сладострастность.

Упоение слепой стихией...

Пильняк пишет: до РКП мне дела нет, мне дорога только Россия (Совещание в ЦК).

Извечные звериные инстинкты.

Физиологичность.

Все скорбно.

Любовь, женщина у Пильняка.

Революция пахнет половыми органами («Иван да Марья»).

Тяготение к первобытной, неусложненной жизни.

Революцию понял как бунтарство; Октябрь увел Русь к XVII веку.

Никакого Интернационала нет, а есть одна национальная мужицкая революция, изгнавшая все наносное.

Против города, за деревню; против власти индустрии, чугунки, интеллигенции etc...

Пильняк не понимает новой деревни, ее новых интересов, передового крестьянина.

Ярко пробудившийся национализм Пильняка, не тоска «по Руси XVII века», а лозунг «теперь Русь — настоящая!», но много в нем и славянофильства.

У Пильняка нет цельности.

«Голый год» — окуровская провинция 1919 г., развал интеллигенции...

Фабулы у Пильняка обычно нет.

Пишет экономно.

Он начал «подкармливаться» в Доме печати.

О нем звонили больше, чем о других.

Влияние на него Белого.

Пильняка «дочитывают до конца» потому, что ждут оригинальной развязки, а видят — конгломерат.

Не плохи его «Английские рассказы», но борьбы он там не понял...

Особо горазд он изображать психологию людей, ущемленных революцией (Ордынины и др.) — отчасти поэтому и выпиранье сексуальности, ибо этой среде она особо свойственна».

После первой встречи с Пильняком Фурманов записал в дневнике: «Рыжеватый, тощий и некрасивый. Подслеповат и потому в очках,— а фамилия-то,— говорит,— моя настоящая не Пильняк, а... Вогау.

И он как-то опустился на пол передо мной, лишь сказал эти слова. Был он весь в кожаном — купил где-то за границей... Впечатление — растрепанного, мочального куля...»

В короткой, сжатой характеристике умел Фурманов выразить суть человека. А когда я однажды, уже значительно позже, спросил Пильняка о его встрече с Фурмановым, он недружелюбно сказал:

— А что могло быть общего между нами? Я писатель, он комиссар.

Фурманов и Бабель сразу поняли и приняли друг друга. Фурманов и Пильняк сразу поняли и не приняли друг друга. И в этом была какая-то настоящая житейская правда.

О критических замечаниях Бабеля Фурманов вспоминал не раз. 1 января 1926 года в своем дневнике он писал (это была одна из последних записей

Фурманова): «Помню, Бабель как-то говорил мне: «Вся разница моих (бабелевских) очерков и твоего «Чапаева» в том, что «Чапаев» — это первая корректура, а мои очерки — четвертая. (Кстати сказать, скромный, как всегда, Фурманов нигде не отметил ошибочной субъективности этого бабелевского определения.— *А. И.*) Эти слова Исаака не выпадали из моего сознания, из памяти. Может быть, именно они отчасти и толкнули на то, чтобы я кавказские очерки — материал по существу третьестепенный — обрабатывал с такой тщательностью».

Фурманов не обижался на справедливую критику, всегда использовал ее для улучшения своих произведений. В этом отношении особенно интересно его письмо к А. М. Горькому в ответ на замечания Алексея Максимовича по поводу «Чапаева» и «Мятежа».

Письмо Горького глубоко взволновало Дмитрия Андреевича. Он долго с ним не расставался, по многу раз перечитывал. Написав ответ Горькому, он собрал близких друзей, прочитал опять и письмо, и ответ, советовался по поводу каждого слова. Хотя, впрочем (как однажды признался он мне и Анне Никитичне), сам все обдумал, окончательно решил и не прибавил и не исключил бы ни одного слова.

«Все указания,— писал Фурманов,— и сам я принимаю, разделяю, знаю и чувствую, что верные они указания... Вы говорите о том, что надо «беспощадно рвать, жечь рукописи». До этого дойти — большая, трудная дорога. Я как будто начинаю подходить, начинаю именно так беспощадно относиться к своим рукописям — это единственный путь к мастерству. И все-таки не всегда хватает духу: видно, болезнь роста... Но у Вас в письме, Алексей Максимович, много и бодрых строк; эти строки мне как живая вода».

Горький, критикуя книги Фурманова, высоко ценил его. Алексей Максимович писал о том, как много видел, как хорошо чувствовал Фурманов, какой у него был живой ум. Фурманов не только творчески воспринимал критику Горького. В своей литера-

турно-воспитательной работе, в своих взаимоотношениях с писателями он старался работать методами Горького. Он умел резко и нелицеприятно критиковать, он ненавидел графоманов, и в то же время он умел по-настоящему ободрить, увидеть основное и ведущее, определяющее путь того или иного писателя, и большого и малого. И поэтому в литературной работе начала двадцатых годов Фурманов играл исключительно большую роль. Эту роль одинаково высоко ценили и Серафимович, и Сейфуллина, и Маяковский, и Бабель.

С особой симпатией относился Фурманов к писателям, утверждавшим реалистическую линию в литературе.

Говоря о художественных приемах Серафимовича, Фурманов подчеркивает, что автор «Железного потока» показал армию в ее формировании, в динамике, в росте, изобразил правдиво, не лакируя. Особенно близко Фурманову то, что армия показана у Серафимовича без тени ложного пафоса, без всякой фальши.

«Серафимовичу не нужно быть тенденциозным,— пишет Фурманов,— ему достаточно быть самим собой. Надо только правдиво рассказать о том, за что он взялся».

Художественные приемы Серафимовича близки автору «Чапаева». Он подчеркивает, что даже темные стороны жизни коллектива Серафимович показывает так, что оттеняется основное, героическое.

Разбирая роман «Железный поток», Фурманов высказывает свои основные эстетические положения. «Художественная правда,— говорит Фурманов,— заключается в том, чтобы без утайки рассказывать *все* необходимое, но рассказывать *правильно*, то есть под определенным углом зрения».

Искусство, развивает Фурманов свою мысль, должно быть тенденциозным, но в высоком смысле этого слова, без авторского нажима, без того, чтобы все время за каждым героем чувствовался указую-

щий перст автора. Необходимо знать и чувствовать время, обстановку, среду. Необходима соразмерность частей художественного произведения, необходим правильный показ коллектива, массы и ее вожаков.

С не меньшей страстностью пишет Фурманов о книге Л. Сейфуллиной «Виринея». Фурманов резко выступал против тех догматиков и сектантов из ВАПП, которые, выдвигая часто бездарных писателей из конъюнктурных соображений, в то же время огульно охаивали всех так называемых «попутчиков», крупных советских писателей. Фурманов во весь голос говорил о внимании к основному ядру советских писателей. Отношение его к Сейфуллиной, Всеволоду Иванову, Леонову — отношение человека, который понимал литературу и по-настоящему любил ее.

Образ Виринеи Фурманов считал одним из интереснейших образов советской женщины. «У Виринеи,— писал он,— в каждом слове, в каждом поступке чувствуете вы подлинную силу, богатые, но дремлющие, неразвернутые способности. Это не просто забитая крестьянская женщина, удрученная и замученная невзгодами тяжелой и беспросветной жизни,— о нет, Виринею в дугу не согнешь. Как кряж крепкая — она отгрызается, отбивается, не поддается и, видно, не поддастся никому, скорее погибнет, а не поддастся».

Фурманов отмечает естественность и органичность всех речей и поступков Виринеи, когда плечо к плечу с Павлом Сусловым идет и она по пути борьбы. Он подчеркивает народность образа Виринеи. Сила Виринеи кажется ему сродни силе Чапаева. Это цельный, глубокий образ. С особым сочувствием говорит он о динамике развития образа Виринеи. «Из Вирки растет у нас на глазах и готовится настоящий борец — женщина беззаветная, мужественно-смелая, а в дальнейшем, верно, и вполне сознательная, передовая женщина нашей великой эпохи».

Мы смотрели вместе с Фурмановым и его женой постановку «Виринеи» в театре Вахтангова.

Пьеса произвела на Фурманова огромное впечатление. И в антрактах и после спектакля он горячо развивал перед нами мысли о реалистической силе образа Виринеи. Он говорил о лепке самого образа Виринеи, о том, как естественны и органически законны ее речи и поступки, о том, как показан образ Виринеи в росте, в движении, в постепенном развертывании ее волевых и духовных качеств.

И здесь он видел то ценное, что принимал в арсенал своей творческой учебы. Он мечтал написать пьесу, хотел инсценировать «Мятеж», глубоко интересовался проблемами драматургии. К сожалению, ему не суждено было увидеть «Мятеж» на сцене и исправить те большие недочеты, которые внес своей трактовкой отдельных типов «Мятежа» театр МГСПС.

Проблема идейности литературы занимает основное место в эстетических высказываниях Дмитрия Фурманова. В записи «Чапаев и счастье» (март 1923 года) он замечает: «*По своей* личной воле действовать и бороться нельзя: всегда будешь побежден... Теперь — эпоха борьбы, не отдыха. Вот лет через восемьдесят, когда везде будет советский строй, нечего и некого будет опасаться. Теперь — борьба. Борьба за это новое, свободное сообщество. Хочешь ли ты его или нет? Если хочешь, то не ограничивайся в хотении своем безответственными и ничему не обязывающими словами, а дело делай...»

Фурманов резко выступает против тех литераторов, кто хочет остаться в стороне, кто хочет пройти по жизни «особняком».

Немало записей в его дневнике посвящено литературе предоктябрьской, крупнейшим поэтам русского символизма, акмеизма, футуризма. Фурманов подчеркивает неоднородность символизма, специфику и особый путь каждого из больших поэтов-символистов к революции и в первые годы революции.

Приведем некоторые характеристики поэтов, данные Фурмановым:

«Брюсов

Ученый — археолог, знаток.

Мастер чеканных форм и образов.

Верлен открыл ему новый мир».

С Брюсовым Фурманов был лично знаком, уважал и ценил его. Брюсов преподавал теорию «поэтической композиции» в университете, в частности и на курсе, где учились мы с Фурмановым, и после каждой лекции Митяй делился со мной впечатлениями.

— Жаль, что не удалось послушать его раньше,— сказал он мне как-то,— может быть, не писал бы плохих стихов в юности. Вот ведь какой большой учености человек, и каких только перепутий не было у него в жизни и в поэзии, а пришел к нам, в нашу партию, и ведь искренне пришел, по влечению разума и сердца.

«Блок

Лирика Блока романтична, символична, мистична... Но под собой эта лирика имела интеллигенско-дворянскую культуру.

В сферу революции Блок вошел «Двенадцатью».

Блок принадлежит доктябрьской литературе.

Вторая революция (1917) дала ему ощущение пробуждения, смысла и цели.

Обрушившаяся революция заставила Блока выбирать, и он выбрал «за нее».

«12» — лебединая песня индивидуалистического искусства.

В «12-ти», даже сгустив краски, Блок приемлет революцию.

Музыкальность стиха.

Способность заражать настроением».

Нередко он читал стихи Блока своим друзьям. Особенно любил «Скифы» и «Соловьиный сад». Часто вспоминал четверостишие Блока:

Пусть говорят: забудь, поэт,
Вернись в красивые уюты...
Нет, лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта нет!... Покоя нет...

«Игорь Северянин

Родился 4/V 1887 в СПб.

Воспитался на Фофанове (отце), Лохвицкой, Бальмонте...

Поэт без идей и без культурности.

Преклонение перед эгоизмом.

Жизнь по формуле: «Веселись, а после нас — хоть потоп».

Новые словообразования.

Угар от будуарного аромата.

Бесспорная одаренность...

Ироническое отношение к жизни.

Самовлюбленность.

Дар перевоплощения.

Ритмы — новые, свои.

В стихах Северянина нет вкуса (мешает с хорошими стихами — дрянь). «Шантажистка» и т. п.

Войнопевчество — «шапками закидаем».

Нету у Северянина сильной мысли, презрительно относится к ученью, попросту недалек.

Не имеет понятия о законах словообразования.

Интимный будуарный лирик — ныне С. с белогвардейцами.

Его слава из ресторана «Вена»...»

Насколько лаконичны, остры и вместе с тем всеобъемлющи эти характеристики столь различных поэтов.

Часто в своих записях Фурманов противопоставляет символистам — писателей-реалистов, предшественников советской литературы.

Он всегда любил и ценил реализм в литературе. Реалистический показ действительности был близок Фурманову и у Куприна и у Бунина. И в то же время он прекрасно видел различия в их творчестве, видел то, что разделило двух писателей, не принявших Октябрьской революции и эмигрировавших за границу.

В статье «Завядший букет», посвященной проводимой Маяковским «чистке поэтов», язвительно кри-

тикуя всевозможные течения неоклассиков, неоромантиков, символистов, неоакмеистов, футуристов, имажинистов, экспрессионистов, презантистов, ничевоков и других, Фурманов пишет: «От литературных произведений мы привыкли ждать и добрых призывов и смелых дерзаний, ярких надежд, и веры, веры, веры в победу! Пусть душно и тесно было прежде; пусть живые образы Щедрина, Чернышевского, Успенского, Горького были одинокими (а еще более одинокими и гонимыми были песни пролетарских поэтов). А там была идея, чувство, стремление и глубокая вера».

Фурманов разъясняет свою мысль. Он требует от каждого значительного художественного произведения близости к жизни, высоких идей современности. «Речь идет,—пишет он,— не об утилитаризме в искусстве, не о приспособлении его к узкопрактическим целям — мы говорим лишь о необходимом соответствии искусства основным тенденциям жизни». А основной тенденцией эпохи Фурманов считал борьбу за коммунизм. Критикуя одного из представителей неоклассицизма, выпустившего произведение «Особняком», Фурманов с возмущением пишет: «Поэт, видите ли, идет сам по себе, не соприкасаясь с жизнью, не замечая ее, не чувствуя и не принимая. То, что совершилось в России, что бродит в целом мире, что является альфой и омегой не только российского, но и общечеловеческого прогресса,— борьба со старым миром его не занимает: он идет один, «особняком». В этом он видит свою поэтическую миссию, свое историческое оправдание. Здесь сказалось все: брезгливый индивидуализм проклятого старого мира, привычка играть в «величие», поразительная общественная неразвитость и тупость, филистерство и мещанство, не видящее дальше своего носа, и тоска, тоска по разбитому корыту».

Соглашаясь с Маяковским в его резких оценках всевозможных декадентских групп, Фурманов в другой своей записи, говоря об идейности поэзии, замечает: «Когда с этим критерием мы подходим к поэтам современности — многие остаются за бортом, поэ-

тами во всем объеме слова названы быть не могут: комнатная интимность Анны Ахматовой, мистические стихотворения Вячеслава Иванова и его эллинские мотивы — что они значат для суровой, железной нашей поры?»

«Достойно ли художника в эти трагические дни отойти от современности и погрузиться в пучину сторонних, далеких, чуждых вопросов? Можно ли и теперь воспевать «коринфские стрелы» — за счет целого вихря вопросов, кружащихся возле нас?»

«Оторванность от живой жизни, отчужденность старых школ от борьбы ведет их совершенно естественно туда же, куда и породившее их старое общество,— в могилу».

Насколько важно в советской литературе отразить современность, Фурманов говорит неоднократно.

Держать постоянно руку на пульсе народа! Эта одна из основных тем его речей и докладов, этому посвящены многие записи в его дневниках, это проходит красной нитью во многих его статьях и рецензиях.

Всевозможным декадентским группам Фурманов противопоставляет рождающееся социалистическое искусство. «Еще нетверды шаги нового боевого искусства,— пишет он,— но чувствуется уже в нем могучая сила, укрепляющая его на месте погибающих течений и школ».

Взгляды Фурманова на задачи искусства, его эстетические положения находят прекрасное выражение в его собственном творчестве. Идейность и большевистская правдивость его книг, умение поставить наиболее существенные проблемы современности придают особую жизненность его героям.

«Каждый порядочный художник,— пишет Фурманов,— непременно причастен к общегосударственной жизни, понимает ее, ею интересуется, следит за ней, даже часто активно в ней участвует своими собственными силами, знанием, опытом».

Второй большой книгой Фурманова был «Мятеж» (1925). Несомненно, «Чапаев» и «Мятеж» связаны одной идеей. «Чапаев» — это повесть о герое из народных низов, который идет к большевизму, идет к сознательной защите революции под влиянием партии, представителем которой был комиссар Клычков — комиссар Фурманов. «Мятеж» — это повесть о том, как партийная воля направляет на правильный путь несознательную массу, которую хотели использовать враги против революции, против пролетариата. Проблема роли большевиков, большевистского воспитания занимает ведущее место в той и в другой книге. Привлекая свои мемуары, свои записные книжки, Фурманов правдиво показал в ведущем образе повести «Мятеж» человека, являющегося прекрасным психологом, воспитателем масс. Особенно ярко раскрыто в «Мятеже» это сочетание большевистской решимости и непримиримости с большим тактом в подходе к массам.

«Мятеж»,— как писал Серафимович,— это кусок революционной борьбы — подлинный кусок, с мясом, с кровью, рассказанной просто, искренне, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно».

В «Мятеже» особенно ярко выявилось умение Фурманова наблюдать, находить яркие художественные детали, выделять основное из массы фактов, отбрасывая ненужное, второстепенное. В «Мятеже» ярко описано Семиречье, его степи и горы.

Фурманов изобразил многонациональное Семиречье во всей сложности классовых противоречий. Он показал, как большевистские руководители сумели, разоблачив вожаков мятежа, привлечь к себе массы, втянутые в мятеж классовыми врагами.

Это одна из немногих книг в нашей литературе, показавшая роль большевистского руководства в сложных условиях борьбы за революцию в Средней Азии.

Каждая глава книги, насыщенная большим драматическим содержанием и действием, изобилует глубокими мыслями автора о ходе событий, и эта

философичность книги не делает ее отвлеченной и риторичной. Правильно замечает Серафимович — в книге повсюду видна наша партия, которая «проявила удивительную приспособляемость, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих незыблемых коммунистических положений,—и этим победила...

Эта книга может многому научить».

Особенно интересны в книге размышления Фурманова о жизни, о борьбе, взаимоотношениях руководителя и массы. Образ члена Военного Совета Фурманова в повести «Мятеж» несомненно продолжает и развивает образ комиссара Клычкова.

Вот Фурманов должен выступить с речью перед толпой. Он должен понять эту толпу, чтобы овладеть ее мыслями и чувствами. Подробно описаны сложные раздумья Фурманова о психологии вожака и психологии массы. Это внутренний монолог огромной силы и художественной убедительности.

«...Знай, чем живет толпа, самые насущные знай у ней интересы. И о них говори. Всегда надо понимать того, с кем имеешь дело. И горе будет тебе, если, выйдя перед лицом мятежной, в страстях взволнованной толпы,— ты на пламенные протесты станешь говорить о чуждом, для них ненужном, не о главном, не о том, что взволновало. Говори о чем хочешь, обо всем, что считаешь важным, но так построй свои мысли, чтобы связаны были они с интересами толпы, чтобы внедрялись они в то насущное, чем клокочет она, бушует. Ты не на празднике, ты на поле брани,— и будь, как воин, вооружен до зубов. Знай хорошо противника. Знай: у толпы не одни застарелые нужды,— нет, узнай и то, чем жила она, толпа, за минуты до страстного взрыва, и пойми ее неумолчный рокот, выلови четкие коренные звуки, в них вслушайся, вдумайся, на них сосредоточься...

...А когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведано и все — безуспешно,— сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть

концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза.

Умереть по-собачьи, с визгом, трепетом и мольбами — вредно.

Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — и в мозгах и в сердце, не жалей, что много растратишь энергии,— это ведь твоя последняя мобилизация!! Умри хорошо...

Больше нечего сказать. Всё».

Через несколько дней после выхода в свет книги «Мятеж» Московская ассоциация пролетарских писателей проводила литературный вечер для работников аппарата Центрального Комитета партии. На этом вечере Александр Безыменский, Иосиф Уткин и я читали стихи. Дмитрий Фурманов — прозу. Обычно стихи воспринимаются слушателями лучше прозы. На этот раз случилось иначе.

Фурманов читал главу, из которой я привел вышеприведенные строки. Никто из сидящих в зале еще не успел прочесть «Мятеж». Я уже знаком был с этой главой по рукописи и слышал, как читал ее Дмитрий Андреевич на квартире Серафимовича. Однако и я был снова захвачен ее страстной силой, как и все сидящие в зале. А в зале сидели и старые большевики, участники трех революций, и совсем молодые люди, комсомольцы.

Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, слышится мне глубокий взволнованный грудной голос Митяя..

Когда Фурманов резко, отрывисто закончил: «Больше нечего сказать. Всё!..» — наступила тишина. Никто не хотел аплодисментами разрушить той тесной связи, которая создалась между автором и слушателями. А потом седая невысокая женщина в строгом черном костюме подошла к писателю и безмолвно обняла его. И только тогда взорвались рукоплескания.

Мы возвращались с вечера в полупустом трамвае. Всю дорогу молчали. Я искоса поглядывал на Фурманова. Полуприщуренные глаза его иногда широко, как-то удивленно раскрывались, вспыхивали. Может быть, картины прошлого вновь возникали перед ним... А может быть, он думал о недавно пережитых минутах, о седой женщине из Центрального Комитета. По резко очерченным губам его скользила мягкая улыбка. И мне казалось, что он счастлив.

После «Мятежа» Фурманов выпустил еще несколько книг новелл, очерков, статей. Он собирал материалы для двух больших романов — о гражданской войне и о писателях. У него были огромные творческие замыслы.

Новеллы Фурманова говорят о том обильном неисчерпаемом материале, который хранился в его записных книжках. Пожалуй, наиболее яркими являются рассказы, посвященные ивановским рабочим («Талка», «Как убили «Отца» и другие), и очерки, посвященные Фрунзе. Несомненна органическая связь этих рассказов с книгами «Чапаев» и «Мятеж».

В романе «Писатели» Фурманов собирался изобразить литературную жизнь двадцатых годов. Он думал сделать роман сюжетным, показать образы писателей, литкружковцев, рабкоров. По плану автора, отдельные главы книги должны были носить остро обличительный, памфлетный характер.

Одной из основных задач книги являлся показ роли партии в воспитании писательских кадров, в борьбе с чуждыми, враждебными настроениями в литературе.

Была уже продумана и общая композиция книги, продуманы планы отдельных глав, общие характеристики многих персонажей, основные конфликты и столкновения.

Центральный образ книги — писатель, участник гражданской войны Павел Лужский — в общем сю-

жетном плане противостоял враждебным партии литераторам — декадентам, халтурщикам.

Персонажи романа по замыслу автора были очень разнообразны. Дмитрий Андреевич каждого из них хотел изобразить в самых различных опосредствованиях, не делая из него схемы, не пряча его лица под неподвижной картонной маской.

Убийственную характеристику дает Фурманов одному из «модных» в то время драматургов:

«Многообразен ли, многосторонен ли автор? Нет. Даже наоборот. Лишь полное отсутствие литературного чутья позволяет ему писать на самые разнообразные темы. Ведь для многообразия нужно обладать огромной эрудицией, знаниями, а у автора как раз этого нет.

Драмы его — не драмы, а пустяки. Там ни одного типа, ни одного характера. Язык действующих лиц — это язык автора... Он берется за многое и ничего путного не делает. Разговоры — все на один лад. Патетические тирады против буржуев тошны. Пьесы печет он, как блины на масленице...»

Резко обрушивался Фурманов на верхоглядов, всезнаек, людей, несерьезно относящихся к своему труду, писателей-скороспелок.

Остро ненавидел он всевозможные проявления политиканства, зазнайства, богемщины в литературной среде. В набросках и материалах к роману «Писатели» мы находим ряд эпизодов, в которых разрабатывается эта тема.

С не меньшей резкостью обрушивался Фурманов на организационную толчею, которой часто в кружках подменялась истинно творческая работа. Очень резко критиковал он скороспелые, необработанные произведения. Критика его была дружеская, но суровая.

«Писать надо,— говорил Фурманов,— долго, годами, пока не научишься писать хорошо. Кому нужна безграмотная брехня? Не торопитесь, друзья! Наш лозунг строже, чем где-либо, должен быть лишь один: «Лучше меньше, да лучше»... Я не знаю другой отрасли труда, производства, где бы так

просто, бездумно, безоглядочно и даже... цинично относились к продукту своего рукомесла: «Написал, сдал — и ладно!» Пишут всякую дребедень, кому что вздумается, пишут, не зная, не понимая, не чувствуя совсем, словом, вслепую. И нет другой такой области, где безответственная мазня процветала бы так махрово, как именно в области художественной литературы. Ну кто посмеет все-таки писать про какой-нибудь Сатурн, про Мадагаскар, про тарифную политику или что-либо вообще специальное — кто посмеет писать, *не зная вовсе ничего?* Редко. Бывает, но редко. А в художественном творчестве — да отчего же не взяться? Разве тут есть какие-нибудь каноны, правила, традиции, разве тут обязательны точные знания? Да ничего подобного. Наоборот, чем неожиданней (думают иные храбрецы), тем больше надежд на успех, на внимание. И дуют, кому что охота дуть...»

Портреты отдельных писателей, в особенности портреты отрицательные, в набросках к роману сделаны с большим мастерством. Вот описывает Фурманов образ поэта-проныры Ивана Колобова, поэта, который тычется по всем кружкам, нигде не работает, со всеми запанибрата, у всех клянчит денег. Вот рядом с ним портрет писательницы, которая старается на каждом заседании «втыкать, подтыкать, подпирать, просовывать, контрабандой проволакивать, прошибать сквозь глухую стену, подвешивать неприметно, науськивать, нашептывать, втирать и т. д.». В отрицательных портретах писателей много негодования, много истинной горечи.

Изображая окружающую его литературную среду со всеми ее отрицательными явлениями, бичуя ее, Фурманов в то же время с большой чуткостью относился к молодым начинающим писателям, оказывая им посильную помощь своими советами и указаниями. Он всегда умел отличить настоящее от фальшивого, он всегда искренне радовался каждому творческому ростку. Фурманов понимал, что воспитание молодого писателя — дело не легкое и не простое. Он понимал, как надо отбирать истинные мо-

лодые таланты. В своих замечаниях о работе с начинающими писателями Фурманов писал: «Писательский молодняк надо осторожно, строго, но и любовно отбирать: из тысяч единицы».

Он никогда не льстил молодому писателю. Он говорил: «Начинающего писателя с самого начала надо брать в шоры и не давать ему останавливаться в росте, тем паче не давать ему садиться на лавры — этого достигнуть можно, разумеется, только строжайше обоснованной критикой материала и предъявлением к автору требований предельных — по масштабу его дарования».

«Писать рассказ торопись, а в печать отдавать погоди,— советовал он одному из «молодых»,— рассказ что вино: чем он дольше хранится, тем лучше. Только в том разница, что вино не тронь, не откупоривай, а рассказ все время береди, посматривай, пощупывай — верь, что всегда найдешь в нем недостатки... Когда готов будет по совести, только тогда и отдавай. Никогда не отдавай переписывать начисто другому, переписывай сам, ибо окончательная переписка — это не просто техническое дело, а еще и окончательная обработка...»

5

ЗА ПАРТИЙНУЮ ЛИНИЮ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

Последний период жизни... Трагические события, глубоко потрясшие Фурманова. Дни смерти и похорон Ленина.

Скорбно стоял Фурманов в почетном карауле, потом смешался с толпой, несколько раз проходил вместе с другими мимо гроба, еще и еще раз вглядываясь в лицо Ильича. Бродил по морозным улицам, стоял у костров, прислушивался к тому, что говорят в народе о Ленине.

В ночь после похорон Владимира Ильича Фурманов не мог заснуть. Он опять разговаривал со старым верным дневником:

«Ленин умер... В эти минуты остановилась вся жизнь. Неведомые голоса пели похоронный гимн, телеграфные ленты выстукивали: Ленин умер, Ленин умер. Нам осталось многое сделать, труден будет наш путь, но в руках у нас зажженный Учителем светильник — он разрезает мрак. В руках у нас резец — он рассекает скалы, он прокладывает путь. В мозгу нашем опыт великого учителя, в сердцах наших — его неутомимый гнев ко злобствующему враждебному миру и высокая безмерная любовь к человечеству, к труду, к тому, во имя чего он жил, ради чего ушел преждевременно от жизни.

Прощай, Ильич,— самый любимый, самый нужный человечеству...».

В эти дни, напряженный, как всегда, собранный, глубоко переживающий смерть вождя, Фурманов проводил большую работу в Московской ассоциации пролетарских писателей по увековечению памяти Ильича. Он был организатором ряда сборников стихов и прозы. Глядя на его скорбное волевое лицо, мы все, его друзья, молодые тогда писатели, учились выдержке, умению сохранять присутствие духа в самые тяжелые минуты. В первую неделю после смерти Ильича мы решили все произведения, написанные в те дни, подписывать коллективной подписью писательской организации, как бы неся ответственность всего коллектива за эти книги.

Всегда и везде отстаивая партийную линию в искусстве, Фурманов резко выступал против людей, пытавшихся завести пролетарскую литературу в тупик. Резко боролся Фурманов с сектантами. Его всегда отличало «хозяйское» отношение ко всей советской литературе. Он чувствовал ответственность за всю литературу в целом, а не только за маленькую, узкую группку. Борьба с врагами на литературном фронте для Фурманова была продолжением борьбы на боевых фронтах. Мужественный писатель-большевик не мог молчать, видя, как некоторые руко-

водители ВАПП вредят всей литературной работе, задерживают рост пролетарской литературы. Двадцать пятый год — это год беспрерывных боев. Мало кто внутри руководства ВАПП поддерживал Фурманова. Неоднократно Фурманов оставался в меньшинстве, и вапповское руководство продолжало свою антипартийную линию на литературном фронте. Весной 1925 года Фурманова освобождают от обязанностей секретаря МАПП. Но каждый раз после поражения Фурманов, не падая духом, собирал нас и ставил новые задачи и намечал новый план сражений. В эти дни дневники Фурманова напоминают дневники его военных лет. «Перед боем»... «Атака»... «Наступление»...

«Половина второго ночи. Только что оборвали (не кончили) фракцию правления МАПП. Постановили: фракцию МАПП — на пятницу. Это уже будет воистину наш последний и решительный бой! Верно, верно, верно, что мы победим, несмотря на то, что та сторона берет именами... (Ярко вспоминаю это заседание фракции МАПП, где после большого боя резолюция Фурманова была принята большинством в один голос...— *А. И.*)

...Довольно, черт раздери пополам. Мы хотим конца этим мерзостям и подлостям, потому и пошли на все: бросили на несколько недель свои литературные работы, чтобы в дальнейшем сберечь — целые годы... махнули рукой на свои болезни, все и у всех лечение — к черту, вверх тормашками, заседаем глубокими ночами, у всех трещат-гудят, разламываются головы — и на то идем... Пусть все это, пусть,— мы ведь боремся с самым пакостным и вредным, мы его с корнем вырываем из своей среды... Надо доводить до конца... Я в бой иду спокойно и уверенно. Надо раздавить врага, враз раздавить, иначе оживет... Кончаю. Иду. Что-то стану писать сегодня ночью, когда, разбитый, измученный и с болью в голове, в сердце, ворочусь домой? Что стану писать?..»

Фурманов боролся за партийность литературы, за открытую нелицеприятную критику, против

сектантства, против политиканства и интриг, которыми занимались его противники, возглавлявшие в те годы пролетписательские организации.

Фурманов боролся против попыток противопоставить особую, напостовскую линию — линии партии. А именно так ставили в 1925 году вопрос многие руководители ВАПП и редакции журнала «На посту». Они травили Фурманова за то, что он прислушивался к указаниям руководителей ЦК, за то, что он не соглашался признать какую-то надпартийную, напостовскую линию руководства литературой, за то, что он отказался действовать методом «напостовской дубинки» в отношении многих прекрасных советских писателей, так называемых «попутчиков». И именно влияние Фурманова в широких кругах писателей не нравилось его противникам.

«Ты не настоящий напостовец»,— упрекали они Фурманова, так же как впоследствии упрекали Серафимовича и его друзей.

Фурманов, органически связанный со всем пролетписательским движением, отдавший ему свою жизнь, тяжело переживал нападки руководителей ВАПП. Он стал нервным, раздражительным. Мы не узнавали иногда нашего спокойного, выдержанного Митяя. На собраниях, когда особенно накалялась атмосфера, Фурманов вдруг багровел, вскакивал, стучал кулаками по столу.

Нервная система была уже расшатана годами гражданской войны, сказывалась и тяжелая глазная болезнь. А «администраторы» от литературы не берегли его, мешали ему работать, доходили до прямой травли.

Жена его, Анна Никитична (Ная, как мы звали ее), говорила ему с горячностью: «У тебя и лицо-то на себя не похоже стало,— изведся весь с этой канителью, не лицо, а МАПП какой-то...»

Все мы, друзья Фурманова, видели, как сгорает Митяй, пытались успокоить его, но борьба все обострялась, а большинство в ВАПП было не на нашей стороне.

Большую поддержку находил всегда Фурманов в Центральном Комитете партии. «Я пошел в ЦК,— записывает Фурманов в одном из своих дневников,— потому, что не считаю зазорным вообще заходить посоветоваться в ЦК, и только групповым злопыхательством, только исключительной узостью подхода и даже несознательностью можно объяснить убеждение, будто в ЦК вообще ни с чем нельзя ходить за советом.

...Если уж это предательство, то нам, пожалуй, на версту надо обходить наш ЦК и всех его работников, не являющихся напостовцами... Я считаю, что «напостовство» вещь в значительной степени дутая и раздутая; идеология здесь зачастую подводится для шику, для большего эффекта, чтоб самое дело раздуть куда как крупно, а 2—3—5-ти его вожакам славиться тем самым чуть ли не на всю вселенную... О, бараны туголобые! Если не сказать больше!..»

Высоко ценя повседневное руководство Центрального Комитета партии всем литературным движением, Фурманов взволнованно отмечал в одной из своих записей: «...ЦК, ЦК: в тебе пробудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь...»

В марте 1925 года в Центральном Комитете партии было созвано специальное совещание по вопросам литературы. На совещании многие руководители партии, говоря о значении массовых пролетписательских организаций, в то же время резко критиковали позицию напостовцев, методы «напостовской дубинки».

С особой радостью воспринял Дмитрий Фурманов выступление своего старого друга и учителя Михаила Васильевича Фрунзе, который, будучи народным комиссаром по военным и морским делам, в то же время пристально следил за литературными боями.

Фрунзе резко выступил против групповщины напостовцев. Он призывал более внимательно относиться к интеллигенции.

— Отнюдь не в наших интересах,— говорил Фрунзе,— вести такую линию в области литературы и искусства вообще, которая отталкивала бы от нас эти группы. Наша задача действовать так, чтобы они, так же как и крестьянская масса, все теснее и теснее примыкали к нам при условии сохранения за нами полного идейного руководства... Подходя к вопросам литературы с этой точки зрения, приходится прежде всего сделать вывод о неправильной позиции напостовцев в отношении так называемых литературных «попутчиков». Проведенная ими фактическая линия административного прижима и захвата литературы в свои руки путем наскоков — неверна, таким путем пролетарской литературы не создашь, а политике пролетариата повредишь...

Как бы высказывая сокровенные мысли самого Фурманова, бичевал Фрунзе коммунистическое чванство, высокомерие, зазнайство, утверждение напостовцев, что пролетарским писателям нечему учиться у «попутчиков»...

Да, это был его старый друг, руководитель ивановских рабочих, командующий армией, громящей Колчака,— это был вожак, за которым столько раз ходил в бой Дмитрий Фурманов.

Многие положения, высказанные Фрунзе, нашли одобрение и в резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

С особым вниманием, еще и еще раз перечитывал Фурманов эту резолюцию ЦК.

«...Таким образом, как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике...

По отношению к пролетарским писателям партия должна занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать всеми средствами

проявление комчванства среди них, как самого губительного явления...

Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой — таков должен быть лозунг партии...

По отношению к «попутчикам» необходимо иметь в виду: 1) их дифференцированность; 2) значение многих из них как квалифицированных «специалистов» литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии...

Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним.

Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое *идейное* превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство...

Партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области (области литературной формы.— *А. И.*)...

Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела...»

С большой радостью принял Фурманов эти решения ЦК партии и резко выступал против всяких попыток их ревизовать.

«Резолюция ЦК о художественной литературе,— писал Фурманов в своем дневнике,— открывает широкие, совершенно новые пути дальнейшего развития пролетарской литературы,— это необходимо понять. Кто не поймет, тот ходом событий будет отставлен от активного участия в ее развитии и поступательном ходе...»

Настал день, когда большинство мапповской организации пошло за Фурмановым. Однако борьба не прекращалась. Фурманова старались дискредитировать, оттеснить, развенчать как писателя и руководителя. До последних дней жизни боролся Дмитрий Андреевич за партийную линию в литературе. Он не оставлял поля боя до последней минуты.

В феврале 1926 года была созвана чрезвычайная конференция Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. Фурманов, больной, с высокой температурой, делает на конференции доклад, требует выполнения постановлений ЦК о литературе.

Болезнь прогрессирует. Врачи запрещают Фурманову вставать с постели. Он вызывает нас к себе, дает советы, как держаться, дает оперативные и тактические указания для борьбы с противниками, искажающими партийную линию в литературе.

Он обращается к конференции с письмом:

«Требую полностью выполнения постановлений Цека о литературе, привлечения «попутчиков», близких нам, очищения наших рядов от двурушников, интриганов и склочников».

Но большинство конференции не хочет прислушиваться к словам Дмитрия Андреевича. Авербаховцы, для вида осуждая левацкие напостовско-сектантские позиции Лелевича, в то же время пытаются изобразить позиции Фурманова как позиции правого толка, дающие слишком много свободы «попутчикам».

Фурманов мечется в бреду, и мы не хотим огорчать его рассказами о ходе конференции. Но представитель наших противников пробивается к его постели. 13 марта днем он появляется на квартире Митяя будто бы справиться о состоянии его здоровья.

Фурманов спрашивает его о делах.

— На что ты надеялся,— цинично отвечает непрошеный гость,— ведь вас меньшинство. Некоторые хотели тебе тоже записать «уклончик»... Да уж пощадили. Выздоравливай, найдем общую точку. Пора тебе бросить эту нелепую борьбу. Никому она ничего не принесет. Сам понимаешь, что слишком загнул.

Фурманов рванулся с кровати. Мы с Матэ Залка едва удержали его. Он что-то крикнул, потом повернулся к стене и замер.

В ту же ночь температура подскочила до сорока градусов. Врачи констатировали менингит. В доме беспрерывно дежурили близкие друзья. Приехал старый ивановец Шарапов. Молодой писатель Иван Рахилло колол во дворе лед для компрессов.

Вечером 13 марта 1926 года Фурманов, умирающий, вырываясь из рук державших его товарищей, говорил: «Пустите меня, пустите... Я еще не все успел сказать, не все сделал... Мне еще так много надо сделать...» С этими словами он потерял сознание и через два дня, 15 марта, в девять часов вечера, умер. Ему было тридцать четыре года.

...Только в феврале мы хоронили Ларису Рейснер. С какой скорбью стоял Дмитрий Андреевич в почетном карауле. В том же Доме печати. В том же зале, где обычно происходили наши ожесточенные дискуссии. В том же зале, где через несколько недель стояли мы в почетном карауле у гроба нашего друга, нашего Митяя.

«...Мир становится лучше,— писал жене Фурманова, узнав о его смерти, Максим Горький.— Вот — в нем все больше рождается таких орлят, как Ваш муж. ...Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерян человек, который быстро завоевал бы

себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он хорошо чувствовал, и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть. Я с такой радостью слежу за молодыми, так много и уверенно жду от них».

6

ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ

Много лет назад Матэ Залка вспоминал, как Фурманов, рассказывая ему об Иванове — городе ткачей, однажды мечтательно заметил:

— Написать бы «Ткачей», только не по Гауптману, а по Ленину. Ивановские ткачи народ хороший, ворчливый, бедный, но пролетарский дух у них вышибешь только с жизнью. Много сделали ивановские ткачи для революции, и сделали это от всего сердца...

Как же любил он город своей юности! Прощаясь с ним, уезжая зимой 1919 года на фронт с полком ивановских ткачей, он записывал в дневнике: «Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы. Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим и на фронте твое славное имя, твое героическое прошлое...»

...И вот прошло больше тридцати лет. И мы опять на родине Фурманова. С братом его Аркадием и дочерью Анной.

Как же вырос он и похорошел, старый город ткачей! Но мы не задерживаемся в нем. Мы еще вернемся. Первая встреча с ткачами, отмечающими семидесятилетие со дня рождения своего знаменитого земляка,— в бывшем селе Середа, где он родился.

Мы мчимся по шоссе. И вдруг, точно на триумфальной арке, расположенные полукружием, вырастают перед нами огромные буквы: город Фурманов... Нет больше старого села Середы. Мы въезжаем в новый город, носящий славное имя Митяя.

Трудно описать ту минуту, когда на взгорье перед корпусами ткацких и прядильных фабрик вы-

растает перед нами огромный памятник. Он стоит во весь рост, с непокрытой головой, питомец ивановских ткачей, ученик и друг Фрунзе, комиссар Чапаева и Ковтюха, писатель-воин-большевик. И кажется, глаза его дружески улыбаются нам, а волнистые волосы развеваются на ветру...

А у подножия памятника уже трубят горны, бьют барабаны... Маленькие люди в красных галстуках, знающие книгу Фурманова наизусть, десятки раз с волнением смотревшие фильм «Чапаев», собираются на торжественную общегородскую пионерскую линейку.

И вот уже развеваются отрядные знамена и шелестят ленты венков. Отдана команда, и высокая стройная девочка Таня Александрова из дружины Фурманова отдает рапорт.

Как клятва звучат в морозном воздухе торжественные слова:

— Будем похожи на Фурманова!..

...На торжественном вечере в фабричном клубе была показана инсценировка: фрагменты жизни Фурманова. 1917 год... Октябрь. На сцене заседает Ивановский Совет. Старые ткачи, отцы, матери, и совсем юные работницы.

Через весь переполненный замерший зал бежит юноша... Гимнастерка. Буйная шапка вьющихся волос... Фурманов. Он только что говорил по телефону с центром, со Свердловым.

— Товарищи! Временное правительство свергнуто!..

Минута молчания. И — «Интернационал».

Это было тогда, сорок четыре года тому назад... В 1917-м. Это было сегодня. В 1961-м.

Старая седая прядильщица сидела рядом со мной. Она как девочка взбежала на сцену. И там запела со всеми. И весь зал уже пел «Интернационал». И неизвестно было, где кончается инсценировка и где начинается жизнь. И у многих на глазах были слезы...

...А сцены уже неудержимо следовали одна за другой. Феоктиста Егоровна Пыжова, та самая

седая прядильщица, наша соседка, провожала ткачей на фронт... Юноша-токарь Женя Ледов, сегодняшний Фурманов, встречался с Чапаевым.

Много лет назад Митяй искренне и задушевно говорил мне:

— Я, конечно, не ханжа и не лицемер, и мне очень хочется, чтоб книга моя понравилась. Но как бы хотел я знать — сколько лет она будет жить, и не умрет ли как однодневка, не выдержав испытания нашего сурового, грозного и прекрасного времени...

Как бы хотел я, чтобы он сидел сейчас в этом зале, наш Митяй, чтобы он видел себя — Женю Ледова и старую ткачиху Феоктисту Пыжову, чтобы ему повязывала красный галстук маленькая курносая пичужка Таня Смирнова...

Как бы я хотел, чтобы он вместе с нами пел «Интернационал» и ходил по широким улицам города, который с гордостью носит его славное имя, который весь от мала до велика не во имя юбилейной даты, не выполняя очередное календарное мероприятие, а от всего взволнованного сердца чествует своего легендарного земляка...

...Десятки собраний на ивановских фабриках, в институтах, в школах... Выступления соратников, друзей, учеников...

А потом мы покинули край ткачей и отправились в необычайную поездку по всем тем местам, где Дмитрий Андреевич Фурманов боролся за Советскую Родину, чтобы откупорить, как говорил Фрунзе, «оренбургскую пробку», чтобы дать хлопок ивановским фабрикам.

Из города Фурманова самолет унес нас к предгорьям Тянь-Шаня, в край белоснежного хлопка, в город, носящий имя Фрунзе.

...Поздним вечером мы бродили по аллеям парка у подножия хребта Ала-Тау. Киргизский писатель Чингиз Айтматов, автор лирической «Джамили», переведенной на многие языки мира, рассказывал нам о том, как дороги имена Фрунзе и Фурманова кир-

гизскому народу. Маленький захолустный город Пишпек, где семьдесят пять лет тому назад родился Фрунзе, стал оживленным столичным городом, утопающим в садах. Маленькие киргизские школьники читают книги Фурманова, и играют в «Чапаева», и заучивают наизусть главы из «Мятежа». Ученые, академики пишут исследования о государственной деятельности Фурманова в Семиречье.

Над снежными вершинами Ала-Тау мерцали крупные, сочные звезды. Внизу горели огни киргизской столицы.

В ярко освещенном новом кинотеатре (в который раз!) шел неумирающий фильм. Василий Иванович Чапаев задумчиво стоял на мосту, и к нему приближался стройный человек в туго перехваченной ремнем солдатской гимнастерке.

«Здравствуйте, я Фурманов...»

В перерывах между многолюдными собраниями, посвященными Фурманову, мы осматривали город, пересеченный широкими аллеями-проспектами, выходящими прямо к подножию гор.

Памятник генералу Панфилову, герою Отечественной войны, бывшему солдату Чапаевской дивизии.

Домик, где родился Фрунзе, учитель и друг Фурманова. Картины и фотографии, запечатлевшие борьбу против Колчака. Знаменитый штурм Уфы. Чапаев ранен в голову. Командующий фронтом Фрунзе тяжело контужен. Комиссар Фурманов в боевой цепи.

Особую роль сыграли в том бою артиллеристы молодого командира Николая Хлебникова (изображенного в «Чапаеве» под именем Хребтова).

А сейчас генерал-полковник Хлебников стоит перед картиной, и дымка воспоминаний застилает его глаза.

А через час Хлебников на многолюдном собрании увлеченно рассказывает жителям киргизской столицы о жизни их замечательного земляка Михаила Фрунзе и о своем закадычном друге Дмитрии Фурманове.

...Мы едем средь гор по Чуйской долине из Фрунзе в Алма-Ату. Река Чу. Граница Киргизии и Казахстана.

На окраине селения Жана-Турлык неожиданно возникает перед нами большая мемориальная доска. В середине большой барельеф. Знакомое, родное лицо. Митяй.

Останавливаемся.

«Продолжая свой путь из Пишпека в Верный, здесь осенью 20-го года останавливался комиссар Чапаевской дивизии Дмитрий Андреевич Фурманов».

Неподалеку от доски старый дом, где помещался пикет. У дома огромный развесистый карагач. Здесь, под этим карагачом, он сидел на камнях сорок один год тому назад и заносил путевые заметки в неразлучный свой дневник. Здесь...

Со всех сторон к нам бегут люди. Взрослые. Школьники. Малыши.

Учитель семилетней школы Мурзакул Абдрасимов приводит своих учеников.

Вспыхивает митинг. Перед ребятами, раскрасневшимися, взволнованными, оживает тот человек, облик которого врос в их сознание с первых лет жизни, книги которого они читали, герой полюбившейся им картины.

А теперь перед ними выступали дочь и брат Фурманова. И можно было подойти к ним и задать разные вопросы.

Маленькая уморительная девчушка в красном платьице давно уже потрясала огромным звонком на крыльце школы. Перемена окончилась. А ребятам все еще не хотелось расставаться с нами. Да и мы прощались с неохотой, долго еще выведывая всякие подробности у седобородого аксакала, который утверждал, что видел Фурманова с книжкой в руке под раскидистым этим карагачом.

...И вот мы уже в Алма-Ате. Восхищаемся прекрасным памятником Абаю. Проезжаем по широкой и просторной улице Фурманова. Останавливаемся у бывших Белоусовских номеров, где жил Фурма-

нов. Доска: «В 1920 году в этом доме жил герой гражданской войны, комиссар легендарной Чапаевской дивизии, писатель-большевик Дмитрий Фурманов, вписавший героические страницы в историю нашего города, в историю борьбы за Советский Казахстан».

...Въезжаем на территорию старой крепости, так хорошо знакомой нам по «Мятежу». Памятная доска:

«Здесь, в бывшей военной крепости, с 11—18 июня 1920 года бесстрашными героями-коммунистами во главе с видным политработником Советской Армии писателем Фурмановым был подавлен контрреволюционный мятеж».

Здесь, в этом старом каземате, сидел Фурманов в ожидании расстрела. Здесь заносил он в свой дневник последние, казалось, записи.

Здесь писал он о том, каким должен быть большевик и в жизни и в смерти. Эти страницы дневников — замечательный моральный кодекс Фурманова, воина-большевика.

Велика роль Фурманова в усмирении мятежа. Он проявил прекрасное знание обстановки, твердую волю, глубокую убежденность в правоте партийного дела и решимость умереть за Советскую Республику. Фурманов сумел *бескровно* ликвидировать мятеж, провести большую воспитательную работу в массах здесь, в Средней Азии, в чрезвычайно сложных условиях многонационального Семиречья.

Совсем недавно в речи, посвященной 40-летнему юбилею Казахской ССР, Никита Сергеевич Хрущев, хорошо знавший Фурманова еще по совместной работе в политотделе 9-й Кубанской армии, отметил:

«Большую роль в разгроме врагов советской власти в Казахстане сыграли такие замечательные военные и политические работники, как М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, В. И. Чапаев, Д. А. Фурманов...»

Мы подымаемся высоко в горы. Солнце золотит снеговые шапки.

Точно в почетном карауле стоят по обочинам дороги тяньшанские голубые ели, тополя, березы, дубы, карагачи...

Средь гор открывается широкая долина. Поселок Медео. Знаменитый международный высокогорный каток.

А в поселке... дом, где когда-то Фурманов создал первый красноармейский госпиталь... Он приезжал сюда (запись в дневнике: «А Медео — какая это чудная местность! Сколько раз мы скакали туда верхами...»), он бродил по этим дорогам, любовался величественным хребтом Тянь-Шаньских гор и думал о людях, о тех, кто не щадил ни здоровья, ни жизни в борьбе за народное счастье.

...Из Алма-Аты воздушный прыжок в Ташкент.

Опять оживает история. Фурманов, начальник политуправления Туркестанского фронта, шагает с нами по старым ташкентским улицам.

На встречах в Доме офицера, в Университете немало ветеранов, помнящих еще старые, боевые годы, соратников Фрунзе и Фурманова. Нельзя слышать без волнения, как читает студент четвертого курса Хозрабкулов отрывок из «Чапаева» на узбекском языке. А речь в этом отрывке идет о Николае Хребтове... А Николай Хребтов — генерал Хлебников сидит тут же в зале и подозрительно часто моргает совсем еще молодыми ястребиными глазами.

...Последний вечер в солнечном гостеприимном Самарканде. И самолет уносит нас в Москву. Мы совершили только часть пути по местам, связанным с жизнью и борьбой Фурманова.

Впереди еще Урал... И Башкирия... И река Белая. И Красный Яр. И станица Сломихинская, станица, носящая сейчас имя Фурманова.

Впереди еще Кубань и места, связанные с красным десантом, с разгромом Улагая (именно за эту операцию Фурманов был награжден орденом Красного Знамени). Впереди еще города Закавказья...

Он умер совсем молодым. Но как богата была его жизнь!

Он написал в сущности только четыре книги. Но жизненного материала накопил еще на двадцать.

Путешествие по фурмановским местам для нас было поездкой не в историю, не в далекое вчера, а в сегодня и в завтра.

Писатель-воин-большевик заслужил ту народную любовь, горячее проявление которой мы видели и в Иванове, и во Фрунзе, и в Алма-Ате, и в Ташкенте...

О такой любви можно только мечтать.



Владимир Маяковский

1

В 1921 году я приехал в Москву с вещевым мешком, в котором лежали две смены белья и сверстанные листы сборника моих стихов, так и не увидевшего свет. Стояли холодные ноябрьские дни. Прямо с вокзала я пешком через весь город отправился в университет и узнал, что прием окончен два месяца тому назад. Добиваться было бесполезно. Никого здесь не интересовало то, что в своем городе я занимал «высокое» положение председателя Союза поэтов.

Однако мне было всего семнадцать лет, и долго грустить было не в моем характере. Вскоре меня приняли на работу в Центральное управление Роста в качестве инструктора печати.

Однажды, в поисках связей с московскими литераторами, я отправился в сопровождении своей столь же молодой приятельницы, мечтавшей об артистической славе, в кафе Союза поэтов. Оно помещалось на Тверской улице и носило интригующее название «Домино».

Там все желающие могли читать стихи с эстрады. Стихи тут же обсуждались присутствующими поэтами. В кафе часто бывали Маяковский, Каменский, Есенин.

Я очень волновался. Не то чтобы я не был уверен в качестве своих стихов, а все же... Ведь так много завистников!

Неизвестные мне поэты пили чай, читали стихи. Стихи были непонятные и, как мне казалось, уступали моим. Председательствовал могучий белокурый бородач, носивший, как я узнал позже, весьма поэтическую фамилию Арго. Он показался мне симпатичнее других, и я послал ему записку: «Прошу дать слово для чтения стихов». Я подписался и прибавил в скобках: «из провинции». Не председатель Союза поэтов, а просто: из провинции.

Передо мной выступал какой-то носатый критик, ругавший пьесу Маяковского «Мистерия-буфф».

Я лихорадочно повторял в памяти слова своих стихов.

Читал я лучшее стихотворение. Оно было напечатано на первой странице «Известий губисполкома» и открывало мой неизданный сборник. Я читал с выражением, с жестами:

Мы идем по проездам больших площадей,
Мы идем по глухим закоулкам.
И шаги окунувшихся в вечность людей
Раздаются протяжно и гулко.

В зале разговаривали, звенели ложечками. Но я ничего этого не замечал.

Мечтая о мире безбрежном,
Орли́те на мыслей суку...

Последние строчки стихотворения даже мой земляк и соперник поэт Степан Алый считал новым достижением пролетарской поэзии.

Мокрый, дрожащий от вдохновения, сошел я с эстрады и сел рядом со своей подругой. Она ласково посмотрела на меня.

— Слово имеет Владимир Маяковский,— объявил председатель.

Я даже вздрогнул от ужаса. Я достаточно уже был наслышан об остром языке этого поэта.

— Нина,— шепнул я соседке,— Ниночка, что-то жарко здесь. Может, пойдем погуляем?

— Что ты, Саша! Ведь Маяковский!

Я приготовился ко всему.

Высокий, широкоплечий поэт поднялся на эстраду. Голос его, казалось, едва умещался в маленьком зале.

— Без меня тут критиковали мою «Мистерию»,— сказал Маяковский.— Это уже не первый раз. В газетах появляются какие-то памфлеты, плетутся какие-то сплетни. Давайте в открытую. А ну, дорогой товарищ,— обратился поэт к носатому журналисту,— выйдите при мне на эстраду. Повторите ваши наветы. Боитесь? Не можете? Косноязычны стали! Скажите «папа» и «мама». А еще называетесь

критик!.. Критик из-за угла. Вам бы мусорщиком быть, а не журналистом.

Мне кажется, что я трепетал больше носатого критика. Теперь он перейдет ко мне. Приближалась печальная минута. Позор вместо триумфа.

— Нина,— шептал я.— Давай уйдем. Душно. И неинтересно.

Но Нина только отмахивалась рукой.

Маяковский остановил свой взгляд на мне.

— К сожалению,— сказал он,— я опоздал и не мог прослушать всей поэмы выступавшего передо мной о ч е н ь молодого человека...

«Вот оно... начинается... все кончено... творчество... слава... любовь...»

— Хочу остановиться на последних строчках поэмы:

Орлйте на мыслей суку,—

что в переводе на русский язык значит: сидите орлом на суку мыслей. Неудобное положение, юноша, неудобное и неприличное. Двусмысленное положение... Весьма...

Испарина покрыла меня с головы до ног. Я боялся посмотреть на Нину. Маяковский заметил мое трагическое состояние и пожалел меня.

— Ну, ничего, юноша,— примирительно сказал он.— Со всяким случается. Пишите, юноша. Вы еще можете исправить ошибки своей творческой молодости. Все впереди...

Я вышел из кафе опозоренный. Молча шагал я рядом с Ниной. О чем нам было говорить? Я не решался даже взять ее под руку...

И все же я не чувствовал в Маяковском неприязни. И я решил, что пойду к нему. Он примет меня. Я расскажу ему о своих творческих планах, и он поможет мне, поддержит на трудном, тернистом поэтическом пути.

2

В 1923 году в бывшем Хамовническом районе мы издали первый сборник рабкоров, рабочих поэтов и писателей. В нем были напечатаны рассказы, стихи,

драматические фрагменты, сочиненные рабочими заводов и фабрик Хамовников. Сборник был назван «Лепестки». Почему он получил такое сентиментально-гимназическое название, я не могу сейчас вспомнить, хотя и состоял в редколлегии этого сборника. Однажды, придя в редакцию «Рабочей Москвы», вокруг которой группировались рабочие корреспонденты, Маяковский заинтересовался работой литературных объединений. Я преподнес ему злополучный сборник «Лепестки».

Он взглянул на меня, усмехнулся.

— А, старый знакомый. Продолжаете свои творческие грехи, все еще «орлите на мыслей суку»...

И как это он запомнил эти несчастные строчки!

Маяковский перелистал сборник, задержался на каких-то страницах, что-то хмыкнул, потом стал внимательно рассматривать обложку, где были изображены символические лепестки, и усмехнулся.

— Так значит, лепестки,— сказал он.— Рабочие поэты издают «Лепестки». Забавно. Очень забавно.

Опять он заставил меня побагроветь. И я неожиданно понял, сразу понял, насколько неудачен и претенциозен был заголовок нашего сборника.

Кажется, потом, в одном из своих выступлений о пролетарской поэзии, Маяковский использовал этот эпизод со злополучными «Лепестками».

«Рабочая Москва» начала издавать сатирический журнал «Красный перец». В журнале принимали участие многие, тогда еще молодые, а ныне маститые писатели-сатирики и карикатуристы. Тот же Арго, Михаил Кольцов, Лев Никулин, Виктор Типот, Борис Левин, Кремлев-Свен, Евгений Петров, Радаков, Черемных, Ганф, Елисеев, Шухмин, Борис Самсонов и другие. Редакция журнала «Красный перец» помещалась в небольшом подвальчике под помещением «Рабочей Москвы» на углу Большой Дмитровки и Глинищевского переулка. В этом низком, со скошенными гранями потолка, но очень уютном подвальчике иногда часами разносились раскаты

смеха. В гости к нам приходили актеры, композиторы. Никогда не забыть, как в этом маленьком подвале Виталий Лазаренко ухитрялся делать свои знаменитые сальто. Самыми знаменательными были «темные» заседания, на которых намечались темы очередного номера.

Неискушенный человек, попав на эти «темные» заседания, мог подумать, что он присутствует в крематории. Известные сатирики сидели, уставившись лбами в землю, и мучительно придумывали остроты. Те самые остроты, которые в обычное время, вне «темных» заседаний, извергались целыми потоками. Сейчас самым трудным был не рассказ, не фельетон, а подпись под рисунком, мелочишка, острый анекдот. Бывало, после долгого раздумья кто-нибудь возьмет слово и предложит тему. Все молчат, иронически посматривая на оратора. А потом начинаются издевки. И тут уже остроты льются широкой рекой. А бывало и так: тема предложена и неожиданно нашла общее одобрение. Но редактор, человек довольно хмурый и не всегда понимающий остроты, отрицательно качает головой. Нет, не смешно. Проходит полчаса. Вдруг редактор взрывается хохотом. «Что такое?» — «Дошло».— «Значит, пойдет?» — радостно спрашивает автор темы. «Нет, это я смеялся животным смехом».

Однако на каждом заседании утверждали много тем, фельетоны, рисунки. Больше всего, конечно, доставалось Пуанкаре и Керзону. Когда Пуанкаре ушел в отставку, весь коллектив «Красного перца» устроил прощальное заседание. Уходила в прошлое одна из основных тем. Роль Пуанкаре на этом прощальном банкете исполнил специально загримировавшийся конферансье Гаркави, наш частый гость. Вокруг него сгруппировались все остряки. Фото было помещено в журнале с подписью: «Редакция «Красного перца» прощается с господином Пуанкаре-война».

Маяковский, сотрудничавший в «Крокодиле», в коллектив «Красного перца» вступил осенью 1924 года, и сразу он стал душой всех наших «тем-

ных» заседаний. Меня он, посмеиваясь, именовал «орлом на суку». Однако в этом не было уже ничего обидного. Маяковский писал специально для «Красного перца» стихи, предлагал «мелочишки», придумывал подписи к карикатурам. Часто печатался без подписи. Написал он даже рекламное четверостишие:

Только подписчики
«Красного перца»
смеются
от всего сердца.

Вспоминаю стихотворения Маяковского «Хулиганщина», «Селькор», «Посмеемся»... Трудно сейчас вспомнить все подписи, которые давал Маяковский под рисунками,— в каждом номере журнала их было немало. По выдумыванию тем Маяковский занял у нас первое место. Многочисленны его подписи на международные темы:

В Европе
двое жирных людей
ведут человека
себя худей.

(На рисунке два жи́рных полицейских ведут худого рабочего.)

А мы
облегчаем работу их —
жирного водят
двое худых.

«Ворковал (совсем голубочек) Макдональд посреди рабочих», «Рабочий» Макдональд и буржуй Асквит»:

Английские марионетки
лучшей выточки:
речи разные,
а на одной ниточке...
...Юз, не знакомый с проволо́чкой,
нас оплетал колючей про́волочкой.
Но наш товар блокаду разрывает...
Блокада прорвана — и Юз теперь рыдает.

Много подписей к карикатурам на внутренние темы:

Не предаваясь «большевистским бредням»,
жил себе Шариков буржуйчиком средним.
Но дернули мелкобуржуазную репку,
и Шариков шляпу сменил на кепку,—

и многие другие. Были подписи и под рисунками-плакатами. Без «подписей» его и «мелочишек» не выходило почти ни одного номера. Несомненно, Маяковский продолжал в «Красном перце» свои ростинские традиции.

Те месяцы, когда Маяковский работал в «Красном перце», были и для нас самыми интересными. Он умел как-то расшевелить, подстегнуть всех, привлечь внимание к самым, казалось бы, несущественным мелочам, показать пример огромного разнообразия в работе — от большого стихотворения до лозунга, до подписи.

Когда кто-нибудь из маститых предлагал вымученную плоскую шутку, Маяковский умел несколькими словами отвергнуть ее и высмеять. Именно он внес как-то предложение отвергать неудачные темы одним лаконичным определением: в почтовый ящик. Это значило — ответить в почтовом ящике: не пойдет. И как же мы все, и старые и молодые, боялись этих произносимых громовым голосом слов: в почтовый ящик!..

Хорошо бы сейчас пересмотреть все комплекты «Красного перца», отобрать и издать специальным сборником, конечно с необходимыми комментариями, карикатуры с теми острыми подписями, которые давал Владимир Маяковский.

В те же месяцы поддерживал Маяковский и живую связь с газетой «Рабочая Москва». В октябре 1924 года в кругу сотрудников и рабкоров Маяковский прочел свою замечательную поэму «Владимир Ильич Ленин», поэму, посвященную Российской Коммунистической Партии. Поэма произвела огромное впечатление.

После прочтения поэмы Маяковский долго разговаривал с рабкорами, интересовался их критическими замечаниями о поэме. Замечаний было не много.

Я заведовал тогда литературным отделом газеты и упросил Маяковского дать в «Рабочую Москву» отдельные отрывки. 18 октября мы напечатали фрагмент поэмы под заголовком «Партия».

Нас всегда поражал этот широкий творческий диапазон Маяковского. От поэмы, имеющей мировое значение, до маленьких подписей под журнальными рисунками.

3

Несмотря на свою резкую полемику с руководителями ВАПП и МАПП, Маяковский всегда тянулся к пролетарским писателям, видел в них своих соратников в борьбе за строительство Советского государства. Но особенно высоко всегда ценил Маяковский Дмитрия Фурманова. Не случайно в 1924 году Маяковский послал Фурманову только что вышедший четвертый номер журнала «Леф» с надписью: «Тов. Фурманову, доброму политакушеру, от голосистого младенца, лефенка. За лефов Вл. Маяковский. 4 января 1924 года». Мы были свидетелями разговора Фурманова с Маяковским, когда оба собеседника пришли к выводу о единстве своих взглядов в понимании писательских задач. Обоих писателей объединяла борьба за реализм, за активное вмешательство писателя в современность, борьба и против декаданса и против оголенной схематической тенденциозности.

Особенное одобрение Фурманова в этом разговоре вызвали ненависть Маяковского к мещанству, отрицательное отношение поэта к бесцельному, «бескорыстному», «жреческому» искусству, утверждения Маяковского о важной роли художественного слова в борьбе народа за коммунизм.

Фурманов с первых шагов своей литературной деятельности высоко ценил и творчество Маяковского и многие его эстетические установки. Его привлекала высокая идейность, патриотизм, принципиальность поэта. В набросках к роману «Писатели», рассказывая о своем разговоре с Дмитрием Петровским, Фурманов заметил: «Разговор продолжался о Маяковском. Я сказал, что в отношении близости политической, пожалуй, он самый близкий, и не зря близкий... Он, надо быть, и в прошлом близок был...»

Когда Маяковский проводил в Политехническом музее в 1922 году свою знаменитую «чистку поэтов», Фурманов не пропустил ни одного вечера. Фурманов говорил, что задача, поставленная Маяковским, задача вывести на чистую воду лжепоэтов, проанализировать их литературные приемы с точки зрения задач сегодняшнего дня — задача в высшей степени интересная, благородная и серьезная. Надо было видеть, как реагировал он на меткие и резкие характеристики Маяковского, как заразительно, по-фурмановски смеялся острым, убийственным ответам Маяковского на реплики и выкрики с мест. Он целиком соглашался с основными критериями, которые положил Маяковский в основу чистки: работа поэта над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова, современность поэта с переживаемыми событиями, его поэтический стаж, верность своему призванию, постоянство в выполнении высокой линии художника жизни. Очень многие эстетические критерии Дмитрия Фурманова целиком совпадали с критериями Маяковского. Роднила их и борьба с декадансом, борьба против «комнатной интимности» Анны Ахматовой, мистических стихотворений Вячеслава Иванова, всевозможных изощрений ничевоков, фуистов и прочих штукарей тогдашней литературы. Высоко ценил также Фурманов большую органическую связь Маяковского с широкими литературными массами. Они были очень разные, Маяковский и Фурманов, и в то же время далеко не случайна та взаимная симпатия, которая роднила их и которую мы чувствовали. И в то же время Фурманов нелицеприятно говорил Маяковскому о том, с чем он несогласен в отдельных его произведениях.

Когда Всеволодом Мейерхольдом была поставлена пьеса Маяковского «Мистерия-буфф», Фурманов сначала присутствовал на диспуте в Доме печати, а потом уже посмотрел сам́у пьесу Маяковского. Ему очень понравилась постановка, ее размах, смелость. (Он записал в дневник: «В замысле много могущества и размаха. Обольщает новизна, простор и

смелость».) Фурманов сразу понял, что Маяковский прокладывает новые пути в искусстве. Однако многое в буффонаде пьесы пришлось ему не по вкусу, казалось чересчур плакатным и неглубоким. Как раз в это время, усиленно работая над своими книгами, Фурманов думал о задачах психологического портрета, о задачах создания углубленного образа. Конечно, «Мистерия-буфф» шла в другом жанре. О своих сомнениях в отношении «Мистерии-буфф» Фурманов не раз говорил своим друзьям. Он много думал тогда о различных путях развития советского искусства.

Очень понравилась Фурманову поэма Маяковского о Ленине. Он слышал ее в исполнении самого поэта и, обычно скупой на похвалы, высказал ему свою высокую одобрительную оценку:

«Вот это мне по душе. Очень по душе...»

Как только поэма «Владимир Ильич Ленин» вышла в свет, Маяковский подарил ее Фурманову с надписью: «Тов. Фурманову Маяковский дружески. 25/V 1925 г.».

4

На Первый съезд пролетарских писателей делегатом от Донбасса приехал молодой поэт Борис Горбатов. Несмотря на крайнюю молодость, его избрали в секретариат ВАПП и оставили в Москве. Стихи Горбатова были в основном посвящены шахтерам. Он напряженно стремился овладеть настоящим литературным мастерством, но, несмотря на всяческие похвалы, Горбатов начинал понимать, что стихи его еще слабы, не подымаются над общим, довольно низким литературным уровнем. Из шумных комнат Дома Герцена его тянуло обратно в Донбасс, к своим комсомольцам, к своим будущим героям.

В одном из писем Шуре Ефремовой он писал: «Мне за некоторые свои стихи досадно».

Надо было принимать решение о том, как жить и как писать дальше. И в принятии этого решения важную роль сыграл разговор Горбатова с Маяковским.

Маяковский, довольно резко критиковавший многие чересчур «благополучные» и крикливые стихи молодых пролетарских поэтов, прочитал стихи Горбатова. У меня случайно сохранились некоторые четверостишия этих стихов. Борис с суровостью закаленного шахтера писал о том, что не хочет петь «о любви бурливой, о бурях, о просторах, о безбрежной грусти или тоске», что стихи его пахнут «не склепом», а «дружищем-обушком».

Потому ль, что не поэт я нежный,
А рабочий сорок пять ноль пять,—
Океаны чувств моих мятежных
Я сумел тисками воли сжать...
...Мне ли петь о бурях, о долинах,
Если жизнь обмеряна гудком?
Если жизнь в порядке дисциплины
Протоколом повернет райком...
...Если сам я отдан стопроцентно
Для борьбы за наш рабочий класс...
...Потому что я в рабочей гуще,
Чтобы с пользой жизнь свою прожить.
Потому что взор всегда в грядущем,
А о прошлом стоит ли тужить!

Не желая очень огорчить молодого поэта, которому он в общем симпатизировал (самый облик Горбатова был мил и привлекателен для его собеседников), Маяковский сказал: «Мне здесь больше всего нравятся слова: «Я рабочий».

Борис не любил долго «переживать».

— В общем, старик,— сказал он мне в тот же вечер,— поэт из меня не вышел.

Он долго вертел в руках недавно вышедший в «Библиотечке рабоче-крестьянской молодежи» сборник моих стихов «Смена», хорошо известный ему еще в рукописи. И у него, у Бориса, должен был выйти в этой же библиотечке стихотворный сборник.

Он ничего не сказал мне обидного о моих стихах. Но я понял, что особого энтузиазма они у него сейчас не вызывают.

А свой сборник, о котором он так мечтал, он забрал из производства.

В 1929 году Народный комиссариат РКИ СССР, выполняя указание партии о борьбе с бюрократизмом и бюрократическими извращениями, по всем правилам военного искусства предпринял массовый поход на бюрократов.

Объектом нападения были грубость, высокомерие, чванное, нечуткое отношение к человеку.

Полторы тысячи человек, в подавляющем большинстве рабочие от станка, и среди них члены Центральной Контрольной Комиссии, без всяких мандатов, без всякого предварительного предупреждения в течение двух-трех дней прошли по нашим учреждениям с «просьбами», «запросами», «справками» и «жалобами».

Руководила походом Розалия Самойловна Землячка.

Накануне похода она пригласила пять писателей: Ставского, Суркова, Минаева, Горбатова и меня. Землячка рассказала нам о целях похода и предложила принять в нем участие, а потом написать книгу.

Конспирация была полная. Даже вызываемые рабочие узнали о даваемом им поручении только накануне похода. Были приняты меры к тому, чтобы ни через печать, ни через РКИ никакие слухи о предпринимаемом «налете» в аппарат не проникли.

Мы с радостью приняли предложение Землячки. Начальником нашего маленького писательского штаба мы избрали Борю Горбатова.

История этого «похода» была потом описана в «Правде» и в специально изданной книге «Рабочий поход на бюрократов».

Особо обрадовал нас маленький эпизод, происшедший через несколько дней после выхода книги. Я сидел в Госиздате у Горбатова, когда в комнате появилась огромная фигура Владимира Маяковского. Увидев нас, он большими шагами пересек комнату, направляясь прямо к нам.

— Что же вы, Горбатов,— укоризненно сказал Маяковский,— не привлекли меня в свою компанию? Поход был как раз по мне. Думаю, что пара

стихов и несколько маяковских лозунгов совсем бы не повредили вашей книге.

Горбатов, смущенный и несколько даже оробевший, пытался отшутиться:

— Вы, Владимир Владимирович, для рейда не годились. Вас каждый знает. И вы бы нам всю конспирацию сорвали.

— Разве что так,—усмехнулся Маяковский.

Косвенное одобрение нашей работы Владимиром Владимировичем очень польстило нам.

5

В литературной борьбе тех лет довольно часты были случаи, когда лефовцы блокировались с мапповцами против группы «Перевал», против Воронского. И не случайно незадолго до десятой годовщины Октября Маяковский пригласил группу пролетарских писателей, мапповцев, к себе на дом. Было известно, что он давно уже работает над большой октябрьской поэмой. Эту поэму он уже читал на редакционном собрании журнала «Новый Леф». Известна была высокая оценка, которую дал поэме А. В. Луначарский. О большом политическом значении и ее высоких художественных качествах Луначарский говорил и в своем докладе о культурном строительстве на юбилейной сессии ЦИК СССР в октябре 1927 года. И вот поэт решил познакомить с этой поэмой пролетарских писателей, к которым он всегда чувствовал симпатию, связи с которыми никогда не терял.

Я уже не раз слышал, как Маяковский читает свои стихи. Но здесь, среди небольшого круга слушателей, громкий голос его, казалось, приобрел какие-то иные, более теплые, более задушевные интонации.

— Поэма называется «Хорошо!»,— сказал Маяковский, обвел всех глазами и сразу же приступил к чтению.

Слушали, что называется, не переводя дыхания. Задумчиво глядел на Маяковского Фадеев, теребя многочисленные мелкие пуговки своей наглухо застегнутой длинной кавказской рубашки, что-то записывал на обрывке бумаги Юрий Либединский. В то время в МАПП особым влиянием пользовались сторонники углубленного психологизма, и художественные приемы поэмы показались нам несколько плакатными, фресковыми. Поэма не могла не покорить нас своим большим размахом, своим пророческим взглядом в будущее, своим романтическим звучанием. Однако, надо прямо сказать, мы были несколько разочарованы. Уже тогда бродили в нашей среде теории «живого человека», и нам казалось, что поэма несколько декларативна.

Я ушел сразу после окончания читки поэмы и не слышал ее обсуждения. Не знаю даже, происходило ли оно. Но много лет спустя Фадеев, рассказывая о первом восприятии поэмы, искренне и правдиво сказал о том, что мы не сумели в тот день понять все величие этой замечательной поэмы Маяковского, поэмы большого горизонта, поэмы, знаменовавшей какой-то новый шаг всей советской поэзии.

А народ принял поэму сразу. В октябрьские дни Маяковский почти ежедневно читал поэму в самых различных аудиториях: в Политехническом музее, в клубе НКИД, в Доме печати, на московских и ленинградских заводах, в красноармейских частях. Отрывки из поэмы были напечатаны во многих газетах. Мне пришлось еще раз слушать поэму в Красном зале МК на активе Московской партийной организации. Маяковский читал полтора часа. Несколько раз в зале вспыхивали аплодисменты. Слушали исключительно хорошо. И мне самому начинало казаться, что от той неудовлетворенности, которую я испытывал при первом чтении, не осталось и следа. Московский актив принял специальную резолюцию, высоко оценивавшую поэму Маяковского. В середине октября поэма вышла в Госиздате.

6

10 сентября 1928 года Маяковский выступал в Красном зале Московского Комитета партии перед комсомольцами. Это был период наиболее активного сотрудничества его в «Комсомольской правде», дружбы с Тарасом Костровым и Яковом Ильиным. Он часто приходил к нам в комнату отдела комсомольской жизни, знакомился с письмами юнкоров, делал записи для очередных злободневных стихов, иногда садился на редакционный стол и читал нам «новое», еще не опубликованное. Он очень любил делать такую пробу стиха на аудитории.

Естественно, что на вечер в Красном зале сотрудники «Комсомолки» явились в полном составе. Открывая вечер, редактор «Комсомольской правды» Тарас Костров сказал, что перед отъездом за границу Маяковский хочет побеседовать с комсомольцами о том, что и как ему писать о загранице, получить задание, «командировку»,— не ту командировку, по которой соответствующие ведомства выдают заграничный паспорт, а словесный мандат, «наказ» от своей аудитории. Кстати говоря, текст официальной командировки Маяковского за границу весьма любопытен, и стоит здесь его привести. «Тов. Маяковский командируется ЦК ВЛКСМ и редакцией газеты «Комсомольская правда» в Сибирь — Японию — Аргентину — САСШ — Германию — Францию и Турцию для кругосветных корреспонденций и для освещения в газете быта и жизни молодежи. Придавая исключительное значение этой поездке, просим оказать т. Маяковскому всемерное содействие в деле организации путешествия. Вопрос о поездке согласован с Агитпропом ЦК ВКП(б)».

Выступивший вслед за Костровым Маяковский был встречен дружными аплодисментами. Владимир Владимирович рассказывал о своих прошлых заграничных поездках, о задачах предстоящего путешествия. Основным в своих заграничных поездках Маяковский считал непосредственное вмешательство поэта в жизнь Запада, острые отклики, резкое

противопоставление двух миров, участие поэта в борьбе двух миров. Он остро полемизировал с критиками, осуждавшими его за оперативность, за быстроту поэтических откликов на события, происходящие в мире.

«О своем путешествии за границу,— взволнованно говорил Маяковский,— Глеб Успенский написал через десять лет. А кому будет нужно, если я в 1938 году напишу в «Комсомольской правде» об американском империализме 1928 года?»

Маяковский читал заграничные стихи, просил у комсомольцев специальных заданий для своей предстоящей командировки. В заключение он с большим подъемом прочел стихотворение «Нашему юношеству», осуждающее низкопоклонство перед Западом:

Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин...

Выступавшие затем в прениях комсомольцы единогласно приняли резолюцию: «Командировать товарища Маяковского за границу». Это было выражение читательского доверия своему поэту. Это было подтверждение истинной связи поэта с массами.

Во время этой поездки своей во Францию Маяковский познакомился с Луи Арагоном. Это произошло 5 ноября 1928 года. Интересно отметить, что на другой день именно Маяковский познакомил Арагона с Эльзой Триоле, жившей тогда в Париже. Владимир Владимирович близко знал Эльзу Юрьевну еще по Петербургу, с юных лет. Впоследствии Эльза Триоле написала очень интересные воспоминания о Маяковском и перевела на французский язык избранные стихи его и все пьесы.

О том, как произошло знакомство двух замечательных поэтов, не раз рассказывали мне и Эльза и Арагон.

В примечаниях к книге «Глаза и память» Арагон писал, комментируя строфу:

Мелькайте в памяти, безумства и распутья!..
Ты в ноябре пришла. И вдруг исчезла боль,
И сразу смог на жизнь по-новому взглянуть я
В тот поздний час, в кафе «Куполь».

(Перевод С. Северцева)

«Точно — 6 ноября 1928 года. Это было то самое место, где накануне автор встретился с советским поэтом Владимиром Маяковским».

Несомненно огромное значение Маяковского в творческой жизни Арагона, как, впрочем, и в творчестве всех зарубежных прогрессивных поэтов. Именно Маяковский был вожаком, прокладывающим пути к новой революционной поэзии XX века. Немало говорил и писал об этом сам Арагон. Он рассказывал впоследствии, обращаясь к американским писателям:

«Я был в свое время писателем, который кичился тем, что прошел войну 1914—1918 годов, не написав ни одного слова о ней... Мой бунт против окружающего меня мира нашел свой выход в дадаизме. Дебаты, которые я вел тогда, были дебатами нескольких поколений. Мы яростно противопоставляли писателя публике. Публика была для нас врагом... Пять лет я провел между... несоизмеримым культом маленького поэтического мирка, в котором вращался со своими друзьями, и огромным круговоротом большого мира, куда я пытался броситься... Пять лет я провел в колебаниях, в противоречивых поступках... Это было время взрыва сюрреализма... Вот тогда-то после полосы сомнений и колебаний у меня была встреча, которая должна была изменить мою жизнь...»

О встрече этой рассказывает Арагон обстоятельно, с упоминанием мельчайших деталей.

«Это было в одном из монпарнасских кафе,

огромных, как вокзал, где я проводил осенний вечер... Кто-то окликнул меня: «Поэт Владимир Маяковский просит Вас сесть за его столик...» Он был там. Он махнул мне рукой. Он не говорил по-французски... И это была та минута, которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, сумевший сделать из поэзии оружие, сумевший очутиться на гребне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю сегодня всем у запястья моей руки, цепи, соединившей меня снова с тем внешним миром, который пристрастные философы научили меня отрицать... который мы, материалисты, сумеем переделать и в котором я отныне вижу не только безобразное лицо врага, но и глубокие взгляды миллионов мужчин и женщин, к которым, как научил меня поэт Маяковский, можно было и нужно было обращаться, ибо это те, кто преобразует наш мир, кто поднимет над ним истерзанные кулаки с разорванной цепью».

Знаменательно, что и Маяковский понял Арагона, увидев в нем зарю новой поэзии во Франции. Говоря в путевых заметках о своем неприятии поэтов различных направлений, Маяковский называет и парижских писателей, близких ему:

«Многие из них коммунисты, многие из них сотрудники «Клартэ».

Перечисляю имена: ...Луи Арагон — поэт и прозаик, Поль Элюар — поэт...

Интересно, что эта, думаю, предреволюционная группа начинает работу с поэзии и с манифестов, повторяя этим древнюю историю лефов».

Маяковского и Арагона сблизило прежде всего понимание поэзии как оружия в духовной битве.

И на съезде советских писателей в Москве (1934 год), и на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже (1935 год), говоря об условиях развития реализма во французской литературе, Арагон резко осуждает формалистские теории, в том числе и манифесты сюрреалистов.

Обращаясь к эстетам и декадентам, Арагон восклицает: «Нет ли между вами таких, которые настолько полюбили «эксперимент», что даже в застенках S. A., в гитлеровских розгах и топоре видят *интересные* (подчеркнуто Арагоном. — *А. И.*) аксессуары пороков и в конце концов человеческие ценности... Я требую здесь возврата к реальности. Нужно, чтобы поэты сумели во всем порвать с мертвым грузом приятной им фантасмагории. *Я ставлю им здесь в пример Маяковского...* Он сумел с того же пути, который привел его превосходительство Маринетти[1] к высшим фашистским почестям, броситься в поток реальности, красную реку истории. Футурист Маяковский с первых своих стихов отличается от футуриста Маринетти... тем самым реализмом, которым ценны Вийон, Гюго, Рембо и который с 1915 года выражается в протесте «Облака в штанах»:

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая, —
ей нечем кричать и разговаривать...

...Я требую возврата к реальности, и таков урок, данный нам Маяковским, вся поэзия которого исходит из реальных условий революции,— Маяковским, сражавшимся со вшами, невежеством и туберкулезом, Маяковским, агитатором, горланом, вожаком... Нам нечего скрывать...— заключил свою речь Арагон,— *мы с радостью принимаем лозунг советской литературы: социалистический реализм...* (Курсив мой.— *А. И.*) Я требую возврата к реальности — во имя реальности, взошедшей на шестой части земного шара, во имя того, кто первый сумел предвидеть эту реальность, кто весной 1845 года писал в Брюсселе: «Философы лишь различным образом

[1] Филиппо Томазо Маринетти — итальянский футурист, известный своим «трюкачеством» и атаками на реализм. После прихода к власти в Италии фашизма стал одним из ближайших сотрудников и бардов Муссолини.— *А. И.*

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

В 1955 году в статье «Шекспир и Маяковский» Арагон пишет: *«Пример Маяковского важен для всех нас, для всех поэтов мира, которые приветствуют в Маяковском своего друга и учителя».*

Арагон намечает основные, магистральные пути поэзии Маяковского, глубоко анализируя его эстетические воззрения и их связь с творческой практикой поэта.

Шекспировская сила образов, созданных великим советским поэтом, смелое вмешательство поэта в жизнь, новаторские образы и рифмы, эпос и лирика, гражданственность поэзии, великая сила ее агитационности, партийность искусства Маяковского...

Пример Маяковского, справедливо подчеркивает Арагон, был особенно важен для многих зарубежных прогрессивных поэтов, связанных ранее с различными декадентскими течениями.

Новаторское содержание поэзии Маяковского Арагон утверждает страстно и взволнованно, как боевой соратник. «Маяковский... стал и вожаком и разведчиком не только советской поэзии, но и всей поэзии мира». Он стоял в центре повседневных дел и всемирных событий. «Маяковский — последний поэт прошлого мира и первый поэт мира будущего, ликвидатор словесной алхимии, основатель поэзии, помогающей человечеству шагать вперед, черпающей в массах силу, которая преображает эту поэзию,— был истинным материалистом, основоположником социалистического реализма в поэзии».

Величайший эпический поэт был и тончайшим лириком. Сила Маяковского именно в этом единстве личного и общественного. Все называл он своими настоящими именами. У него не было водораздела между большим социальным миром и своим внутренним, интимным миром.

Маяковский, заключает Арагон, не первый поэт, боровшийся с теорией «искусства для искусства», но он первый положил конец этой теории, смело раскрыв истинную природу искусства. В истории поэзии

его творчество совершило окончательный поворот, он гениальный поэт, которому новые социальные условия, победа пролетариата дали огромную аудиторию, огромные возможности развития. Вся его личная биография связана с жизнью народа, для которого он творил.

«Вся поэзия Маяковского обращена к будущему... Потому что это направление всей страны, всего народа. Ибо история направила в эту сторону взоры людей, ибо СССР стал страной Великого плана, ибо план — это реальная форма мечты о будущем, ибо будущее определяет и направляет настоящую жизнь в СССР».

Особо выделяет Арагон проблему перевода Маяковского на другие языки и вообще проблему переводов. Еще в свое время, в связи с переводом на французский язык вступления к поэме «Во весь голос», Арагон писал:

«Когда переводят Маяковского, роль перевода особенно драматична. Дело идет о человеке, который достиг высочайшей поэтической квалификации в эпоху самой великой социальной революции, отдав свой гений на службу этой революции. Для всех поэтов, которые находятся за пределами Советского Союза и жадно обращают свои вопрошающие взоры к коммунистической революции, этот пример имеет ни с чем не сравнимое значение. Они ждут от Маяковского, и не без основания, этой вспышки молнии сквозь капиталистические туманы, которая озарит им, поэтам, смысл и оправдание быть поэтами, не будучи из-за этого недостойными звания революционеров... Перевод Маяковского в настоящее время имеет исключительное значение, потому что Маяковский открывает нам дверь в Советский Союз. Через Маяковского мы переводим на наш язык Советский Союз...»

Вспоминается яркое выступление Маяковского в Политехническом музее 8 октября 1929 года. Встретив меня в вестибюле музея, Маяковский ска-

зал (и в голосе его мне почудился какой-то сложный сплав иронии и горечи):

— Ну, сегодня, кажется, ваши останутся мною довольны...

Он говорил на вечере о необходимости участия писателя в революционной борьбе, о задачах борьбы и против рыцарей «формы для формы», бесчисленных эстетизаторов и канонизаторов формы, и против тех, кто пытается «втиснуть пятилетку в сонет, пытаются воспеть социалистическое соревнование крымско-плоскогорными ямбами». Основное острие взволнованного выступления поэта было направлено против аполитичности. В качестве примера Маяковский привел известную стихотворную полемику между Фрейлигратом и Гервегом в сороковых годах прошлого века. Фрейлиграт в стихах по поводу расстрела одного испанского роялиста писал:

Так чувствую. Вам по душе иное.
Что до того поэту. Знает он:
Грешат равно и в Трое и вне Трои
С седых Приамовых времен.
Он в Бонапарте чтит владыку рока,
Он д'Энгиена палачей клеймит:
Поэт на башне более высокой,
Чем стража партии, стоит...

На эту апологию «башни из слоновой кости» Гервег ответил в «Рейнской газете», редактором которой был Маркс, следующими строфами:

Примкните же к какому-нибудь стану.
Позор вкушать заоблачный покой,
Стих, как и меч, врагу наносит рану.
Разите ж им, вступив в великий бой!
Должна быть верность избранному стягу,
Пусть вашим будет этот или тот!
Я своему навек принес присягу,
И мне венок пусть партия сплетет...

Маяковский привел эту полемику в доказательство необходимости борьбы против аполитичности. Литература, говорил он, должна идти в ногу с социалистическим строительством, выйти на передовые позиции классовой борьбы.

Вопросу о роли писателя в обществе он посвя-

тил и последние свои выступления в 1930 году. Обращаясь к читателям «Комсомольской правды», он требовал от них поддержки тех писателей, «кто борется за настоящую поэзию, за становление сегодняшнего писателя активным участником социалистического строительства».

7

5 февраля 1930 года открылась очередная конференция Московской ассоциации пролетарских писателей. На этой конференции мы ожидали больших литературных событий. Шли разговоры о вступлении в РАПП Владимира Маяковского и Эдуарда Багрицкого. Еще 4 февраля Маяковский сказал мне (я был одним из секретарей МАПП), что он будет приветствовать нашу конференцию. Ничего более конкретно о вступлении в ассоциацию он не говорил.

Конференция открылась в кинозале дома писателей на улице Воровского. Сейчас эта комната разгорожена многочисленными перегородками, там помещаются различные отделы Союза писателей.

Действительно, на первом заседании конференции Маяковский выступил с приветствием, в котором говорил о близости Рефа пролетписательским организациям. (В сентябре 1929 года произошла реорганизация Лефа. Новое литературное объединение было названо Реф (Революционный фронт). В него вошли В. Маяковский, Н. Асеев, В. Катанян, П. Незнамов и другие.) Встретили поэта аплодисментами, слушали сочувственно. Однако это была только присказка, сказка была впереди.

6 февраля на конференции ожидался большой день. Уже было известно, что Маяковский решил вступить в РАПП и сделает на конференции специальное заявление. Это было, конечно, большим событием в нашей литературной жизни. За сценой в те годы была небольшая комната, своеобразные кулуары президиума. Здесь отдыхали в перерывах члены президиума, здесь редактировались резолюции, велись самые различные, самые острые разговоры.

Перед своим выступлением Маяковский долго и взволнованно шагал из угла в угол комнаты. Он ни с кем не разговаривал, и никто не мешал его раздумью. За все годы, что я знал Маяковского, я не видел его таким возбужденным. Иногда он останавливался, как бы что-то вспоминал и опять продолжал шагать.

Потом ему предоставили слово, и он вышел на сцену. Мы, члены президиума, знали уже, что Маяковский написал заявление о вступлении в РАПП, но и нас необычайно волновало, как он скажет об этом конференции, после всех тех споров, которые вспыхивали в прошлые годы и многие из которых были надуманными и пустыми.

Говорил Маяковский спокойно. Очень коротко изложил он свое заявление, сказал о необходимости объединения всех сил пролетарской литературы, сказал о верности основной литературно-политической линии партии и о том, что художественно-методологические споры могут продолжаться в рядах одной организации. Он призвал всех рефовцев последовать его примеру.

Раздались шумные аплодисменты. Делегаты конференции были искренне рады приходу в ассоциацию Маяковского и шумно приветствовали его. Но Маяковский не уходил с трибуны. Он поднял руку, подождал тишины и начал читать «Во весь голос».

Читал он, как всегда, громко и очень проникновенно. Он как бы сам еще раз продумывал каждое слово и бросал его своим слушателям с трибуны. И каждое слово доходило. Все почувствовали огромную убедительную силу этого нового программного произведения Маяковского, программного произведения всей советской поэзии.

Маяковский кончил и сошел с трибуны. Видим, он устал. Делегаты стоя приветствовали его. Никогда ни один поэт не вступал так в ряды нашей организации. Маяковский был принят в МАПП единогласно. Ассоциация стала выше на голову. И какую голову — Маяковского.

А Маяковский сразу же по-деловому включился

в работу конференции. Он присутствовал на всех заседаниях. Он выступал в прениях о поэзии. Он говорил о задачах массовой организации, о борьбе за искренность поэтических чувств, за высокое качество стиха. Он критиковал поэтов, говорящих не своим голосом, воспринимающих только «кудреватое наследие прошлой поэзии и литературы».

Самый большой советский поэт занял свое место на правом фланге пролетарской литературы, делился своим опытом с товарищами по перу.

8

И все же Маяковский чувствовал себя одиноким. Он порвал с некоторыми старыми товарищами по Рефу, а новые, рапповские товарищи по организации не нашли в себе достаточно чуткости, чтобы окружить большого поэта настоящим вниманием, чтобы создать ему хорошую дружескую обстановку. Он часто выступал на массовых собраниях, на заводах. Он всегда тянулся к коллективу. А наш рапповский коллектив не сумел по-настоящему принять его в свою среду.

Иногда после какого-нибудь заседания заходили мы поужинать в гостиницу «Гранд-Отель», обсуждали за ужином прошедшие заседания, смеялись, шутили. Из бильярдной неожиданно показывалась высокая фигура Маяковского. Он приветствовал нас жестом. И опять уходил в бильярдную, не подсаживаясь за наш стол.

...В последний раз я встретился с Маяковским за два дня до его трагической кончины. Мы готовили альманах пролетарской литературы к XVI съезду партии. Это был наш рапорт съезду. В этом альманахе впервые как член РАПП должен был принять участие Маяковский. Участие в сборнике Маяковский воспринял с большой серьезностью. Он обещал дать для альманаха стихотворение «Кулак», бьющее по классовому врагу со всей присущей Маяковскому остротой. Стихотворение Маяковского должно было стать одним из ведущих произведений альманаха.

И вот в ясный апрельский день Маяковский появился в комнате редколлегии сборника в издательстве «Московский рабочий» на Кузнецком мосту. Он вошел, постукивая палкой, снял свою широкополую шляпу, сел на угол моего письменного стола, вынул из кармана трубку рукописей и, усмехнувшись, сказал:

— Хотите, прочту?

Я, конечно, хотел. Он читал громко, раскатисто, с особым вкусом. Видно, читал не только для меня, но и чтобы самому еще раз почувствовать звучание недавно написанных стихов. Это было как раз то стихотворение о классовой борьбе, которое необходимо было нам в нашем творческом рапорте XVI съезду.

Хотя
кулак
лицо перекрасил,
и пузо
не выглядит грузно,
он враг
и крестьян
и рабочего класса.
Он должен быть
понят
и узнан.
Там,
где речь
о личной выгоде,
у него
глаза навыкате.
Там,
где брюхо
голодом пучит,
там
кулачьи
лапы паучьи.
НЕ ТЕШЬСЯ,
ТОВАРИЩ,
МИРНЫМИ ДНЯМИ,
СДАВАЙ
ДОБРОДУШИЕ
В БРАК.
ТОВАРИЩ,
ПОМНИ:
МЕЖДУ НАМИ
ОРУДУЕТ
КЛАССОВЫЙ ВРАГ.

Последние строчки Маяковский прочел громче обычного. От раскатов его голоса дрожали застекленные издательские перегородки. Он кончил и вопросительно посмотрел на меня. Вдруг раздались аплодисменты. Оказалось, что, услышав голос Маяковского, почти все работники издательства — редакторы, корректоры, бухгалтеры, кассиры — оставили свою работу и столпились в коридорчике около наших дверей. Они прослушали все стихотворение и шумно выражали свое одобрение. Маяковский оглянулся, увидел смеющиеся возбужденные лица и, усмехаясь, развел руками.

На другой день я уехал по делам в Коломну. Возвращался 14 апреля. В поезде развернул газету. Прочел о гибели Маяковского и не поверил своим глазам. Он опять встал передо мною во весь рост, могучий, сильный, сокрушительный. Он читал свое стихотворение «Кулак», и каждое слово падало как удар молота.

9

И еще одно. Много позже мне рассказывал прекрасный мексиканский писатель Хосе Мансисидор, как он впервые увидел Маяковского в Мексике. На центральной городской площади, залитой солнцем, возвышаясь над огромной толпой, стоял молодой советский поэт и читал свои стихи. Почти никто из слушателей не понимал русского языка, но сам облик поэта был настолько выразителен, громовые раскаты его голоса настолько убедительны, что не требовалось перевода. Мексиканцы видели в нем не просто поэта, а глашатая того нового мира, из которого приехал этот страстный человек в их солнечную страну. Таким послом нового мира выступал Маяковский и в Европе и в Америке. Такой бы соорудить ему и памятник. На большой, залитой солнцем площади среди приветствующего его народа далекой Мексики.



Всеволод Вишневский

1

В образе этого человека неповторимо сплетались большая, глубокая эрудиция, в особенности когда дело касалось науки о войне, и любовь к живой, быстротекущей жизни. Он ненавидел спокойствие, тихие заводи, медлительность — он всегда был в водовороте событий, всегда лицом к огню.

Некоторым Всеволод казался чересчур «приподнятым», постоянно взвинченным. Некоторым казалось, что он слишком часто «декламирует» и в этой декламации большая доля наигранности.

Но эти «некоторые» просто не понимали Вишневского.

По самой своей природе он был массовиком, трибуном. Он мог зажечь своим выступлением аудиторию, привыкшую ко всяким речам. Он мог воспламенить академиков и матросов.

Этой своей горячностью Всеволод всегда заражал «оборонных писателей», локафовцев. Он был одним из создателей ЛОКАФа — литературного объединения Красной Армии и Флота — и душой этого коллектива.

В то же время эта «беспокойность» всегда сочеталась у Всеволода с любовью к максимальной организованности и дисциплине.

Редактируя много лет журнал «Знамя», он сам следил, чтобы ни одна рукопись не попадала под сукно. Он проверял всех членов редколлегии. Почти каждый день он писал письма мне, Вашенцеву, Тарасенкову по поводу отдельных рукописей, лаконично и предельно точно излагал свои соображения, вносил абсолютно конкретные предложения, не терпел формулировок двусмысленных, допускающих возможность разного толкования.

Одинаково внимательно относился он и к маститым и к начинающим авторам.

Долгими вечерами сидели мы над рукописью

Алексея Алексеевича Игнатьева «50 лет в строю».

Эта рукопись была находкой. Всеволод любил такие находки. Он беспокоился о каждой строке первого тома Игнатьева больше, чем о собственных рукописях.

Старый генерал в первом варианте не всегда решался с полной реалистичностью показать все настроения царской России, несколько модернизировал и революционизировал свои собственные взгляды. Всеволод уговаривал его показать весь свой путь к советской власти с предельной откровенностью и прямотой. «В этом основная историческая ценность вашего труда...» Жаль, что мы не вели подробных записей этих бесед.

Когда первый том был опубликован, Алексей Алексеевич пригласил нас с Вишневским к себе на чашку кофе.

Дело происходило в рождественские дни. В одной из комнат квартиры Алексея Алексеевича висело его старое огромное кавалергардское седло, в другой стояла елка, увешанная несколькими десятками орденов, полученных старым военным дипломатом в многочисленных странах.

Всеволод внимательно разглядывал каждый орден, интересовался обстоятельствами награждения. Увидев ордена за первую мировую войну, сам похвалился своими георгиевскими крестами и медалями, «заработанными» еще в мальчишеские годы.

Генерал сварил для нас прекрасный кофе по своему методу, благодарил за помощь в литературной работе. А потом они «схватились» с Всеволодом по какому-то частному вопросу, связанному с действиями Брусилова, и долго с ожесточением спорили, явно довольные друг другом.

Всеволод любил и в спорах выуживать у своего противника что-то такое, что было ему незнакомо, что теоретически и практически обогащало его.

— Давно не видела, чтобы мой старик так «прилепился» к своему собеседнику,—улыбалась генеральша.

Однажды на активе журнала «Знамя» Николай Вирта читал главы своего нового романа. В главах этих описывался помещичий, дореволюционный быт.

После чтения встал Игнатьев, подошел к Вирте и сказал ему, посмеиваясь:

— А ведь среди всех присутствующих единственный помещик — это я. Зайдите ко мне вечером, молодой человек, я вам расскажу, как в действительности было дело...

Все мы расхохотались, а Всеволод весело сказал:

— Обязательно зайди, Николай. Надо учиться у бывалых людей... Всегда учиться...

В редактировании записок Расковой нам помогал «специалист по авиации» Боря Горбатов. Бывало, мы засиживались в редакции с Мариной Михайловной. Она вспоминала все новые и новые эпизоды. Всеволод все допрашивал и допрашивал ее. Он умел выудить детали, которые сразу ярко освещали очередную главу записок, которые до этого самому автору казались несущественными. И вот глава начинает «играть», обнаруживаются новые черты характера героя и автора записок.

Привлечение новых молодых авторов Всеволод считал одной из основных задач «Знамени».

Он был поистине счастлив, когда мы добыли рукопись рядового участника войны с белофиннами, сержанта Митрофанова — «В снегах Финляндии». Это был суровый рассказ о суровой войне. Без всяких прикрас и лакировки. Но это было еще очень сыро, сумбурно. Мы разыскали автора, Всеволод рассказал ему о журнале, о войне, прочел ему целую теоретическую лекцию, обласкал его.

Молодой автор оказался ершистым. Он боролся за каждое слово. А редактировать рукопись приходилось основательно. Мы старались сохранить весь аромат рукописи, не навязывать автору своего стиля. Доказывали ему важность тех или иных изменений, необходимых только для пользы рукописи.

И в то же время вся редакция во главе с Всеволодом вела упорные «бои» с работниками Главлита, стремившимися срезать все острые углы.

«Война — это страшное дело. Нельзя показывать ее сусально и паточно» — этот лозунг Всеволода Вишневского разделялся всеми членами редколлегии. За этот лозунг мы боролись, всемерно защищая своих авторов.

Печатая роман Ильи Эренбурга «Падение Парижа», мы не раз выслушивали скептические предостерегающие замечания многих непрошеных друзей редакции, которым Эренбург казался «опасным» автором.

А Всеволод мог вести сложные разговоры по телефону с Ильей Григорьевичем (он тогда находился в Париже), уточняя тот или иной абзац. А потом уже драться за этот абзац, как за строчки собственного романа.

В 1944 году в одном из писем ко мне на фронт Илья Эренбург писал, вспоминая эти годы: «Вспоминаю «Знамя» 1940 — мы были тогда впереди, как и подобает «знаменосцам»...»

Коллектив редакции был дружной семьей. Крепкая, повседневная, нерушимая связь с армией лежала в основе нашей работы.

— Мы — локафовцы,— всегда с гордостью говорил Вишневский.— Основная наша тема — военная.

Эта тема была особенно важна в грозовой обстановке тридцатых годов.

Помню случай, когда эта постоянная «военная» устремленность Вишневского даже смутила одного из гостей редакции.

В 1937 году в Советский Союз приехал Лион Фейхтвангер. Мы печатали его в журнале и устроили ему прием. На приеме были основные наши авторы, все военные писатели — Соболев, Горбатов, Луговской, Лебедев-Кумач, Вашенцев.

Представляя нас Фейхтвангеру, Вишневский называл наши военные звания:

— Капитан второго ранга Соболев, батальонный комиссар Исбах, бригадный интендант Лебедев-Кумач...

Казалось, что он сейчас выстроит всех нас и подаст команду:

— Смирно... Под знамя!..

Потом, уже за ужином, Фейхтвангер, смеясь, признался нам, что ему показалось, будто он попал не в редакцию, а в генеральный штаб...

2

— Локафовцы должны всегда жить насущными интересами армии,— говорил Вишневский.

Мы были частыми гостями военных частей.

В начале тридцатых годов на общеармейских маневрах в Вязниках Вишневский возглавил весьма солидную бригаду, в которую наряду с нами, молодыми, входили такие солидные писатели, как Серафимович и Новиков-Прибой.

Во время маневров Всеволод ввел в нашей бригаде обычную воинскую дисциплину. Подъем... Зарядка... Меня он назначил начальником штаба, и я был обязан каждое утро с картами в руках докладывать о наших маршрутах, дислокации частей, о характере предстоящих занятий.

По вечерам после того или иного хода маневров Всеволод собирал всю бригаду, расспрашивал о впечатлениях и делал «тактический разбор».

Одних из нас Всеволод направлял к «синим», других к «красным». Мы участвовали в боях как противники и потом могли осветить ту или иную операцию с разных сторон.

Осветить — это значило не только делать записи в своих походных дневниках или писать корреспонденции в центральные газеты. Это значило участвовать и в дивизионных многотиражках, и в разных «боевых листках».

Вместе с Вишневским мы написали корреспонденцию о маневрах для одной московской газеты. Я писал черновой вариант корреспонденции. Всеволод долго правил ее и приводил в порядок военную терминологию.

На обратном пути в Москву мы попали в одно купе со старым конником, командармом первого ранга Тюленевым.

У автора «Первой Конной» нашлось о чем поговорить со старым кавалеристом. Они говорили всю ночь. Бесконечной кинематографической лентой разворачивались красочные эпизоды гражданской войны. И Всеволод как-то по-новому раскрылся передо мною.

Еще одна грань образа... Еще одна черта характера...

Мне пришлось быть на Черном море, на крейсере «Червона Украина», в то лето, когда снимался фильм «Мы из Кронштадта».

Никогда не забыть, как волновался тогда Всеволод. Он присутствовал почти на всех съемках. Вносил свои поправки, давал советы режиссеру. Казалось, еще момент — и он сам, как когда-то, бросится в атаку вместе с кронштадтцами под ослепительным светом «юпитеров».

— Как же мне не волноваться,— сказал он мне однажды, когда поздним вечером мы прогуливались по севастопольскому бульвару.— Для меня это не просто история, это ведь кусок моей жизни. В этих кадрах струится моя кровь. Как бы я хотел, чтобы зрители услышали биение сердец кронштадтских моряков, чтобы картина эта была не только реквиемом, но и запевом боевой трубы, чтобы она не

только передавала опыт наших боев, но и звала к новым битвам против фашизма...

Ему, Всеволоду, выпало огромное счастье. Он увидел свою мечту осуществленной.

Однажды во время других маневров мы попали в авиационный полк, в котором было немало летчиков, побывавших в Испании. Многих из них Всеволод видел в Мадриде в 1937 году.

Вспоминали о воздушных боях под Мадридом. О Матэ Залке — генерале Лукаче. Казалось, Всеволод опять переживает те славные дни, когда в Мадриде показывали фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта», когда, вдохновленные подвигами русских моряков, шли в бой за народ испанские республиканцы.

...Нам, локафовцам, поручили написать историю одной прославленной дивизии.

В места, где размещалась дивизия, выехала бригада во главе с Вишневским. Мы наметили план работы, разъехались по полкам. Мне с Всеволодом пришлось рыскать на машине по бездорожью. Стояла весенняя распутица. Еще не растаяли снега. Машина наша застряла. Мы долго толкали ее. Все мы были в шинелях, в добротных армейских сапогах, а Всеволод во флотских брюках-клеш и туфлях. Он промок до нитки. Но не отставал от нас. В полк приехали к вечеру. Так и не успели просохнуть.

Всеволод был, что называется, в ударе. Он любил такие вот неожиданные приключения. Они напоминали ему фронтовую обстановку.

Он рассказывал о гражданской войне, о флоте. Сидевшие перед нами молодые бойцы не отрывали от него глаз.

Маленький, коренастый, в широких флотских брюках, с орденами Ленина и Красного Знамени на кителе, он, казалось, сошел с экрана созданной им, любимой бойцами картины «Мы из Кронштадта».

После вечера дружно спели старую песню дивизии:

От глубины Уральских гор
И до Чонгарской переправы...

3

Незадолго до войны Всеволод решил, что мы мало теоретически подкованы для грядущих боев.

— А что, если нам поступить в Военную академию имени Фрунзе? Конечно, на заочный факультет.

У каждого из нас были десятки всяких дел и обязанностей. Но он убедил нас. Через неделю все документы были оформлены. Вишневский, Сурков, Вашенцев, Исбах, Колосов были зачислены на 4-й факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Мы получили десятки пособий, карт, расписаний, запаслись военной литературой.

К нам прикрепили военного руководителя, высокого широкоплечего полковника.

И вот один раз в неделю, на квартирах у меня или у Вишневского, мы собирались и слушали лекции полковника. Он вел с нами занятия по тактике и стратегии. Военной историей и прочими военными науками мы должны были овладевать сами.

Наш староста Вишневский, как всегда, требовал от нас военной точности и дисциплинированности. Пропуск занятий — преступление. Вишневский показывал нам пример, добросовестно готовясь к занятиям. Каждый из нас должен был решать различные тактические задачи как командир батальона, полка и дивизии... Мы сталкивались на карте во встречных боях, мы воевали друг с другом. Вишневский всегда придумывал хитроумные тактические ходы. Он радовался как ребенок, окружив и разбив наголову батальон Вашенцева.

Мотивировка каждого хода была у него точной и строго аргументированной. Никакой халтуры он не допускал. Особо интересовали его операции, связанные с взаимодействием армии и флота.

Его дотошности изумлялся сам наш руководитель. Однажды он нам по секрету признался, что считал раньше всю нашу «выдумку» с академией блажью, забавами. Да и сам он всегда мечтал быть певцом и не очень любил военное дело. Он даже пригласил нас на репетицию драмкружка академии, где сам он пел арию Онегина. Мы посмеялись превратности человеческих судеб, однако занятия упорно продолжали. Весной мы приняли участие в лагерном сборе академии, присутствовали на общих лекциях.

Конечно, это отнимало у нас много времени. Впоследствии нам не пришлось командовать дивизиями. Но все же тактическая подготовка сыграла потом свою роль в нашей работе военных корреспондентов. Не менее полезно было бы научиться вождению автомобилей, фотографии. Но, конечно, нельзя было объять необъятное. Творческая работа, журналы, институты, общественная деятельность и... Военная академия.

Приближались экзамены. Всеволод призывал нас бодриться, но, признаться, и сам с сомнением поглядывал на десятки неразрезанных пособий.

Окончательный план подготовки к экзаменам мы должны были разработать 24 июня...

23 июня все мы выехали на фронт. Экзамен оказался более трудным и более сложным.

4

Во время войны с белофиннами почти все локафовцы оказались на фронте.

Находясь в войсках генерала Мерецкова, в 7-й армии, на Карельском перешейке, мы были участниками наиболее интересных и трудных операций

этой короткой, но суровой войны. Прорыв линии Маннергейма, штурм Выборга...

Война оказалась совсем не такой легкой, как нам представлялось после триумфального освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину.

Уже в первые недели войны был тяжело ранен Владимир Ставский, убит Михаил Чумандрин, пропали без вести Борис Левин и Сергей Диковский.

В нашей армии работали Евгений Петров, Долматовский, Бялик, Корольков, Гитович, Лифшиц. К нам из Ленинграда, из политуправления, часто приезжали Николай Тихонов, Виссарион Саянов, Александр Твардовский, Сергей Вашенцев. Мы поддерживали связь с газетами более северных направлений, где работали Горбатов, Фиш, Френкель, Богданов, Сурков, Безыменский, Прокофьев.

Связь была недостаточной. О том, что делают наши товарищи, мы узнавали только по их армейским газетам.

Первый, кто заговорил о необходимости лучшей связи, об обмене опытом, «чувстве локтя», был наш вожатый, локафовский старшина Всеволод.

Он был с Соболевым и Кумачом во флоте. Проводил там огромную работу. Как писатель, журналист, агитатор, политработник. Это была его стихия. Это была новая страница его боевой деятельности, начавшейся в годы гражданской войны.

И он чувствовал ответственность не только за себя, а за всех нас. Он нашел время приехать к нам в 7-ю армию. Он писал нам и длинные и короткие письма, похожие на рапорты, на боевые донесения. Подобные «военизированные» письма он писал даже родному сыну. Он хотел, чтобы каждая локафовская огневая точка работала в полную силу.

И в то же время он чутко следил за судьбой каждого товарища.

У меня сохранилось одно из его писем той поры:

«7/II 1940
Кронштадт. Д. флот.

А. Исбаху
Действ. армия

Привет, Саша!

Рад был получить от тебя живую весточку. Мы, флотская группа писателей, старались с первых дней установить контакт с ЛВО, с писателями армии. К сожалению, товарищи там туговаты... Написать в Кронштадт ленятся... Вникнуть в огромную работу Б. флота — *не умеют*. Буду надеяться, что ты по-партийному поймешь важность связи флота и армии; будешь, при случае, читать наш «Кр. Балт. флот», писать нам... Сумеешь по-знаменски, живо внедрить эти же мысли и др. товарищам по газетам ЛВО. Неск. раз видел С. Вашенцева,— но он как-то не установил контакта, живого, простого, фронтового... Написать неск. строк, позвонить, дать знать о писателях-фронтовиках,— все это не умеют они сделать... Один В. Ставский, знающий войну, сумел откликнуться и в первые дни войны, раненный, прислал мне в Кронштадт письмецо,— в дни, когда мы как раз дрались довольно крепко... Я очень хотел бы, чтобы между фронт. писателями *была крепкая связь, спайка, обмен опытом, мыслями*... Мы видим уймищу вещей, надо о них глубоко и верно писать, докладывать народу, партии. Не ленитесь писать друг другу, узнавать: *где сосед, что у него*. Вот этого и не хватает ряду товарищей.

У нас 3/II проведено совещ. 20-ти писателей Б. флота.— Проверили работу, ее форму. Итоги *отличные*. В. Совет Б. фл. выносит благодарность в приказе. Наша тройка — я, Лебедев-Кумач, Соболев — сделала до *70* индив. выступлений, вечера, статьи, очерки, стихи, юмор, радиоречи, инструктаж, работа с молодыми, закр. письма в «Правду», в наркоматы и пр. и пр. Есть и литерат. итоги: нек. сборники, пьески, репертуар...

На лев. фланге у вас морские отряды. Съездите к ним, познакомьтесь, *опишите*. Непрестанно крепите идею контакта армии и флота. Дайте обзоры флотск. газеты. Мы дадим о ваших.

Впечатлений боевых много... Все время в частях, на передовых мор. аэродромах, точках... В бл. дни едем в Таллин и Либаву. К 20—25/II тронемся на сев. участок фронта: Мурманск, Петсамо... Пиши! Привет Вашей газете от всей балтфлот. писат. группы! Долматовскому и Е. Петрову привет! — от меня, Леб.-Кумача и Соболева.

Жму руку.

Вс. Вишневский.

Постарайся точно выяснить судьбу Б. Левина и Диковского... Они «пропали без вести»... Надо найти тех, кто был с ними, точно все узнать... Это плохо, что писатели ЛВО так толком о своих боевых товарищах до сих пор *активно* не разузнали... Есть же полит. органы, особ. органы и пр. Узнайте! Надо обо всем этом, о товарищах *написать*. В.»

Таких писем было немало. В них, как в капле воды, отражалась вся кипучая деятельность Всеволода Вишневского, его беспокойный, волевой характер, его партийность и его чуткость, его хозяйская забота о деле и о людях...

В первые годы Отечественной войны на Северо-Западном фронте мы не раз получали подобные же письма из блокированного Ленинграда, где доблестно воевал Всеволод Вишневский.

В самые тяжелые дни блокады Ленинграда, перегруженный десятками дел в политуправлении Балтфлота и Ленинградского фронта, в газетах, в театрах, выступающий ежедневно на заводах, больной, изможденный, он не забывает об армейских товарищах. Он поддерживает с нами связь, он присылает нам во фронтовую газету свои записи о Ленинграде. Он пишет нам и о мужестве, о «духовной силище» питерских рабочих-кировцев, и о первом исполнении Седьмой симфонии Шостаковича. Он дает нам советы в нашей работе и просит держать с ним постоянную связь. Он рассказывает о боевой

работе писателей Ленинграда: Николая Тихонова, Анатолия Тарасенкова, Веры Инбер, Александра Крона.

Его письма бодрят и вдохновляют нас. От них веет душевной чистотой, верой в победу, любовью к своему народу.

Писатель-воин-большевик всегда был верен себе, всегда был лицом к огню.

В сорок четвертом году войска нашего фронта вышли к Балтийскому морю. В городе Кёзлин мы встретились с писателями Балтфлота, с Всеволодом Вишневским и обнялись по-братски. Позади были тяжелые первые годы войны. Позади была блокада Ленинграда. Впереди — Берлин.



Федор
Панферов

Фурманов отложил какую-то пухлую рукопись, снял очки и сказал мне задумчиво:

— Да... писатель из него может выйти любопытный.— И, заметив мое недоумение:— Был у меня, Сашко, сейчас интересный человек. Из самой глубинки. Не нашим проповедникам чета. (Разговор происходил в бурные дни нашей борьбы с родовским руководством ВАПП.) Панферов. Федор. Разве я тебе не говорил о его рукописи?.. «Огневцы»... В делах теоретических и склочных он еще не понаторел. А деревню знает прекрасно. И писать о ней может. Не слыхал? Панферов, Федор Иванович.

Нет. Это имя мне ничего не говорило. Фурманов часто рассказывал мне о своих «литературных находках». По обязанности редактора Госиздата и секретаря МАПП, он читал много рукописей начинающих писателей. Относился к ним требовательно, придирчиво. Но как же он радовался каждому истинному «зернышку», каждой искре таланта!

— Надо его как-нибудь затащить на Нащокинский [1]. Или, может, к старику на Пресню. Пусть там почитает.

Но чтоб попасть на Пресню к Серафимовичу или на Нащокинский к Фурманову, надо было пройти предварительный отбор, обнаружить несомненные признаки дарования. Значит, этот новый, Панферов, чем-то действительно порадовал Митяя.

— Мало мы знаем деревню. Мало и плохо. Проводим вот целые вечера в спорах, а жизни не знаем,— продолжал между тем Фурманов все более взволнованно.— Вот прочел я эту рукопись и точно новый, незнакомый мир познал. А ведь пишет он еще сыровато. До самых глубин не дошел. Только первый пласт поднял. Ну, я ему все прямо и сказал. Ты же знаешь, что сюсюкать не в моих правилах...— И тут же озабоченно: — Не обиделся бы... Как ты

[1] Квартира Фурманова (ныне улица Фурманова).

думаешь, не обиделся?.. Нет, думаю, понял. Сказал, что еще поработает. Глаза у него хорошие. Такой не соврет. Конечно, неплохо бы еще позвонить ему, приободрить. Да телефона у него нет. Живет еще по-пролетарски. Ну ничего, придет следующий раз — мы его к старику затащим. А ты его фамилию запомни. Федор Панферов... Такие нам в МАПП нужны...

Разговор этот происходил незадолго до столь горькой для всех нас смерти Митяя. Так больше и не повстречались Фурманов и Панферов.

Долгие месяцы я ничего не слышал об авторе «Огневцев».

Но вот через два года (после демобилизации из армии меня избрали секретарем МАПП и назначили в издательство «Московский рабочий» редактором «Новинок пролетарской литературы») на моем столе оказалась рукопись романа Ф. И. Панферова «Бруски».

Я прочел ее залпом. А вскоре встретился с автором, и началась наша крепкая, многолетняя дружба.

2

Незадолго до того, как я прочитал «Бруски», на конференции МАПП с яркой полемической речью против штампа и схемы в литературе выступил наш «старшой», Александр Серафимович.

— Вы знаете в старой литературе мужичка? — сказал он.— Там чрезвычайно мало типов усложненных: там мужичок, который вырос из громадной серой массы. Он косматый, обросший и говорит «тае»...

Выступление Серафимовича имело особо важное значение потому, что многие из наших молодых писателей, работавших над деревенской тематикой, находились в плену народнической традиции. Их произведения были проникнуты жалостливостью, слезливостью. Изобиловали штампы и трафареты, плакатные, упрощенные образы бедняка, середняка и кулака.

Кулак — с большой головой, в лакированных сапогах, середняк — в поддевке и простых сапогах, бедняк — в лаптях — так именно представлялась деревня одному из героев романа Панферова — секретарю губкома Жаркову.

«Так по крайней мере рисовали деревню на плакатах. По плакатам невольно и у Жаркова рисовалась деревня: с одной стороны — противник революции — кулак, с другой — защитник ее — бедняк, а середняк, жуя губу, стоит в сторонке».

Так вот именно и рисовали деревню многие наши писатели. Настоящих живых людей современной деревни в пролетарской литературе почти не было.

Панферов едва ли не впервые показал жизнь новой, советской деревни и ее людей во всем их многообразии.

Книга Панферова была проста и вместе с тем глубока. Борьба за артель, за коллективное хозяйство. Борьба сложная, трудная, необычная. В романе не было трафаретной «раскладки» героев по привычным полочкам. Панферов тонко, с огромным знанием дела и большим художественным тактом показал расслоение деревни.

Целая галерея типов возникала перед нами в романе «Бруски». Кулаки, очень непохожие друг на друга,— Чухляв, Пчелкин, Плакущев; середняки — Федунов, Гурьянов, Катай и резко отличающийся от них Ждаркин, которому суждено было потом стать центральной фигурой романа; бедняки — Огнев, вожак артели, Панов, Шлёнка, лодырь, кулацкий подголосок. Все это были живые люди, каждый со своей резко очерченной индивидуальностью.

Роман Панферова был новаторским в полном смысле этого слова. Через всю первую книгу проходила стержневая линия сюжета — борьба Огнева за «Бруски», за коллективное хозяйство на бывшей помещичьей земле.

Но Огнев борется с Чухлявом и Плакущевым не только как бедняк с кулаком, но и как новый человек деревни, как пришедший на землю культурный хозяин — со старым земельным консерватором.

Одним из узловых конфликтов романа было столкновение Огнева со Ждаркиным. Ждаркин — середняк, демобилизованный красноармеец, краснознаменец, сторонник культурного индивидуального хозяйства. Весь процесс нравственного и духовного «перерождения» Ждаркина был нарисован Панферовым мастерски, убедительно. Перед нами возникал сложный мир мыслей, чувств, переживаний нового героя деревни.

В первой книге романа Ждаркин еще не пришел к Огневу. Но на многих участках огромного деревенского фронта они уже вместе воюют против чухлявых и плакущевых. Мы являемся свидетелями и побед и поражений Огнева и Ждаркина. Старое, вековое, темное, кондовое еще часто прорывается, сметает поставленные плотины, уничтожает ростки новой деревни. Но окончательная победа нового неизбежна. Теперь, когда прошли десятилетия после «Поднятой целины» Шолохова, после многих книг о колхозной жизни, трудно себе представить, какую роль сыграла книга Панферова, как она взволновала нас, первых своих читателей.

Это был новый мир, впервые *по-новому* показанный, и показанный уже несомненно рукой мастера.

Я понял теперь, почему тогда так взволнован был Фурманов, прочитав первую рукопись молодого автора. И я понял, что Панферов тогда не обиделся и слова Фурманова пошли ему впрок.

«Заслуга Панферова,— записал, прочитав первый том «Брусков», наш «старшой», Серафимович,— большая заслуга — он *первый* дал картину перелома жизни крестьянина-единоличника...»

Однако работать над первым томом «Брусков» пришлось еще изрядно. Я был моложе Панферова годами, не имел такого житейского опыта и плохо знал деревню. Я боялся сгладить, нивелировать его своеобразный, самобытный язык. Но я редактировал его первую большую книгу, и именно ввиду огромного ее значения я считал своим долгом друга и своим правом редактора делать ему критические замечания, советовать исправления. Прямо надо ска-

зать, он был трудным автором (с годами нетерпимость к критическим замечаниям у него все возрастала). Ершился, вставал на дыбы. Бывало, мы просиживали над несколькими страницами долгие часы. Вставали измочаленные, злые.

— Всё,— говорил Федор Иванович,— всё. Больше ни одного слова. Ты, брат, зловреднее самого Чухлява. Возьми лучше нож и зарежь меня. Лучше меня, чем Ждаркина. Всё... Но... без пельменей я тебя не отпущу...

Он хлопал меня по плечу и, весело смеясь, тащил в соседнюю комнату. Там уже дымились целые горы пельменей. Таких пельменей, как в семье Панферова, никогда есть мне не приходилось...

Споры, впрочем, продолжались и за пельменями. Частенько навещали Федора родные. Сухонький, остроглазый отец Иван Иванович, и другой Иван Иванович — отец его жены, помоложе и порыхлее.

Старики еще не читали «Брусков». Но к спорам, которые вели они на деревенские темы, внимательно прислушивались и я и сам Федор. И казалось мне, что чтение романа продолжается, что живые герои сошли со страниц «Брусков» и сидят вокруг меня и спорят, поглощая несметное количество пельменей.

А вскоре Федор Иванович познакомил меня с действительным героем «Брусков».

Раздался звонок, и в дверях показался гигант, головой подпирающий потолок.

— Паша! — радостно закричал Панферов. И утонул в объятиях гиганта. Это и был Павел Артамонович Козловский — крестьянин, потом рабфаковец, потом студент сельскохозяйственной академии, потом директор совхоза. Это и был Кирилл Ждаркин, непременный участник многих наших встреч, споров, пельменных заседаний.

...«Бруски» вышли в свет. Это была вторая книга в серии «Новинки пролетарской литературы», которую начало выпускать издательство «Московский рабочий». Первой был «Тихий Дон».

Они вместе, плечо к плечу вошли в большую литературу, Шолохов и Панферов.

А ведь в том, в 1928 году, когда их имена были еще неизвестны, в издательской нашей жизни случались и смешные курьезы.

По совместительству приходилось мне руководить литературным отделом в одной из московских газет. Редактор газеты дал мне строгий наказ: в литературную страницу включать произведения только ведущих писателей, ну, скажем, Алексея Толстого, Серафимовича, Гладкова, в крайнем случае уже известных тогда Леонова, Фадеева, Либединского.

А я принес ему главы из находящихся в производстве романов Шолохова и Панферова.

Он мельком перелистал страницы рукописей.

— Опять вы своих начинающих продвигаете. Ну кто их знает?.. Кто их будет читать?.. У меня столичная газета, а не бюллетень литературной консультации...

...О «Брусках» сразу заговорили. Они вышли и массовым тиражом в «Роман-газете». Читатель сразу принял «Бруски» как одну из любимых книг, и вскоре потребовалось новое издание.

И редакция «Новинок» и Панферов стали получать сотни писем, высоко оценивающих книгу, сотни вопросов автору.

Начались читательские конференции. Впервые деревня была показана не «приземленно» и не в кривом зеркале.

Высоко оценил роман в одной из первых рецензий на него Анатолий Васильевич Луначарский. Говоря о всеобъемлющем знании жизни, об остроте писательского взгляда, о мастерской лепке образов, Луначарский назвал одного из главных героев панферовского романа Плакущева «настоящим деревенским Шуйским».

Мне пришлось беседовать с Анатолием Васильевичем о «Брусках». Как же я был рад услышать, что Луначарский, прочитав «Бруски», испытал то же ощущение встречи с новым, самобытным талантом, что и после фурмановского «Чапаева»!

И образы строителей новой деревни, и образы классовых врагов впервые в советской литературе

были запечатлены в романе во всей их сложности и многогранности.

Однако нашлись и критики, которые встретили роман в штыки.

Некоторые из них, как Лежнев в «Новом мире», сетовали на то, что в конце романа опять прорывается стихия, которая ломает организующую силу. Между тем было бы очень странно, если бы Панферов уже первую книгу романа закончил «под занавес» «торжествующей добродетелью».

На каком-то этапе борьбы верх брал Плакущев. Но разве по всему ходу романа не было видно, что Плакущев в конце концов обречен на ту же смерть, что и Чухляв? Разве по всему ходу романа не было видно, что победа Огнева неизбежна? Но этой победе предшествует длительная и жестокая классовая борьба.

Заключение Лежнева о том, что «ученический» роман Панферова «недостаточно психологичен» и «плохо построен», следовало отнести исключительно за счет той «групповой» «перевальской» тенденциозности, которая особенно пышным цветом расцветала в конце тридцатых годов.

С другой стороны обрушился на Панферова «Леф» в статье П. Незнамова. Незнамов считал, наоборот, роман чересчур психологическим и недостаточно фактографичным.

Представители разных групп пытались причесать молодого автора под свою гребенку. Это не могло удасться. Панферов уже говорил своим собственным голосом, достаточно громким и достаточно убедительным.

1 октября 1928 года открылся пленум правления РАПП. Он был посвящен анализу конкретных литературных произведений.

Пролетарские писатели подводили творческие итоги, говорили о лучших произведениях за год.

Юрий Либединский докладывал о драматургии Киршона и Афиногенова, Алексей Селивановский — о поэзии, Владимир Ермилов — о «Тихом Доне» Шолохова. Мне был поручен доклад о «Брусках».

Я говорил о «Брусках» как о произведении, определяющем наш творческий метод, как об одном из программных, головных произведений пролетарской литературы.

На пленуме было много гостей.

Мы возвращались домой с Федей и Павлом Артамоновичем Козловским, тогда уже студентом сельскохозяйственной академии.

— Ну, Федя,— сказал, как всегда медленно, с расстановкой, Козловский.— Надо считать, ты в большие писатели, в Львы Толстые, выходишь... Так, что ли?..

— На твоих плечах поднимаюсь, Паша,— усмехнулся Панферов. (Я уже знаком был с планом второй книги, в которой основным героем становился не Огнев, а Ждаркин.)

— Что же, фундамент как будто того... подходящий,— заключил Артамоныч, разворачивая свои широкие, могучие плечи.

3

28 мая 1928 года после долгого отсутствия в Москву вернулся Максим Горький. Среди многочисленных писателей, встречавших его на вокзале, были руководители Российской ассоциации пролетарских писателей.

Все разногласия с Горьким остались позади. Радостно, вместе со всем народом встречали мы первого писателя земли советской.

Выйдя из вокзала и увидев бушующее человеческое море на площади, Алексей Максимович не мог сдержать слез.

В тот же вечер мы пришли к Горькому на его старую квартиру, в Машковом переулке.

С тех пор прошло уже больше тридцати лет. И каких лет!.. Нет уж на свете ни Горького, ни большинства из тех, кто с трепетом сердечным поднимался в тот яркий весенний день по лестнице старенького дома.

Я вспоминаю сейчас тот день, своих товарищей, и сердце начинает биться стремительно и тревожно.

Саша Фадеев. Молодой черноволосый Фадеев в сатиновой косоворотке с множеством мелких пуговиц (фадеевке!), в высоких новых блестящих сапогах...

Федя Панферов. Весь собранный, напряженный. Только что вышли «Бруски». Он уже послал книгу Алексею Максимовичу и ждал оценки, ждал сурового, нелицеприятного разговора.

Юра Либединский, теребящий свою узкую, клинышком бородку, делающую его похожим на мушкетера.

Володя Ермилов, наш главный розовощекий теоретик, наносящий направо и налево раны своим критическим жалом.

Вожди РАПП: «генеральный» — Авербах, сверкающий лысиной, никогда не теряющий присутствия духа, и менее генеральный — густобровый красавец Володя Киршон, и еще менее генеральный — специалист по национальным литературам Алеша Селивановский.

Я, самый молодой, был замыкающим. От волнения я спотыкался на всех ступеньках. К тому же изрядно мешал мне комплект «Роман-газеты», который я захватил, чтобы «похвалиться» и преподнести Горькому.

В ожидании Алексея Максимовича мы молча сидели вокруг стола. Стояла необычная для сборищ наших тишина, все переживали, подавленные величием наступающих минут... Шутка ли сказать... Горький!.. Первая встреча с Горьким. Мы еще не знали, как себя вести, как и о чем разговаривать. Даже главный наш острослов Ермилов держался совсем робко и растерянно.

И вот со скрипом отворяется дверь и в «гостиную» входит Алексей Максимович. Он показался нам еще более высоким, чем в действительности.

Мохнатые брови, нависающие над глазами, придавали ему суровый вид. Но чудесные густые ершистые усы были совсем добрыми.

Мы вскочили, как школьники первого класса при входе учителя. Но Алексей Максимович мановением руки посадил нас.

Он сел на свободный стул рядом с Фадеевым.

Молчание продолжалось. Никто не знал, как начать этот необычайный разговор с Горьким. Каждый боялся показаться ему глупым и незначительным. Никакого предварительного «сценария» не было разработано.

Алексей Максимович оглядывал нас внимательными, пытливыми глазами из-под мохнатых бровей и тоже молчал.

Внезапно взгляд его задержался на новых высоких сапогах Фадеева.

— Хорошие сапоги,— сказал Горький.— Привлекательные сапоги... Занимаетесь охотой?..

Он словно нарочно выбирал слова, где особенно ощутимо было знаменитое его волжское оканье...

Так вот с сапогов Фадеева и начался этот разговор.

А потом плотина была прорвана...

Горький сам рассмеялся, вызвал ответные улыбки на наших лицах, и лицо его стало совсем добрым.

— Вот что, молодые товарищи,— сказал Алексей Максимович,— давайте знакомиться. Я ведь вас уже немного знаю. Вот в сапогах — это Морозко. А бородач написал прославленную «Неделю»... А вы — Панферов. И «Бруски» ваши получил. С вами у меня еще особый разговор будет. Не думайте, друзья, что Горький сидел эдаким бирюком в Сорренто. Слежу. Читаю. Удивляюсь. Волнуюсь. Сержусь... Да... И сержусь... Я человек не очень добрый. По головке гладить не люблю. Вы уж на меня не обижайтесь.

Он помолчал, нахмурился. Потом просветлел.

— Вот что, молодые друзья. Давайте так. Разговоров с вами об отечественной литературе у нас будет еще немало. Я ведь не в гости приехал, а домой. Но по земле нашей давненько не бродил. И все мне на ней интересно. Пусть каждый из вас расска-

жет, что примечательного видел он за последний месяц. Что больше всего запало ему в сердце... А я послушаю. Мне полезно послушать.

Все растерялись. Мы не были готовы к такому вопросу. Сотни всяких, больших и малых, событий прошли перед нами за этот месяц. Но все они казались обычными, будничными, примелькавшимися. Как же выбрать из них основное, наиболее яркое, выбрать то, что могло бы поразить Горького? Я совсем стушевался со своим громоздким комплектом «Роман-газеты» под мышкой.

— Ну, Саша, благослови,— шепнул мне Панферов.

Он начал первым.

Панферов недавно побывал на Кубани в совхозе «Хуторок» Армавирского округа. Он рассказал о том, как организовалась при совхозе тракторная колонна. Как разгорелась классовая борьба, как восстали против тракторной колонны «лошадники-крепыши», арендовавшие землю у бедняков. Как поддержали их попы всех видов. Как один из проповедников-баптистов вещал: «Тот, кто добровольно пойдет в колонну, не удостоится царствия небесного». Он красочно обрисовал людей новой деревни, партизан-коллективистов...

Панферов был прекрасным рассказчиком и хорошо знал жизнь. Горький слушал с огромным интересом. Смешно шевелил бровями. Широко раскрывал глаза. В одном особо драматическом месте мне показалось, что глаза Алексея Максимовича увлажнились, и он даже смахнул слезу с ресниц.

Никаких вопросов Алексей Максимович не задавал. Когда Федор Иванович кончил, он только сказал будто не нам, а самому себе:

— Так вот вы какой, Панферов...

А потом «вступили» в беседу Фадеев, Либединский... Об ударниках Коломенского завода немного рассказал и я.

Как жаль, что не велось стенограммы этого необычайного собеседования! Хотя кто знает, может быть, стенограмма бы и помешала.

Прошло не менее трех часов. Горький был уже, видимо, утомлен. Надо было кончать...

— Вот что, молодые друзья,— сказал Алексей Максимович. Он встал и, возвышаясь над нами, глядел куда-то вдаль затуманенными глазами.— Интересно. Все это очень интересно. Много вы видите и неплохо рассказываете. Однако чувствую я, что этого мне мало... Не вижу еще. Неясно вижу. А чтобы увидеть, надо мне самому все это посмотреть. Своими глазами. Когда-то я исходил всю нашу землю-матушку. И в ваших местах был, товарищ Александр Фадеев, и, конечно, на Волге, товарищ Федор Панферов... Надо опять по земле походить. Самому узнать новую жизнь. Не с чужих слов. С котомкой сейчас бродить не придется. Ну, наше правительство доброе, даст мне какую-нибудь повозку. Вот и я опять путешествовать начну... А тогда опять соберемся и друг с другом поделимся. А вам спасибо. Большое спасибо...

Так вот и окончился этот разговор 28 мая 1928 года. Горький как-то стремительно поднялся и ушел. Я даже не успел преподнести ему комплект «Роман-газеты» и оставил его на столе.

Мы возвращались с Федей вдвоем по весенним бульварам. С Чистых прудов доносились звуки музыки. Гуляла молодежь. На скамеечках в полутемных аллеях сидели пары.

— Да,— сказал Федя после долгого молчания.— Это он правильно решил... Опять пройти по земле... Прощупать жизнь своими руками...

...Я не думал еще тогда, что слова эти станут основным девизом нашего творческого манифеста и что вокруг этого будущего манифеста развернется долгая и ожесточенная борьба.

4

Незадолго до XVI съезда партии Панферов закончил второй том романа «Бруски». Он сразу же вышел в серии «Новинок пролетарской литературы».

Основным героем второго тома был уже Кирилл Ждаркин. С большой художественной убедительностью показывал Панферов, как проходила борьба Ждаркина не только с кулаками, но и с такими первыми организаторами «Брусков», как коммунист бедняк Степан Огнев, методы которого ведут к разрушению коммуны. Как подлинный художник, показал Панферов и сложные психологические конфликты в душе самого Ждаркина, его внутреннюю борьбу со старыми собственническими инстинктами.

В дальнейших книгах романа намечался путь Кирилла Ждаркина от председателя артели до директора МТС, потом до секретаря горкома партии.

Кирилл Ждаркин стал любимым героем Панферова, которого он вернул на страницы своих новых книг в последние годы своей жизни.

Главы из второй книги Панферов не раз читал товарищам во время дружеских творческих собраний на своей квартире и на квартире Серафимовича.

Никогда не забыть, как присутствовавший на одной из таких читок Павел Артамонович Козловский, к тому времени уже закончивший академию, сказал, хитро прищурив глаз и барабаня по столу могучей своей рукой:

— Так, стало быть, расту, Федор Иваныч?..

— Растешь, Паша, растешь!..

— Ну, смотри, Федор Иваныч, знай меру... А то с большой высоты падать ох как тяжело!

XVI съезду партии пролетарские писатели рапортовали большим списком новых произведений.

Почетное место в этом списке занимали «Бруски» Панферова...

«Мы никогда не мыслили своей работы в тиши кабинетов, в стороне от активной партийно-политической борьбы».

В рапорте говорилось о борьбе с всевозможными идеалистическими теориями в эстетике и творческой практике различных мелкобуржуазных литературных групп.

«Мы обязуемся перед XVI партийным съездом давать и впредь отпор классовому врагу на литературном фронте и примиренцам-«гуманистам», являющимся прямыми пособниками классовому врагу».

Не ограничиваясь рапортом, мы выпустили к съезду большой творческий сборник, в который вошли новые произведения А. Серафимовича, Ф. Панферова, А. Фадеева, Ю. Либединского, В. Киршона, В. Ильенкова, А. Исбаха, А. Суркова, Л. Овалова, М. Платошкина, А. Караваевой, М. Чумандрина, В. Ставского, А. Жарова, Б. Иллеша, С. Швецова, Н. Богданова. Включены были в сборник и стихи только что вступивших в Ассоциацию пролетарских писателей В. Маяковского и Э. Багрицкого. Сборник, проникнутый духом современности, боевым духом партийности, открывался большим очерком Панферова «Городок в степи». Это было вдохновенное повествование о судьбе того самого совхоза, о котором рассказывал Панферов Горькому. Используя материал многократных своих поездок, Панферов рассказывал и о первом этапе борьбы за тракторную колонну, и о создании новых дорог, новых поселков, нового города в степи:

«Смотрю — шоссе тянется километров на шесть, вплоть до станицы Кубанской.

— Хорошо-о.

— Эко,— скажут знатоки,— чего увидел — мостовую!..

Ох, так скажет тот, кто не тонул в сушь на русских дорогах. А меня вот радует эта мостовая, радуют маленькие, новенькие домики, построенные за этот год, радует то, что в парке закладывается «Дом рабочей культуры». И мне хочется крикнуть:

— Вот мы строимся, несмотря ни на что...»

И дальше:

«...Ветер рвет из моих рук проект, от резкого ветра из глаз катятся слезы, а я стараюсь прикрыться от ветряка, с жадностью глотаю строчку за строчкой — и уже представляю это мощное хозяйство будущего комбината».

В очерке рассказывалось о многих людях, об их

напряженной суровой борьбе, о победах и поражениях. О героях и чиновниках, бюрократах, очковтирателях.

Это не была кратковременная творческая командировка. Это был рассказ человека, объехавшего много станиц, знающего жизнь, людей, которые ее созидают. «Заметки на полях» очерка были не только итогами наблюдений, но и советами писателя, органически связанного с деревней, болеющего за нее сердцем, знающего ее неотложные нужды. Писатель сумел не только увидеть, но и сделать глубокое обобщение, не только вскрыть недостатки и осудить их, но и поставить цели, наметить задачи.

Это была страстная партийная публицистика и вместе с тем разведка боем. Первые наброски к будущему большому роману.

5

Поздней осенью 1930 года в Харькове, бывшем тогда столицей Украины, собралась вторая Всемирная конференция революционной литературы.

Советскую делегацию возглавлял Александр Серафимович. В делегацию входили Фадеев, Панферов, Киршон, Ясенский, Огнев, Чумандрин, Багрицкий, Селивановский, Тарасов-Родионов, автор этих строк, украинские писатели Микитенко, Кириленко и многие другие. От Германии — Иоганнес Бехер, Людвиг Ренн, Анна Зегерс, Ганс Мархвица, Эгон Эрвин Киш. От Венгрии, изнывавшей тогда под фашистской пятой Хорти,— нашедшие вторую родину в Москве наши близкие друзья и соратники Бела Иллеш, Антал Гидаш, Матэ Залка, Эмиль Мадарас. От Румынии — Мозес Кахана. От Китая — Эми Сяо...

Впервые приехал в Советскую Россию молодой и горячий Луи Арагон, тогда уже член Французской коммунистической партии.

Писательский поезд «Москва — Харьков» на каждой большой станции с цветами встречали делегации трудящихся.

Советские писатели уже привыкли к той любви, которой народ окружал свою литературу. Но надо было видеть, как волновались горячий, экспансивный американец Майкл Голд, несколько чопорный Бруно Ясенский, экзальтированный Арагон, обычно сдержанный и молчаливый Иоганнес Бехер.

Накоротке говорились горячие речи. Одну из таких речей, кажется в Курске, произнес с площадки вагона Панферов, и собравшиеся на перроне комсомольцы громко скандировали в ответ:

— «Бруски», «Бруски», «Бруски»...

Что говорить, первые две книги романа получили уже широкое признание.

Это было совершенно необычайное путешествие. Ни ночью, ни днем никто не спал. Жаркие разговоры, ожесточенные споры, песни.

Я находился в купе вместе с Фадеевым, Панферовым и Майклом Голдом. Даже при желании улечься на полке, чтобы соснуть час-другой, в нашем купе было невозможно. Оно было всегда переполнено. Рассмотреть собеседника в сплошном табачном дыму было трудно. Аромат крепких, почти махорочных, папирос, которые непрерывно курил Панферов, смешивался с густым запахом заокеанских сигар Майкла Голда.

Разговор шел о «Разгроме» Фадеева, о «Брусках», переведенных уже на десятки языков (на немецком языке «Бруски» вышли под названием «Коммуна неимущих» — «Genossenschaft fon Habenichtse»), о коллективизации сельского хозяйства, о сюрреализме, о Фрейде, о Днепрострое.

Майкл Голд, ероша свою густую черную шевелюру, читал экспромтом написанные стихи, Матэ Залка с неподражаемым акцентом рассказывал анекдоты, а Фадеев, тоже молодой и черноволосый, в неизменной своей блузе с мелкими пуговицами, заливисто, заразительно смеялся и в ответ Залке затягивал одесские блатные песни.

...А потом бурные и страстные споры о роли литературы в международной борьбе пролетариата продолжались с высокой трибуны конференции.

Больше тридцати лет прошло с тех пор, а сегодня, когда я пишу эти строки, возникают передо мной и высокая фигура Людвига Ренна в юнгштурмовке, перекрещенной ремнями, и добродушная улыбка подымающегося, прихрамывая, на трибуну Джиованни Джерманетто, и веселое, румяное лицо никогда не унывающего Матэ Залки.

Я слышу и мягкий, с придыханиями голос Бруно Ясенского, и гневную речь стройного, юного Эми Сяо, и грассирующий певучий выговор Луи Арагона.

Одним из самых волнующих моментов конференции было приветствие от делегации антифашистской юношеской организации Германии.

С молодыми германскими антифашистами, приехавшими из Берлина, мы подружились с первого же дня конференции.

Мы с Панферовым и Чумандриным жили в соседнем номере и часто навещали соседей.

Они прочли уже «Коммуну неимущих» и допрашивали Панферова о многих деталях, интересовались дальнейшей судьбой Огнева, Ждаркина, Стеши.

Я немного говорил по-немецки и служил переводчиком.

А ребята рассказывали нам о своей трудной берлинской жизни, о стремлении к власти фашистов, о баварском пивном путче Гитлера и Рема.

Горячие, юные, непримиримые, они казались нам родными братьями первых наших комсомольцев — бойцов гражданской войны и участников жестоких схваток с кулаками.

Я рассказывал им о героях Триполья, Панферов — о новой деревне.

Мы снялись с ними на память у писательского дома имени Блакитного. Вот она лежит передо мной сейчас, эта старая, уже выцветшая карточка. Ребята в каскетках, юнгштурмовках, с антифашистскими значками, вколотыми в галстуки. Возвышающийся на голову надо всеми Людвиг Ренн в такой

же юнгштурмовке (недавно я показывал ему, семидесятилетнему, эту карточку, и он долго протирал повлажневшие стекла своих очков). Между мною и Ренном юная девушка в берете. Герда Байе. Тонкое одухотворенное лицо. За нами стоит Бруно Ясенский. А рядом взволнованный Панферов обнимает за плечи юных берлинских комсомольцев.

«Крепкий, боевой привет от одной берлинской антифашистки.

Герда»

Это написано на обороте карточки. И адрес: Берлин. Ростокштрассе, 17. Герда Байе...

Карточка была одна. Мы долго спорили с Федором Ивановичем, кому из нас она адресована... Мы ревновали Герду друг к другу... А потом, через пятнадцать лет, в апрельские дни 1945 года, лежа на мостовой Берлина после разрыва фаустпатрона, готовясь к очередной перебежке, я вспомнил о Герде. И я искал в эти боевые дни Ростокскую улицу, где жила Герда, и не мог найти ее среди развалин. Как прожила она эти страшные годы и в каких боях принимала участие? Я верю, глубоко верю, что, если пришлось ей погибнуть, до последней минуты жизни сохранила она тот огонь, который горел в ее глазах в дни нашей харьковской встречи, мужество и веру в победу.

...«Мы надеемся,— сказала Герда с трибуны конференции,— что вы поможете нам в нашей борьбе против фашизма. Рот фронт!»

Юные антифашисты запели «Красный Вединг». И вся конференция подхватила эту боевую песню, слова которой были написаны Эрихом Вайнертом.

И я слышал, как громко пел Арагон, как басил Александр Серафимович, как самозабвенно произносил трудные немецкие слова Панферов:

Линкс, линкс, линкс, линкс,
Дер Роте Вединг марширт...

...Много теоретических докладов и выступлений было на этом форуме. И много песен.

Вечерами после заседаний конференции мы бродили по улицам Харькова и распевали русские, украинские песни, марш «Красный Ведин г», знаменитую антифашистскую «Аванти Пополо».

Впереди всех шагал маленький плотный Матэ Залка, рядом с ним высоченный Людвиг Ренн, похожий на Дон-Кихота. Они не знали еще тогда, что судьба соединит их через несколько лет на испанских полях, что Матэ Залка будет командиром Интернациональной бригады, а Людвиг Ренн — начальником штаба.

У Феди Панферова был глубокий грудной голос. Иноземные слова он произносил как-то особенно мягко и задушевно... Вот и сейчас слышится мне, как он выводит:

Аванти Пополо
Алля рискосса...
Бандиера росса...
Бандиера росса.

— Компано Панферов,— говорит ему, улыбаясь, старый «цирюльник» Джиованни Джерманетто,— вы уже можете составить большую конкуренцию Карузо...

Между большими и серьезными делами находилось время и для шуток и для «розыгрышей».

Харьковский Совет выдал всем делегатам конференции специальные ордера (со снабжением в те годы было еще туговато) на обувь. В магазин пошли мы втроем с Панферовым и Матэ Залкой.

— Давайте устроим розыгрыш,— предложил я,— будто я француз, не понимаю по-русски, а вы меня сопровождаете.

— Лады,— сказал, усмехаясь, Панферов.

— Хорошо, Сашенька,— согласился Матэ.

В магазине они легко выбрали себе обувь по вкусу, а я, изъясняясь по-французски, никак не мог объяснить, что предложенные мне ботинки жмут в подъеме. Переходить на русский язык было уже поздно...

— А,— сказал, хитро улыбаясь, Панферов-пере-

водчик (по-французски он не понимал ни полслова),— наш французский товарищ сердечно благодарит. Заверните ему эту пару.

— Он может говорить на русском только одно слово: мерси,— подтвердил Матэ, еле удерживаясь от смеха.

Ботинки были завернуты и долго хранились без употребления в моем гардеробе как сувенир о харьковской конференции.

В более поздние годы и Панферов и Залка любили рассказывать, как я был французом, и воспоминание об этом всегда вызывало у них безудержный хохот.

...На заключительном заседании, по поручению нескольких делегаций, я предложил кандидатов в президиум Международной организации революционных писателей. Вслед за Барбюсом, Серафимовичем, Бехером, Бела Иллешем я с гордостью назвал Федора Панферова. Он был избран единогласно...

После окончания конференции мы поехали на Днепрострой.

Это была изумительная поездка. Мы опускались в котлованы, поднимались на леса стройки. Величественная панорама раскрывалась перед нами. И высоко на лесах, рядом с Александром Серафимовичем, рядом с французским поэтом Луи Арагоном и немецкой писательницей Анной Зегерс, стоял Федя Панферов.

Он неотрывно глядел в заднепровские дали, и глаза его были одновременно жесткими и мечтательными.

— Я вспомнил Широкий Буерак,— сказал он мне вечером.— И как покалечили Огнева... Я увидел сотни людей, которые собрались здесь в котловане у берегов Днепра, как на огромном ратном поле. И я подумал, что все это будет и на моей родной Волге. Знаешь, как я назвал бы это поле? Котлован Победы...

В середине двадцатых годов первые пролетарские писательские кружки («Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна» и другие) объединились в Московскую ассоциацию пролетарских писателей, которую возглавил Серафимович.

После Всероссийского съезда была создана Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП, потом РАПП).

И РАПП и МАПП вели в те годы ожесточенную борьбу со всякими враждебными идеологическими влияниями. РАПП была основной творческой организацией, проводившей линию партии в вопросах литературы.

Однако в самом руководстве ВАПП уже в 1925—1926 годах возникли серьезные разногласия. Руководители ассоциации вели неправильную, сектантскую политику. Напостовцы (редакция творческого журнала «На посту» — Родов, Лелевич, Вардин) травили всех инакомыслящих писателей, «попутчиков», тормозили развитие растущей советской литературы.

Центральный Комитет партии в своей резолюции 1925 года указал на ошибки напостовцев, осудил политические и сектантские методы руководства, комчванство, свившее себе гнездо в руководстве ВАПП.

Однако вапповские «вожди» — Родов, Лелевич, а потом сменившие их Авербах, Киршон — не сумели, а по существу и не захотели принять резолюцию ЦК как руководство к действию.

Из небольшой группы Ассоциация пролетарских писателей превратилась в массовую организацию. Появилось много новых прекрасных произведений пролетарских писателей — «Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Бруски» Панферова. Все более стирались грани между пролетарскими писателями и так называемыми «попутчиками», такими, как Леонов, Федин, Всеволод Иванов, Катаев, Шагинян и многие другие.

РАПП правильно продолжал теоретическую борьбу с враждебными идеологическими теориями группы «Перевал», со школой Переверзева, с левацкими тенденциями литфронтовцев. Однако в руководстве самой ассоциации все больше расцветало политиканство, администрирование в области литературы вместо творческой работы, групповые сектантские тенденции, которые были осуждены резолюцией ЦК от 1925 года, против которых так решительно и гневно боролся Фурманов.

Тон административного командования стал ведущим в авербаховском руководстве РАПП.

Всякая самокритика глушилась. Осуждались малейшие попытки создания истинно творческой обстановки, развитие творческих течений и групп.

Против этой политики резко выступил старейший пролетарский писатель Серафимович. О вредности подобных тенденций писала «Правда». Однако всякие указания на недопустимость сектантских методов руководства встречались руководителями РАПП в штыки.

Порочность подобной политики, тормозящей развитие советской литературы, особенно бросалась в глаза молодым писателям, привлеченным к руководству ассоциацией,— Шолохову, Панферову, Ильенкову.

В первый «медовый» месяц после выхода «Брусков» авербаховцы, учитывая огромный резонанс романа, старались всячески обласкать Панферова. О нем писали во всех рапповских журналах, его ввели во все руководящие органы. Его даже чрезмерно захваливали.

В 1930 году в статье «Генеральная задача пролетарской литературы» («На литературном посту» № 2) Юрий Либединский, один из основных рапповских теоретиков, писал: «Произведение «Бруски» Панферова *способствует большевизации нашей партии»*.

Ф. И. Панферов вместе с другими руководителями ассоциации принимал активное участие во всей борьбе с рецидивами враждебных классовых

влияний. Но очень скоро он ощутил ту затхлую, сектантскую атмосферу внутри РАПП, которая глушила истинно творческие начинания, которая отгораживала пролетарских писателей от всей растущей и крепнущей советской литературы.

Близкий по духу Фурманову и Серафимовичу, Панферов ненавидел всякое политиканство и комчванские замашки.

И не раз, собираясь у него на квартире, после читки новой главы или рассказа мы сетовали на отсутствие в РАПП истинно творческой обстановки.

Эту нарастающую оппозицию не мог не почувствовать Авербах. Он решил действовать испытанными приемами: «Разделяй и властвуй». Он пытался рассорить Фадеева с Панферовым и сыграть роль примирителя.

Между тем события развивались. Росли и методологические и творческие разногласия. Автор «Недели» Юрий Либединский, хороший и честный писатель-коммунист, к сожалению слепо веривший в ту пору Авербаху, написал роман «Рождение героя».

Читка романа впервые состоялась на квартире Авербаха. Ни Панферову, ни Ильенкову, ни мне роман не понравился. Он был оторван от всей созидательной, творческой жизни страны. Действие в нем развивалось вне времени и пространства... Сказывалось и влияние перевальских теорий о «вечных, стихийных формах жизни», о значении «подсознательного» в формировании человеческих чувств, переживаний, поступков.

А роман появился в дни ожесточенных классовых сражений, в дни боев за коллективизацию.

Между тем Авербах и его ближайшие друзья объявили роман знаменем пролетарской литературы.

Ермилов говорил о «Рождении героя» как о примере овладения методом диалектического материализма.

Панферов сдержанно (это было только начало нашей грядущей внутрирапповской борьбы) выступил с критикой «Рождения героя».

В. П. Ильенков и я поддержали его...

Надо было видеть, какая буря поднялась в кругу напостовцев. Нас объявили чуть ли не изменниками, ненастоящими напостовцами (что могло быть разительнее подобного обвинения!). Нас едва ли не предали анафеме.

Я-то уже привык к подобным методам полемики. Я еще помнил фурмановскую борьбу 1925—1926 годов. Но Панферов был совершенно подавлен.

Борьба развивалась. Тот же Юрий Либединский, который пел хвалу «Брускам», в том же журнале «На литературном посту» написал: «Панферов, нагромождая богатый эмпирический материал, не понимает задачи его осмысливания... В «Брусках»... он не диалектически осмысливает, а механически сцепляет различные стороны действительности... В литературе предстоит вести серьезнейший спор с эмпириками...»

Итак, слово было найдено. Мы были названы эмпириками. Едва ли не «ползучими»... «Рождение героя» — классика пролетарской литературы. А «Бруски» — эмпиризм.

И пошло-поехало... С каждым днем у нас, «строптивых», находили все более серьезные отступления от напостовства.

Мы были слабыми теоретиками. Но мы ясно ощущали, что авербаховское руководство уже явно вредит развитию литературы. И мы начали бой.

Мы создали свою творческую группу, получившую название «панферовской».

Основным лозунгом творческой группы, боровшейся против Авербаха, был лозунг более глубокого изучения жизни, большей близости к нашей современности. «Прощупать жизнь своими руками».

Все чаще собирались мы на квартире Панферова. Много читали, спорили. Это был для нас творческий оазис в рапповском «департаменте», приобретавшем все более казенные, чиновные формы.

Секретарем творческой группы был Борис Горбатов. Он вел протоколы заседаний группы, вел их весело, пересыпая записи о тех или иных принци-

пиальных творческих решениях юмористическими интермедиями, каламбурами, сатирическими зарисовками.

Нашу творческую группу сначала никак не хотели утверждать. В секретариате РАПП (мы находились там в абсолютном меньшинстве) нас «допрашивали», упрекали в заговорах, в нарушении «напостовского единства», мешали нашей творческой работе, осуждали наши новые произведения.

Ошибки рапповского руководства становились все более явственными и опасными.

РАПП объявила «призыв ударников в ряды литературы». Благая мысль о пополнении советской литературы новыми кадрами из рядов рабочего класса была на практике извращена верхушкой РАПП. В литературу «выдвигались» целыми списками. Было много шуму, криков, а истинной работы с молодыми писателями не велось. Царили излюбленные Авербахом помпезность, показуха, очковтирательство.

...Летом 1931 года мы жили с Панферовым и Галиным в Абхазии, в Новом Афоне. Писали, отдыхали от зимних «боев», купались, много ходили по горам. Были мы тогда совсем молодыми и легкими.

Изредка выезжали в окрестные абхазские селения. Побывали в Гудаутах, на родине Серго Орджоникидзе. В одном горном селении нас пригласил к себе в гости старый абхазец Бассет Барцидз.

В кругу, на поляне, абхазские певцы пели песни. Стреляли из старинных ружей и пистолетов. Потом произносились длинные цветистые тосты. За столом было человек двадцать. По обычаю надо было выпить за здоровье каждого. Вино было домашнее, очень кислое. После одиннадцатого тоста Федор Иванович признался мне, что больше не выдержит.

Между тем двенадцатый тост был произнесен молодым учителем и посвящен именно ему, Федору Панферову, автору «Брусков». Учитель был племянник Бассета Барцидза, оказывается, прочел «Бруски» на грузинском языке и очень хорошо и задушевно говорил о Кирилле Ждаркине.

— Я бы хотел, чтобы у вас поучились многие наши критики,— сказал Федор Иванович.— Я счастлив, что здесь, в маленьком горном селенье, знают мою книгу. Для этого стоит жить и писать.

Прощаясь, Федор Иванович пригласил в гости в Москву весь род Бассета Барцидза. В ту зиму я часто напоминал ему об этом смелом приглашении и, ссылаясь на будто бы полученную в редакции «Октября» телеграмму, предлагал выслать на вокзал для встречи гостей четыре автобуса и начинать резать баранов...

Впрочем, если бы многочисленная родня Бассета Барцидза действительно собралась в Москву, знаменитых панферовских пельменей хватило бы на всех, тем более что в тот год он увлекался разведением кроликов и создал на даче целую ферму.

Но Барцидзы так и не приехали.

...Как-то рано утром Панферов зашел в мою келью.

— Ну, Саша... Если говорить по-честному, по-партийному, надо нам прекратить играть в молчанку.

— ??

— Давно пора написать в Центральный Комитет партии о том, что делается в РАПП.

Мы бродили по берегу неспокойного моря. Штормило. Волны с шумом разбивались о прибрежные скалы и обдавали нас солеными брызгами.

Мы, мучительно перебирая в памяти все события и споры последних недель, нанизывали на стержень будущего письма звено за звеном наши разногласия с авербаховцами.

Мы писали этот документ три дня. Хотели отсеять все личное, наносное, все мелкие обиды. Сказать о главном, основном, о том, что мешало жизни и творчеству.

Принципиальные разногласия. Ошибочный лозунг «одемьянивания» пролетарской поэзии. Вредная теория «догнать и перегнать классиков буржуазной литературы». Утверждение «Рождения героя»,

с его «глубинным» психологизмом, как ведущего произведения пролетарской литературы. Сектантский девиз: «Или союзник, или враг».

Политиканство. Администрирование. Показуха. Комчванство. Подавление всякой самокритики. Отсутствие обстановки для работы творческих групп и течений. «Напостовская дубинка», гуляющая по спинам молодых писателей, входящих в нашу группу.

У меня сохранилась последняя страничка этого письма, написанная рукой Панферова:

«... Все это свидетельствует о наличии элементов зажима самокритики в РАПП. Практика последнего времени показывает, что творческое соревнование не развернуто, что творческие группы не растут. Наоборот, проявляется явно нетерпимое отношение (требование представления платформ вместо стимулирования создания крупных произведений, по которым только и можно судить о действительной ценности той или иной творческой группировки), выражающееся в нетерпимой оценке творчества некоторых творческих групп (так, на последнем пленуме РАПП творческая дискуссия о показе героев труда была подменена групповым наскоком на творчество группы Панферова). Все это безусловно тормозит развитие творческого соревнования и подлинной творческой дискуссии в РАПП. Последняя статья в «Правде» — «Создадим произведения, достойные нашей эпохи», подводя итоги полугодовому периоду в работе РАПП, дает совершенно правильную картину и оценку положения РАПП и лишний раз подчеркивает, что основные указания ЦК партии по существу не проводятся в жизнь.

...Выполняя указания ЦК, на базе которых только и возможен дальнейший подъем пролетарской литературы, усиливая партийное влияние в РАПП, воспитывая новые кадры пролетарской литературы в духе большевистской непримиримости, создавая большевистскую принципиальную литературную критику, максимально развертывая самокритику и творческое соревнование, создадим произведения, достойные нашей эпохи».

Три дня мы писали это письмо. Три дня мы думали, посылать его или нет, имеем ли мы право отрывать время у руководителей партии для разбора наших внутренних рапповских дел.

— Нет,— сказал Федя.— Не внутренние это дела. Надо смотреть шире. Надо снять тормоза с литературного движения. К кому же нам обратиться, как не к партии?

И мы послали письмо в Центральный Комитет.

Фронт борьбы все расширялся.

«Правда», Центральный Комитет комсомола, «Комсомольская правда» выступили с резкой критикой позиций авербаховского руководства.

«Правда» опубликовала статью «За перестройку работы РАПП». Статья требовала более широкого показа героев социалистической стройки, обвиняла пролетарскую литературу в отставании от жизни, выдвигая серьезные обвинения против всей политики и практики работы рапповского руководства, требовала «создания товарищеской атмосферы для работы отдельных творческих групп, в частности течения, возглавляемого тов. Панферовым...»

В редакции «Правды» нас всегда тепло принимали и выслушивали. Не одну беседу провел с нами Емельян Ярославский. А авербаховцы устраивали за нами настоящую слежку, старались разоблачить наши вредные «антинапостовские» тенденции на собраниях рабочих литературных кружков.

Нуждаясь в теоретической помощи (у Авербаха-то был целый штат своих присяжных теоретиков, а мы что... мы ведь были практиками, «эмпириками»!), мы едва ли не как на подпольное собрание пришли в Институт Ленина за помощью к философам Митину и Юдину. И они сильно помогли, «подковали» нас. Митин и Юдин написали в «Правду» статью «Пролетарскую литературу на высшую ступень», где говорили о недопустимости противопоставления единой линии партии какой-то особой «генеральной линии РАПП».

В статье резко критиковалась идеалистическая теория «непосредственных впечатлений», развивавшаяся Либединским и нашедшая отражение в «Рождении героя», осуждались противопоставление рационалистического начала эмпирическому, путаница в оценке литературоведческих позиций Плеханова.

Философы обрушивались и на конъюнктурную беспринципную критику «Брусков», практикуемую напостовцами.

Воплощая на практике лозунг Панферова «Прощупать жизнь своими руками», мы опубликовали 1 сентября в «Правде» обращение «Искусство — на службу пролетарской революции». Обращение подписали Ф. Панферов, В. Ильенков, А. Исбах, И. Нович, М. Платошкин.

Напостовцы обвиняли нас в эмпиризме. То, что они называли «эмпиризмом», мы понимали как глубокое органическое проникновение в жизнь. Держать руку на пульсе своего народа. Жить его мыслями, чувствами, переживаниями.

Выполняя поручения «Правды», мы выехали на основные стройки страны.

Мы видели первые сходящие с конвейера тракторы, первые задутые домны. Отблеск первой стали, потоком льющейся из новых мартенов, ложился на наши очерки.

Борис Горбатов — Днепрострой. Магнитогорск. Урал.

Федор Панферов и Василий Ильенков — Сибирь. Урало-Кузнецкий комбинат.

Федор Панферов — колхозы Северного Кавказа. Тракторная станция имени Шевченко.

Борис Галин — Ленинград. «Красный путиловец».

Яков Ильин и Борис Галин — Сталинградский тракторный.

Михаил Платошкин — московские заводы.

Александр Исбах и Михаил Юрин — Баку. Нефтепромыслы и перегонные заводы. (Героические азербайджанские нефтяники выполнили тогда пятилетку в два с половиной года.)

Александр Исбах — Коломна. Дизели. Паровозы.

Фадеев писал тогда в одном из писем:

«Володя Ставский уехал в Тверь изучать рабочую окраину. Они договорились с Исбахом, который уехал в Коломну, переписываться о ходе социалистического соревнования (Коломна и Тверь — соревнующиеся заводы) и потом издать свою переписку. Из этого могло бы получиться нечто очень интересное».

Наша переписка со Ставским печаталась в «Литературной газете».

Мы публиковали свои очерки в «Правде», в «Октябре».

А потом как творческий рапорт выпустили книгу очерков «Твердой поступью». Заглавие сборника определил очерк Панферова «Твердой поступью» — об МТС имени Шевченко. Очерк был посвящен преобразованию целого края, ведущей роли МТС, которая объединяла сто четыре колхоза.

Сами заглавия этих горячих, прямо с поля боя, очерков звучали как боевые донесения о людях, о борьбе, о победе:

Ф. Панферов и В. Ильенков — «Бетон». «Кокс. Люди. Огнеупор». «Котлован победы».

Ал. Исбах — «Борьба за промысел». «Турбобур».

М. Юрин — «Наступление на море».

Бор. Галин — «Линия блоков»...

«Земля, спрессованная тысячелетиями и скованная морозами, упорно сопротивлялась людям. Пятидесятиградусный сибирский мороз одел ее трехметровой броней мерзлоты, звеневшей под ударами лома. Но людям нужно было строить — они не могли ждать теплых дней...» — так начинался очерк «Бетон» и кончался так:

«Бетон состоит из одной части цемента и шести частей гравия. Эта смесь в котловане застывает серыми усеченными пирамидами. На пирамиды поставят колонны. На колонны ляжет стотонный электрический кран. Он уложит на бетонные подушки рельсо-балочный стан весом в две с половиной ты-

сячи тонн. Через валки прокатного стана скользнет огненная змея и остынет синеватым звенящим рельсом. Это будет первый кузнецкий рельс...

Бригада Стасюка состоит из одной части пролетарского цемента и шести частей крестьянского гравия. В бригаде эти люди слились в коллектив, сцементированный организованностью и дисциплиной сознательного труда. На эту бригаду можно смело, как на бетонный башмак, отлитый стасюковской бригадой, опереться в стройке.

— Делать бетон и делать новых строителей социализма!»

«Класс творит. Мы живем в эпоху великого творчества»,—кончается очерк «Кокс. Люди. Огнеупор»...

«Мы все тут зараженные построением социализма»,— говорит герой «Котлована победы»...

Руководители РАПП расценили выпуск сборника «Твердой поступью» как групповую вылазку эмпириков-панферовцев...

Что было с ними делать? Борьба продолжалась.

Резкое письмо в ЦК отправил Александр Серафимович.

...Нас вызвали в Центральный Комитет партии.

7

Заседание в Секретариате ЦК было назначено на 7 часов вечера. Но, конечно, ни о какой работе в тот день не могло быть и речи. С самого утра мы собрались у Панферова. Из панферовской группы кроме самого Федора Ивановича в ЦК были приглашены В. П. Ильенков и я. (Мы трое входили в секретариат РАПП, являясь в нем, так сказать, «парламентской оппозицией», крайним меньшинством. А. С. Серафимович последнее время участия в работе РАПП не принимал.)

Еще и еще раз перечитывали мы наше письмо в ЦК, намечали тезисы выступления Панферова (он

должен был говорить от лица группы), советовались об основных пунктах, даже об интонациях.

Мы должны не обороняться, а наступать. Мы должны рассказать об истинном положении дел в РАПП, объяснить, что речь идет не о групповой борьбе, а о принципиальных, теоретических разногласиях, о путях развития пролетарской литературы.

В свое время, когда руководство РАПП было еще единым, мы не раз бывали в Кремле. Там, на квартире известного государственного деятеля Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, тестя Леопольда Авербаха, собирались, бывало, пролетарские писатели, читали новые произведения, спорили, слушали музыку, танцевали.

Авербах, Киршон, Либединский были в Кремле, что называется, своими людьми.

Но на заседании Секретариата ЦК мы были впервые.

Во главе большого стола, покрытого зеленым сукном, сидели знакомые по портретам члены ЦК.

Тут же за столом разместились напостовцы: Авербах, Киршон, Ермилов, Селивановский. Склонившись над столом, что-то быстро писал Фадеев.

По другую сторону стола (это очень обрадовало нас) разместились Емельян Ярославский, секретарь ЦК комсомола Косарев, философы Митин и Юдин.

А вот, чуть подняв руку, поблескивая молодыми глазами из-под седых бровей, приветствует нас Александр Серафимыч...

Все боевые силы собраны на поле сражения.

Наша тройка разместилась около Серафимовича, напротив Киршона и Либединского...

Три часа, целых три часа слушали нас члены Центрального Комитета.

Выступал Авербах. Как всегда, резко, на первый взгляд чрезвычайно убедительно, с десятками цитат, подготовленных его адъютантами. Говорил о заслу-

гах РАПП в борьбе с троцкистами, с перевальцами, с переверзевцами. О твердой линии напостовцев и о попытках разрушить рапповское единство. И как-то так у него получалось, что имеются две линии: партийная и напостовская. И напостовская не противоречит, конечно, партийной, но она главнее.

О нас, панферовцах, говорил он обидными, презрительными словами, мы оказывались склочниками, рвущимися к власти. (К какой власти?!) И вообще спорить с нами, с ползучими эмпириками, он считал ниже своего достоинства (старый испытанный прием Авербаха).

Панферов отвечал несколько сбивчиво, клочковато. Он очень волновался и никак не мог уложиться в положенные ему минуты.

Теории он почти не касался. Приводил только примеры авербаховского администрирования и зажима самокритики.

Более гневно о сектантстве напостовцев, о возникшей в РАПП душной атмосфере, о пресечении всякого творческого соревнования говорил Серафимович.

Теоретические ошибки Либединского, Селивановского, Ермилова разбирал Павел Федорович Юдин. Он говорил и о меньшевиствующем идеализме и о порочности идеалистической теории «непосредственных впечатлений».

Особенно убедительной была та часть его речи, где он говорил о принципах напостовской групповой критики, о том, как восхваляли и как потом низвергали Панферова. «Или бац в морду, или ручку пожалуйте...»

Юдину возражал Киршон. Емельян Ярославский рассказал, как «Правда» старалась помочь рапповскому руководству и как напостовцы принимают в штыки любой дружеский партийный совет, противопоставляя линии партии свою «генеральную» линию.

Атмосфера все накалялась. Кончался третий час заседания. Ни о каком «сближении точек зрения» не могло быть и речи.

Опять выступал Панферов, рассказывал о том, как глубоко следует проникать в жизнь, как на практике осуществляется лозунг нашей творческой группы: «Прощупать жизнь своими руками».

Снова в резкой и даже грубой речи Авербах обвинял Панферова в эмпиризме, в ограниченности мышления...

Совещание окончилось. Члены ЦК ушли. За ними ушли «правдисты» и философы. Но мы не расходились. Тут же в зале открылось заседание фракции секретариата РАПП. Председательствовал Фадеев. Он сообщил о том, что Авербах командируется в провинцию на партийную работу.

Опять почти до утра скрещивались мечи, и густые облака дыма застилали поле сражения.

8

И все же руководители РАПП не выполнили указаний ЦК о развитии творческого соревнования.

Литературное движение все ширилось. Нельзя было двигаться дальше в карете прошлого.

Сектантская политика напостовского руководства восстанавливала против РАПП все большее количество писателей.

Было созвано Всесоюзное критическое совещание. Председательствовавший на нем Фадеев горько жаловался, что отсутствуют на нем как раз те, кто должен был быть,— писатели и критики.

15 февраля 1932 года «Правда» опубликовала резкую статью Серафимовича, Панферова и Ставского — «За партийность литературной критики» (к итогам критического совещания РАПП).

«Призванные в литературу» ударники жаловались, что с ними шумно носятся, когда нужно сделать парад, и совершенно забывают, когда нужна повседневная кропотливая работа.

Беспринципная групповая борьба становилась все обостренней.

Желая создать мнимое впечатление о своей опоре

на массы, авербаховцы сформировали из своих приверженцев группу «Напостовская смена». Группа эта специально занялась травлей Панферова и его друзей.

17 марта в «Литературной газете», все время ведущей полемику с «Правдой» и «Комсомольской правдой», было напечатано «Открытое письмо В. Ильенкову, А. Серафимовичу и группе Ф. Панферова». В письме этом Серафимович, Панферов и Ильенков обличались во всех смертных грехах и главное — в отказе от метода диалектического материализма.

23 апреля «Правда» напечатала статью Павла Юдина «Против извращения ленинского учения о культурной революции, о социалистическом характере пролетарской культуры, создаваемой в эпоху диктатуры пролетариата».

Напостовцы в групповом азарте обрушились и на эту статью Юдина. (Характерно, что резкие нападки на Юдина, с перечислением всех заслуг РАПП, были опубликованы в журнале «На литературном посту» № 11, уже после исторической резолюции ЦК от 23 апреля. В статье о резолюции этой не упоминалось ни словом!..)

А в этот же день, 23 апреля, грянул наконец гром.

Центральный Комитет партии принял историческое решение «О перестройке литературно-художественных организаций».

«Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства.

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фаб-

рик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАПМ и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества...

Исходя из этого ЦК ВКП(б) постановляет:

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем...»

...В ночь на 24 апреля меня разбудил телефонный звонок...

Возбужденный голос Федора Ивановича:

— Саша!.. Свершилось...

— Что?

— Ты еще спрашиваешь! Решение Цека. РАПП распущена. Только что мне звонил Емельян Ярославский.

Признаться, в первый момент меня кольнуло в сердце. Как распустили?.. Ведь столько лет связано с этой организацией! И были средь этих лет многие настоящие, хорошие боевые дни, когда мы все вместе, плечом к плечу боролись против врагов, когда радовались творческим успехам товарищей. А успехов этих было немало.

Правда, потом все это изменилось. И кто знает, сколько лет жизни отняла у нас политиканская деятельность Авербаха. Да еще во времена Фурманова...

И, точно подслушав мысли мои, говорит в трубку Панферов:

— Знаешь, что подумал я сейчас: жаль, нет Фурманова. Ох, как нужен он сейчас нам!

— Федя,— сказал я,— мне сейчас как-то трудно осмыслить, что произошло. И радостно, что кончилась «диктатура» Авербаха... И немного грустно — все же столько лет...

— А ты, Саша, без слезы... Подумай о том, как

очистится атмосфера... Сколько работы впереди. Так твердо, прямо, решительно может поступить только наша партия, наш Цека. Ну, Саша, с новым годом... Ложись спать. Следующую ночь спать не придется...

Следующую ночь спать действительно не пришлось.

24 апреля, в день опубликования решения ЦК, мы собрались на квартире Александра Серафимовича. С тех пор прошло уже больше четверти века, и не всех участников этой встречи я могу вспомнить. Пришли Ф. Гладков, Ф. Панферов, В. Ильенков, Б. Горбатов, Б. Галин, В. Билль-Белоцерковский, П. Юдин, И. Нович. Пришел и секретарь ЦК комсомола А. Косарев. Помню, что он только недавно сделал глазную операцию и все спрашивали его о здоровье.

Помолодевший, оживленный Александр Серафимыч читал нам наметки будущей своей статьи.

— Ну как, Саша,— спросил меня Федор,— грусть твоя прошла или щемит немного? А тебе ведь от них изрядно досталось. Все тело в синяках... Эх ты, лирик-романтик... Вперед смотри!..

В ответ на решение ЦК мы решили подготовить коллективный альманах о современности. Редактирование сборника поручили Панферову.

Разъехались по стройкам. «В путь-дорогу, эмпирики! — напутствовал нас Федор Иванович.— Прощупать жизнь своими руками!..»

9

Вместе с Панферовым и Галиным мы летим по заданию «Правды» в Свердловск. Большое событие в жизни страны: вступает в строй гигантский Уралмаш.

Это наш первый большой полет. Шутка сказать — 12 часов в воздухе (теперь за 12 часов можно долететь до Владивостока)! Панферов и Галин вообще летят впервые. Федор Иванович с интересом

смотрит в окно на пролетающую землю, смеется, острит. А Боре Галину не до пейзажей. В воздухе чувствует он себя неважно... Ну да ничего... Первое воздушное крещение... Сколько раз еще придется ему в грядущие годы пересекать воздушные просторы... Над Советским Союзом, над Европой, над Китаем...

Самолет резко снижает высоту. Кажется, что мы ныряем в глубокую воздушную яму. Мы хватаемся за пояса, но они уже не нужны. Наши испытания кончаются. Под нами спичечными коробками расстилается город, в котором доживал последние дни последний российский самодержец. Старый город Екатеринбург, новый советский Свердловск.

Искрятся на солнце, словно драгоценные самородки, точки озер. Свердловск, точно богатым самоцветным поясом, охвачен серебряной лентой прудов.

Чуть заметными облачками дымятся трубы векового Верхне-Исетского завода. Мы совсем низко. Можно уже различать людей. И словно новый город, средь леса возникают под нами новые корпуса Уралмаша. Завод заводов. Сильнейшая крепость нового Урала точно в стекле стереоскопа встает перед нами и моментально исчезает...

Мы идем на посадку... Федя Панферов ловко соскакивает с последней ступеньки трапа. Помогаем спуститься Боре Галину. Он бледен как бумага.

«Назад к волам!» — трагикомически восклицает, почувствовав под собою землю, Галин...

Поздно ночью сидим мы в кабинете секретаря Уральского обкома партии. Высокий, грузный, кряжистый, он шагает по кабинету, говорит медленно, увесисто, словно обдумывая каждое слово. Синяя карта висит на стене. Карта густо усеяна большими и малыми точками. Секретарь ведет нас от точки к точке, и они вырастают перед нами заводами и рудниками. А рядом, точно объяснительная записка к карте, переливаются под электрическими лучами осколки уральских недр, сотни камней — образцов богатств, покоящихся в уральской земле.

Секретарь встряхивает на ладони матовую ме-

таллическую звезду. Звезда переходит в наши руки. Она кажется совсем невесомой.

— Металлический магний,— оживляется секретарь,— будем разрабатывать металлический магний. Немалые у нас залежи,— добродушно улыбается он.

Уралмаш. Соликамские калийные богатства. Домны Магнитной горы. Березники. Синяя карта оживает перед нами, и осколки камней лучатся теплым светом в наших руках.

— А люди, которые разрабатывают эти породы, которые строят эти заводы заводов,— что вы скажете о людях?

Федор Панферов пытливо вглядывается в лицо секретаря. Борис Галин все еще взвешивает на ладони такую легкую металлическую звезду.

— Поговорим о душе,— предлагает Панферов.

Секретарь задумывается. Он глубоко опускается в кресло, облокачивается, перебирает в памяти десятки встреч. И вот он опять говорит. Теперь он рассказывает о людях, о людях старого и нового Урала, о наших будущих героях.

15 июля 1928 года, ровно через девять лет после поражения адмирала Колчака, был заложен первый камень цеха металлических конструкций Уральского машиностроительного завода. Первоначальный проект завода был рассчитан на 18 тысяч тонн. Но страна строится. Все новые точки возникают на карте — уральская металлургия требует машин. И 18 тысяч вырастают до 100.

Уралмаш становится мастерской гигантов, заводом, производящим заводы. Доменные печи, мартены, блюминги, газогенераторы, металлические скелеты будущих заводов рождаются в цехах Уралмаша.

Впервые в СССР здесь устанавливается пресс в десять тысяч тонн. Весь мир имеет семь подобных прессов. Задача Уралмаша не только установить, но и производить такие прессы.

Здесь, в этих гигантских пролетах, на площади механического цеха, раскинувшегося на десятки тысяч квадратных метров, будут рождаться новые машины, новые цехи, новые заводы Советской страны.

Уложенные в ящики, лежат первые выпущенные пушки Брозиуса, рожденные здесь, в цехе. Они готовы выйти в мир. Они покидают свой родильный дом. Их ждут тульские, липецкие, кузнецкие домны.

Мы шагаем по широкому проспекту меж цеховых корпусов. Словно закованные в броню часовые, стоят по обочинам проспекта колонны для подъемных кранов. Десятки солнц горят в рефлекторах прожектора, установленного на первом механическом. Жарко. Сотни людей пересекают во всех направлениях заводский двор. Завод сбрасывает с себя леса стройки, завод украшается. У заводских ворот зеленеет большая клумба. И маленькие наивные головки маргариток покачиваются при каждом дуновении ветерка. Десятки садовников работают бок о бок с малярами, монтажниками и штукатурами. Весь Свердловск помогает в эти дни заводу.

Стучат молотки, разбивая камень, скрипят краны. Пахнет известкой, смолой, горячим асфальтом...

В конце проспекта слышен резкий треск автогена. Голубыми искрами вспыхивают вольтовы дуги.

Цех металлических конструкций. Это здесь начинался Уралмаш. Это здесь собирались первые конструкции завода заводов.

Мы встали сегодня чуть свет. И первым человеком, которого мы повстречали на заводском дворе, был... Емельян Ярославский.

Это была первая встреча с ним после того памятного заседания в Секретариате ЦК. Он прилетел на торжество пуска Уралмаша еще накануне и был здесь уже, что называется, «старожилом».

— Ну, братья писатели,— сказал, посмеиваясь, Емельян Михайлович,— вот где для вас материалу край непочатый. Здесь вам не спорить о том, что такое образ живого человека, а видеть этого самого человека в жизни, так сказать, на поле боя.

— Прощупать жизнь своими руками,— повторил Панферов свою любимую фразу.

— Вот-вот,— подтвердил Ярославский.— Здесь и воздух другой. Жизнетворящий.

В сталелитейном цехе новая встреча. Народный артист республики Александр Яковлевич Таиров. Оказывается, московские театры тоже прислали свою бригаду на торжество.

Таиров оживленно беседует с коммерческим директором завода. Они не замечают нас сначала. Удается уловить конец разговора.

Коммерческий директор недавно прибыл из Парижа и, видимо, хочет не ударить лицом в грязь перед старым «европейцем» Таировым.

— А вы помните, Александр Яковлевич, Елисейские Поля,— какая красота, какой «шарм»!..

А Таиров, видимо, наоборот, хочет показать себя совсем демократом, что называется, свойским парнем:

— Отчасти, отчасти, мой дорогой. Но я считаю, что настоящая красота, настоящий «шарм» у вас здесь.— И он театрально разводит руками, подымая их к высокому стеклянному куполу цеха.

— Вот и договорились,— смеется Федор Иванович.— Понимаешь, какая игра идет. Однако это хорошо, что и Таиров на Уралмаш приехал... Все-то мы спорим, как создавать «Магнитострой литературы». В высоких словах завязли. А настоящая жизнь не терпит высоких слов... Ой, не терпит, Саша...

Свой первый очерк об Уралмаше Панферов посвятил рядовым людям, стоящим у станков нового завода-гиганта. Он рассказал об их прошлой тяжелой жизни, об их замечательных судьбах, об их труде, учебе, отдыхе, радостях и горестях.

«Город растет. Снесены низенькие, приземистые, с крепкими воротными запорами, с волкодавами на цепях, домики купцов, хлеботорговцев, фабрикантов. На их месте выросли, высятся, поблескивая электричеством, новые многоэтажные дома. Новый Свердловск задавил, стер старый, дряхлый «Катеринбурх».

Побывал Панферов и в других городах Урала. Особенно пришелся ему по душе Челябинский тракторный завод. Встретил он на этом заводе старого

крестьянина, человека трудной судьбы, одного из своих излюбленных героев и, конечно, не мог не написать о нем в очерке: «Трюфилькин долго стоит у конвейера. По конвейеру движется 60-сильный трактор... Трактор, будто крякая, двигается к гусеницам. Они лежат впереди мертвыми лентами, и трактор ворочает, кряхтя двигается на них... Затем он как-то припрыгнул и словно с разбега сунул ноги в бронированные своеобразные калоши.

— Обулся,— в общем молчании проговорил Трюфилькин, и глаза у него загорелись...»

«Кто это говорил, что у нас нет тем для писателя? — заканчивал Панферов свои уральские очерки.— Любая тема, взятая из нашей действительности,— мировая тема...»

В Свердловск мы прибыли по воздуху. Обратно решили двигаться по воде. Из Свердловска — в Пермь. Из Перми по Каме и Волге до Нижнего Новгорода.

Это была замечательная поездка по великим русским рекам.

Ехали мы артельно (к нашей тройке присоединился писатель-правдист Эрлих). Все финансы собрали и сдали казначею — Панферову. Он ведал питанием и закупкой продуктов.

Но тут не обошлось без чепе. У Федора Ивановича была широкая натура. Он любил выходить на всех речных пристанях и «сорить деньгами», скупая арбузы, яблоки, помидоры.

Однажды на какой-то маленькой пристани я задержался в каюте. Слышу взволнованный крик Галина:

— Саша, сюда!

Стремглав бросился на палубу: не утонул ли кто?..

По трапу подымается веселый, довольный Панферов с двумя большими корзинами рыбы.

— Он скупил всю рыбу на берегу! — трагически восклицает Галин.

Это были наши последние деньги. Ухой мы были обеспечены. Но чай пили без сахара...

По утрам мы писали, стараясь не мешать друг другу, а долгими закатными вечерами сидели на корме, вдыхали речную прохладу, вглядывались в мерцающие на берегах огоньки.

И Федор Иванович рассказывал о жизни своей, о людях, которых встречал, о Баку, о Волге, которую любил беззаветно и с которой связаны все лучшие его произведения.

Он был изумительным рассказчиком. Много позже, встречая в его книгах эпизоды, о которых слышал я и тогда, на Волге, и в других наших беседах, думал я о том, что на страницах книг теряли они подчас ту непосредственную свежесть, ту неповторимую правдивость без всяких прикрас и приправ, которая так покоряла нас в первом бесхитростном и густом, как сама жизнь, изложении.

В одну из темных, беззвездных ночей наш пароход наскочил на плоты. «Кораблекрушения» не произошло, но паники было много. Крики. Шум. Суматоха. Надо было расцеплять пароход и бревна. Главное участие в операции принял Панферов. Мокрый с головы до ног, он соскакивал на плоты, командовал, руководил. Таким вот, живым, подвижным, веселым, с огромным багром в руке, он и запечатлелся в моей памяти на всю жизнь.

...В 1933 году мы выпустили в свет альманах «1933 год». Это был коллективный рассказ о боях и победах рабочих и колхозников, мастеров и инженеров, о первых тракторах, о первых автомашинах, об угле, руде и нефти, о бескрайних полях и о цветущих садах нашей родины, о людях, которые преобразуют лицо земли.

Сборник открывался картой и статьей о планах второй пятилетки.

Панферов писал о Милость-Куракинской МТС (Северный Кавказ), о Центральной Черноземной области, о колхозах Мордовии, Средней Волги, об Уралмаше и Челябинском тракторном заводе.

Он писал о прошлом, настоящем и будущем, о сложном и нелегком пути людей, становящихся хозяевами земли и машин. Это были боевые донесения с полей сражений и первые наброски будущих книг.

10

Панферов был неутомимым путешественником.

Наши совместные поездки по стране всегда были очень интересны и поучительны. Их было много, этих поездок, и рассказать о всех невозможно.

Не раз посещали мы Коломну. С Коломенским районом я связан был много лет и в порядке шефства частенько привозил туда наших именитых писателей.

В районе была создана одна из первых в Подмосковье сельскохозяйственная коммуна. Во главе коммуны стоял мой старый товарищ, член бюро окружного комитета комсомола Ваня Карпов.

Это был энтузиаст, который в бытность свою секретарем волкома комсомола в любую погоду — в дождь и в снег, в грозу и бурю, не считаясь с расстоянием, ежедневно обходил свои ячейки, помогал, учил, воспитывал молодых комсомольцев. Вся канцелярия его помещалась в старом сыромятном голенище, которое он носил под мышкой, совершая свои обходы «по волостному радиусу».

Этот-то Ваня Карпов и возглавил в конце двадцатых годов Якшинскую коммуну. Слава о ней разнеслась не только по всему округу, но и по Московской области.

Я не раз бывал в гостях у Вани. Все нравилось мне в коммуне. И то, что крестьяне отказались от частной собственности и многие жили в общежитии — в большом, старом помещичьем доме. И то, что обедали в общей столовой, где на стол подавалась огромная сковорода с шипящей яичницей. И даже то, что коммунары так и поглощали эту яичницу прямо со сковороды. И то, что создали в коммуне первые ясли. И то, что по выходным дням

собирались все вместе у старого, видавшего виды помещичьего рояля и пели хоровые песни.

Мне казалось, что это и есть настоящий коммунизм. И я не мог не привезти в коммуну автора «Брусков».

Мы пробыли с Панферовым в Якшине два дня. Он тоже ел яичницу с общей сковороды и подпевал песням. Но он, природный крестьянин, больше интересовался сельскохозяйственным процессом. Он обошел поля, скотный двор, все службы. Он придирчиво допрашивал животновода, сам осматривал каждую корову, интересовался кормами и состоянием силосных ям. (Вот уж в чем я, городской житель, ничего не понимал!)

Мне казалось, что он мрачнел с каждой минутой. Перед отъездом Ваня Карпов собрал всех коммунаров для встречи с писателем. Панферов был очень сдержан. Он говорил о мужестве и благородных замыслах коммунаров. Но он обратил их внимание на такие серьезные изъяны в организации труда, в ведении хозяйства, о которых я, конечно, не мог иметь никакого представления. И слушали его с большим, настороженным вниманием.

На обратном пути Федор Иванович был хмур и молчалив.

— Вот они дела какие, Саша,— сказал он усмехаясь.— Я, конечно, ценю твой энтузиазм. Но в деревенских делах ты разбираешься слабовато. Желаемое принимаешь за сущее. Конечно, твои коммунары люди хорошие. А Ванюша Карпов просится в книгу. Но ты увидел только вершки. И общая сковорода — это далеко не коммунизм. Основное — труд. Организация труда...

Много горьких истин поведал мне в тот вечер Панферов в маленьком номере коломенской гостиницы. Может быть, именно тогда я стал лучше понимать, почему он столкнул в своем романе Огнева со Ждаркиным, почему осудил всю линию Огнева, любимого своего героя, осудил сурово и беспощадно.

— Глубже, глубже надо копать жизнь, Саша. И сопли не распускать по каждому, пусть и примеча-

тельному, случаю. А впрочем, за Якшинскую коммуну тебе спасибо. Она и меня заставила много о чем пораздумать.

Мой радужный очерк о «героях коммуны» был уже напечатан в одном из журналов, и я не мог его изъять, что сделал бы с горьким удовольствием.

Но Федор Иванович написал большую статью, целую брошюру о том, что видел он в Якшине, и статья эта раздвигала горизонты одного коллектива. От частного Панферов переходил к общему. Он писал о методах организации труда, о мнимом, поверхностном, парадном коллективизме, который потерпит крах при первом суровом испытании, и о сложных процессах воспитания человека, преодоления вековых собственнических чувств.

Это была тема, постоянно волнующая его, прозванного авербаховцами «ползучим эмпириком». Недаром страницы романа «Земля» Эмиля Золя, который он одолжил у меня без возврата, были обильно усеяны его жирными восклицательными и вопросительными знаками, замечаниями и комментариями на полях.

Вспоминается и другая наша поездка в Коломну, носившая уже скорее развлекательный, чем познавательный характер.

Панферов был страстным охотником. Охотник был и тогдашний секретарь Коломенского окружкома партии.

Секретарь пригласил нас на совместную охоту в Коломенском заповедном лесу.

И вот втроем (третьим был тоже заядлый охотник Василий Павлович Ильенков), с огромным охотничьим псом (трое в одной «эмке» и собака), мы мчимся по Рязанскому шоссе. Охота предстоит серьезная. На вальдшнепов. Я, собственно, мало разбираюсь, чем отличается вальдшнеп от утки. Но стараюсь поддерживать общие охотничьи разговоры и не выказывать своей неграмотности.

Секретарь окружкома, срочно закончив заседание бюро, присоединяется к нам на месте сбора — в Доме приезжих Коломзавода. Мы сидим в номере,

проверяем снаряжение. Ружья. Патронташи. Какие-то сумки. Банки. Склянки... В общем, коломенские тартарены... Ждем поводыря — техника арматурного цеха, местного знаменитого охотника, дотошно знающего все места.

Досадная задержка. Оказывается, он в отпуске и за ним отправились в поселок.

Наконец является техник — щупленький мужчина в бушлате.

— Вальдшнеп? Нет, я специалист по уткам. На вальдшнепа, извините, не пойду.

Общее разочарование...

Второй оторванный от домашнего очага охотник — машинист маневрового паровоза Овечкин — оказывается специалистом по тетеревам.

Уже глубокой ночью в нашем номере, где атмосфера предельно накалена и ружья могут сами открыть огонь, появляется огромный усатый мужчина в брезентовой робе — местный пожарник, специалист по вальдшнепам.

Мы мчимся в заповедник, чтобы не опоздать к зорьке.

Пожарник быстро уводит секретаря, Панферова и Ильенкова с собакой, чтобы расставить их на места.

Я, видимо, не произвожу на него впечатления Вильгельма Телля, и меня он напоследок пристраивает в какое-то болото и говорит, как надо спускать курок (у меня в руках совершенно незнакомая мне двустволка).

Я безнадежно стою в болоте. Темно. Холодно. Мокро. Со всех сторон бешеная пальба. А на меня не летит никакой вальдшнеп.

Наконец, когда совсем уже рассветает и надо возвращаться к костру, я замечаю какую-то птицу на ветке. Вскидываю ружье, стреляю. Птица падает. Я радостно хватаю ее и гордо несу к месту сбора.

Тартарены уже сидят у костра. Около них добрый десяток птиц.

Я тоже независимо и величественно протягиваю своего вальдшнепа.

Взрыв хохота. Панферов катается от смеха по земле. Вот-вот он ввалится в костер.

— Саша... Ты просто гениальный охотник. Тебе надо поставить памятник. Натуральная ночная сова. Ты знаешь, она чем-то очень похожа на Бориса Пильняка. Мы сделаем из нее чучело и повесим в редакции «На литературном посту» как символ бдительности...

Я стою обескураженный, осмеянный. А потом начинаю смеяться вместе со всеми.

Возвращаемся в Москву веселые, посвежевшие. Опять бесконечные охотничьи рассказы, а в центре всего, конечно, моя ночная сова.

...С виду всегда сосредоточенный и даже хмурый, Панферов любил веселых людей, шутки, розыгрыши.

Одно лето Федор Иванович проводил в Репном, близ Воронежа, в доме обкома партии (он дружил с секретарем обкома Иосифом Михайловичем Варейкисом, человеком исключительной энергии).

Я приехал к нему на неделю посоветоваться по творческим делам, показать некоторые рукописи «Октября». Панферову в ту зиму хорошо писалось, и он был в великолепном настроении.

— Знаешь что, Саша,— сказал он мне вечером.— Деловые проблемы на сегодня закончены. Предстоит мировой бильярдный турнир. Я тут пустил слух, что ты величайший бильярдный мастер. Чуть ли не чемпион Москвы и ее окрестностей. Ну вот, вечером и приедут из Воронежа местные чемпионы тебя посмотреть и себя показать. Лады́?

В бильярдном искусстве я был истым профаном. Но участвовать в розыгрыше согласился.

Вечером действительно приехали мастера. С ними явился и гостивший в Воронеже поэт Александр Жаров. Панферов посвятил его в наш заговор, и Жаров примкнул к «заговорщикам».

Против меня выставили чемпиона Воронежа.

Я долго выбирал кий, смотрел его на свет, мелил сложными зигзагами.

Напряжение игроков и болельщиков все нарастало.

Для начала решили играть «американку».

Выставили шары. Мне предоставили право первого удара. Панферов и Жаров громогласно расхваливали мои достоинства. Я ударил кием, сильно опасаясь, как бы не порвать сукно.

Случилось так, что шар, удачно скользнув по пирамиде, упал в угловую лузу.

Все ахнули. Мой соперник побледнел.

Панферов искренне удивился и тут же восславил меня.

Что говорить. Истинное мое бильярдное мастерство выявилось уже при третьем ударе, когда я чудом сумел вообще не попасть ни в один из шаров, в обилии расположенных по всему столу. И соперник мой и болельщики сначала смутились, а потом начали подозревать что-то неладное, тем более что Панферов и Жаров еле удерживались от смеха.

Но апофеоз наступил, когда я, неважно разбираясь в бильярдной терминологии, назвал шар № 10 — шаром Ю.

— Как, как? — почти зарыдал от смеха Панферов.— Шар Ю? Саша, какой гениальный актер в тебе пропадает!

Заговор был раскрыт.

Партию, конечно, я проиграл всухую. Все смеялись до упаду. Панферов не преминул вспомнить и историю с вальдшнепом.

Это была прекрасная разрядка после трудового дня.

А ночью, проходя по коридору, я заметил свет, льющийся из плохо прикрытой комнаты Федора.

Я заглянул в щель... Склонившись над столом, Панферов быстро писал. Иногда останавливался, что-то зачеркивал и опять писал без перерыва. Разрядка кончилась. Продолжался труд.

...Бывали мы не раз и в Бобриках на стройке замечательного химического комбината.

Писали в газетах и журналах о лучших ударниках стройки, о бригаде комсомольца Белобрагина, о труде поистине самоотверженном и вдохновенном.

— Только прикоснешься к такому труду,— гово-

рил Панферов,— и чище становишься душой. И писать хочется, писать об этих простых людях, которые сворачивают горы.

На торжество пуска комбината выехала целая бригада — прозаики, поэты, критики, артисты.

Там, где еще в прошлый приезд было разливанное море грязи, в котором чуть не утонул наш критик Ольга Войтинская (мы с Панферовым едва вытянули ее из засосанных грязью резиновых сапог),— там раскинулись бетонированные проспекты.

Сотни стекол в оконных переплетах главного цеха горели на солнце.

Ожидался приезд Серго, которого, признаться, побаивались. Рассказывали, что на одном новом заводе, заметив недомытые стекла, Серго чуть не приостановил приемку предприятия. Ничего нельзя оставлять на завтра. Сегодня грязное окно, завтра — захламленный цех, послезавтра — брак на производстве.

Он не терпел никакой «липы», Серго, и сурово осуждал показуху.

На одной из новых машин был прилеплен большой лист коричневой бумаги: «Собрание бригадиров завтра в красном уголке».

— Сорвите, — посоветовал Панферов. — Немедленно сорвите. Увидит Серго — влетит. Пачкаете новые машины. Захламляете цех...

Перед самым торжественным вечером мы собрались в комнате народного артиста Москвина. Иван Михайлович рассказывал о своих встречах с Львом Толстым. О том, как читал он впервые «Душечку» Чехова в Петербурге, в Народном доме Паниной.

— Вышел на сцену, гляжу — сам... Толстой в первом ряду. Ну, я в испуг. Сразу бегом со сцены. А он пришел за кулисы, усовестил, успокоил... А потом, когда прочел я рассказ (а Лев Николаевич сам любил читать «Душечку» за семейным столом), поднялся на сцену, обнял меня, похвалил. Может быть, это и была моя путевка в жизнь.

— Да,— задумчиво сказал Панферов,— великое дело первая путевка в жизнь. Не всегда умеем мы

подбодрить, поддержать, направить человека, помочь раскрыться. Ругать научились здорово. А помогать слабы... Вот, бывает, молодой, робкий еще талант и свернется и скукожится.

Об этом он говорил через час и на торжественном вечере открытия комбината. О чуткости. О внимательной помощи молодым. О поддержке, о воспитании чувств человеческих. О «чувстве локтя» в труде и в творчестве. Говорил задушевно, красочно, просто, приводил много жизненных примеров. И слова его доходили до самого сердца.

11

Он никогда не забывал о первом сердечном разговоре с Дмитрием Фурмановым, о той помощи, которую ему, начинающему, оказал автор «Чапаева».

А скольким молодым помог он сам, беседуя с ними и дома и в редакции «Октября», отрывая многие часы от собственной творческой, напряженной работы.

В самый разгар нашей борьбы с авербаховцами, даря мне один из томов «Брусков», он написал на титульном листе: «Несмотря ни на что мы — единственные — гордо несем знамя Фурманова». В течение многих лет Панферов редактировал журнал «Октябрь», стараясь всегда воплощать в жизнь славные фурмановские традиции.

Стол его в редакции всегда ломился от десятков рукописей. Рукописи начинающих в изобилии лежали и в домашнем кабинете на столе, на подоконниках.

Сколько из этих начинающих вошли потом в большую литературу! Аркадий Первенцев... Александр Чаковский... Арсений Рутько... Людмила Скорино...

Сколько раз далеко за полночь я просыпался от настойчивого звонка:

— Спишь?.. А я, брат, прочел сейчас замечательный рассказец. Автор? Откуда-то из Тулы... Есть еще огрехи. Но жизнь знает здорово. Настоящую жизнь. Вот я тебе сейчас прочту страничку по те-

лефону. Будем печатать, обязательно будем. Отредактируем малость и напечатаем... Ну, лады... Спи, старина, спи! А я еще поработаю.

В 1933 году в журнале «Октябрь» печатались новые главы из романа Ромена Роллана «Очарованная душа». Редакция журнала в эти годы переписывалась с Роменом Ролланом, держала с ним крепкую связь. В 1934—1935 годах Ромен Роллан любезно предоставил редакции многие страницы из своих неопубликованных военных дневников, из своей переписки с друзьями. Особенно интересными были страницы, где Роллан обличал мнимую буржуазную демократию, страстно писал о необходимости для писателя участвовать в борьбе с реакцией, в схватке. Роллан неоднократно настаивал на том, что его гуманизм, его любовь к человечеству носит не абстрактный, надклассовый, а действенный, боевой характер.

Несмотря на то что во Франции дневники Ромена Роллана не были еще тогда опубликованы (сокращенный текст дневника военных лет был опубликован издательством Альбен Мишель в Париже только в 1952 году, а пакет с рукописью этого дневника, хранящийся в Государственной библиотеке имени Ленина, был вскрыт только 1 января 1955 года), эти пламенные мысли Ромена Роллана не раз вырывались наружу в многочисленных статьях его, воинствующего гуманиста, в статьях против реакции и фашизма.

Опубликованные в журнале «Октябрь» страницы из дневника с огромным интересом были восприняты многочисленными читателями.

Еще в начале ноября 1933 года редакция журнала «Октябрь» получила от Ромена Роллана из Швейцарии, где он тогда жил, следующее письмо.

«Вильнев, вилла Ольга. 25/X-33 года.

...Я получил ваше письмо от 27 сентября и восьмой номер журнала «Октябрь». Очень вам благодарен. Из моего романа не легко было выбрать отрывки, понятные читателю и удовлетворяющие его.

Но все же посылаю несколько страниц из ближайшего тома «Провозвестницы», который скоро появится в печати (последняя часть «Очарованной души»).

Я предлагаю вам заголовок к этому отрывку (из 12 страниц) — слова Шекспира, произнесенные одним из моих героев, «Быть или не быть» («to be or not to be»). Но если вы предпочтете другой заголовок, я вам предоставляю право выбора.

С сердечным приветом

Ромен Роллан.

Просьба меня известить о получении рукописи и переслать мне номер вашего журнала, где появится перевод. Посылаю листок с разъяснениями для переводчика. Просьба их ему передать».

— А знаете что, ребята,— сказал как-то Федор Иванович мне и И. С. Новичу, заместителю редактора журнала.— Надо послать Ромену Роллану какой-нибудь памятный подарок.

Предложение было принято без споров. Я предложил послать какую-нибудь редкую книгу.

— Книг у него и так достаточно,— возразил Панферов.— Роллан очень любит народное искусство. Кола Брюньон был знаменитым резчиком по дереву. Надо нам разыскать что-нибудь особенное в Палехе или Мстере. Вот это будет память: палехские мастера — мастеру из Кламси.

Редакция послала Роллану коллективное письмо, те номера, где печаталась «Провозвестница», а также шкатулку работы палехского мастера Вакурова.

В апреле 1934 года мы получили новое письмо Ромена Роллана.

«Вильнев, вилла Ольга. 20 IV-34 года.

...Только сегодня я получил через советское посольство в Париже ваше дружеское и очаровательное послание. Лакированная шкатулка работы Вакурова восхитительна, и я не устаю любоваться ею. Искусство Палеха всегда меня привлекало. Некото-

рые образцы, которые у меня есть, благодаря Горькому (меньшие по размерам) — перлы моей коллекции. Я никогда не упускал случая показать их моим посетителям, которые всегда от них в восторге. Но шкатулка, преподнесенная вами с надписью, которой я глубоко растроган,— шедевр гармонии, богатой, утонченной и изысканной. Она стоит наравне с лучшими музейными экземплярами. Изумительно, что это высокое искусство сохранило и возродило во всей полноте свою жизнерадостную безмятежность, несмотря на годы самых потрясающих гражданских войн, когда-либо происходивших в истории человечества. Не откажите передать товарищу Вакурову мои горячие поздравления. От всей души благодарю вас.

Журнал «Октябрь» я еще не получил, но я ощутил бы большое удовольствие при виде напечатанных в нем моих вещей, и я хочу, чтобы наше сотрудничество стало более близким. Если я сам не читаю по-русски, то читает моя жена и рассказывает мне о прочитанном.

Товарищ Панферов, я прочел с огромным интересом по-французски ваши замечательные «Бруски», ярко отобразившие сложный и исторический момент в жизни человечества.

Дружески жму руки. Преданный вам

Ромен Роллан».

И, наконец, 26 октября 1934 года пришло новое письмо Ромена Роллана, сопровождающее выборки из его военного дневника.

«Дорогие товарищи,— писал Роллан,— извините, что так опоздал с ответом на ваше письмо. Я был чрезвычайно занят за последние месяцы. Посылаю вам теперь выборки из дневника «За годы войны». Если вещь слишком велика, то разделите ее на две части и напечатайте ее в двух номерах журнала. В случае необходимости ваш переводчик может обратиться ко мне за указаниями...

Сердечно ваш

Ромен Роллан».

Во время пребывания в Москве в 1935 году Роллан провел с членами редколлегии «Октября» большую и интересную беседу. Федор Иванович был в одной из творческих командировок, в деревне. Он очень сожалел потом, что не сумел повидать Роллана, которого очень ценил и любил.

...Летом 1933 года мы жили в дачном поселке Барвиха на берегу Москвы-реки. Панферов, как маститый, получил целую дачу. Рядом разместился «колхоз»: Ильенков, Платошкин, Исбах, Горбатов.

Чтобы не отвлекаться всякими повседневными семейными мелочами, мы с Горбатовым сняли дополнительно на окраине деревни полуразваленный сарай, разделенный ветхой перегородкой на две клетушки.

Ранним утром, искупавшись в реке, мы шли в свой сарай «на ратный подвиг и труд». Иногда в конце рабочего дня заходил к нам Федор Иванович. Мы садились на завалинку, Панферов и Горбатов дымили папиросами.

— Ну, как,— спрашивал Федя,— Борис небось строчек двадцать написал сегодня, а Саша не менее двадцати страниц отмахал. Угадал?

Федор рассказывал о своих раздумьях над очередным томом «Брусков», узнавал о наших «муках творчества».

Борис Горбатов заканчивал тогда роман «Мое поколение», который начал осенью печататься в «Октябре». Я писал роман «Радость», напечатанный в журнале в 1934 году.

Федор Иванович придирчиво читал рукопись моего романа, страница за страницей. Тактично, без нажима давал он свои советы, делал исправления.

— Вот ты начинаешь роман с описания городка,— говорил он.— У тебя он называется Ордынск. Но я-то знаю, что речь идет о Коломне, о Сашинграде. Ты, можно сказать, годами связан с этим городом, а я был там всего несколько раз.

И все же, не сердись, старина, заметил такие детали, которые ты упустил. Расскажи больше об улицах города, его истории, о Маринкиной башне и старом Кремле. Ведь город-то какой — двух Лжедмитриев помнит. Покажи и старые купеческие каменные дома, лабазы и низенькие домики с узорчатыми наличниками. Расскажи, как жили здесь часовщики, пекари, парикмахеры, сапожники, бричечники, мыловары, слесаря, велосипедные мастера. Воздух города... Деревья... Быт. Может быть, родословную твоих героев. Династию металлистов...

Он очень много помог мне, Федор Иванович, в работе над романом.

Был он нелицеприятен и, когда рассказы мои ему не нравились (а таких было не мало), говорил прямо, резко, категорично и не печатал в журнале.

Но если уж что-либо понравится, защищал перед «заушателями» непреклонно.

Так, понравился ему рассказ «Песня» — о донбасском коногоне, который стал знаменитым певцом. На одной из своих книг Федор Иванович сделал мне надпись: «Равняйся на «Песню». И действительно, «Песня» выдержала проверку временем. И сейчас (даже трудно поверить такому совпадению), когда я пишу эти строки, через тридцать с лишним лет, по радио идет инсценированная передача «Песни»... А иные забракованные им рассказы или сожжены, или хранятся в дальних архивных ящиках стола.

Сам Федор Иванович тогда работал над последними томами «Брусков» и очень внимательно относился к нашим критическим замечаниям. Еще на втором томе он сделал надпись: «Я, Саша, выпускаю эту книгу, как это ни странно, с большой тревогой...»

Вечерами мы собирались на даче Федора.

Приезжали к нам в гости друзья-философы — П. Ф. Юдин, М. Б. Митин, Н. А. Вознесенский. Приезжал богатырь П. А. Козловский (Ждаркин), уже директор крупного совхоза. Пели. Играли в волейбол. Были тогда молодыми, полными сил. И казалось, молодость эта не иссякнет никогда...

Война надолго разлучила нас с Панферовым. Должен откровенно сказать, что послевоенная его трилогия («Борьба за мир», «В стране поверженных» и «Большое искусство») мне не понравилась. Я прямо сказал ему об этом, и в наших отношениях возник холодок.

В последние годы жизни Федора Ивановича мы с ним не раз беседовали, тепло вспоминали о днях нашей юности. Он всегда расспрашивал о делах коломенских, о поездках моих, подарил мне два тома «Волги-матушки реки» с надписью: «В память хорошего прошлого и настоящего».

Вместе с ним написали мы письмо в правительство с просьбой о сооружении памятника Дмитрию Фурманову.

Он по-прежнему, несмотря на тяжелую болезнь, много и самоотверженно работал: писал, редактировал, опекал молодых авторов, давал им «путевку» в литературу. В эти годы у него появилось много новых друзей, и они, очевидно, сумеют лучше и подробнее, чем я, рассказать об этом периоде.

...И вот Панферова не стало... С великой грустью я стоял у его свежей могилы... С ним были связаны такие горячие и бурные дни юности.

Траурные звуки оркестра. Речи... Я возвращался один по аллеям кладбищенского парка. Среди могил близких друзей... Серафимович... Фурманов... Горбатов...

Кто-то взял меня за руку. Я вздрогнул. Большой, монументальный... Паша!.. Павел Артамонович Козловский. Ждаркин...

Мы понимающе смотрели друг на друга... И не нужно было никаких слов... Павел крепко обнял меня, разжал могучие свои объятия, и мы молча пошли вперед по дорожкам, устланным первыми осенними листьями.



Яков Ильин

1

Впервые я увидел его на районном комсомольском активе Красной Пресни.

В то время ему еще не было и двадцати лет.

Секретарем нашей комсомольской ячейки был Борис Галин. Я был агитпропом и вожатым пионерского отряда.

Мы сидели с Борисом где-то в задних рядах и, не слушая ораторов, оживленно обсуждали свои дела.

Внезапно Боря насторожился, взглянул на сцену и толкнул меня в бок.

— Обожди, старик, послушай! Кажется, этот парень говорит что-то интересное.

«Этот парень» стоял на сцене, рядом с кафедрой. Он был в сапогах, распахнутой, видавшей виды кожанке и синей косоворотке. Косоворотка у шеи была расстегнута.

Он говорил о том, как воспитываются фабзавучники. Говорил горячо, взволнованно. Его страстность заражала. Это не была штампованная речь официального активиста. Это был живой рассказ о думах и делах комсомольских.

Оратором был Яков Ильин.

На Красной Пресне его имя уже было широко известно. Он вел большую работу на своем Краснопресненском механическом заводе. Уже тогда, в совсем юные годы, глубоко волновали его принципы организации труда.

Как сделать фабзавучника настоящим мастером, искателем, прокладывающим пути в будущее?

Конечно, в те поры не было еще и речи о бригадах коммунистического труда. Однако Яша Ильин пытливо отыскивал крупицы всего нового, что проявлялось в цехах.

Практик, организатор, вожак, он, еще очень далекий от журналистики, пытался обобщить опыт своего завода, своего района. От конкретного шел к теоретическим обобщениям.

...Мы вскоре познакомились с Яшей, а потом и подружились. Меня всегда привлекало в Якове Ильине это замечательное сочетание энергии, порывистости, воли и любви к теоретическому мышлению, к глубокому познанию самой основы тех производственных процессов, в которых он сам принимал практическое участие.

И еще — постоянный взгляд в будущее. Он умел широко раскрыть двери своего цеха, своего завода — выйти в большой мир со всеми его трудностями, печалями и радостями.

Конечно, он не мог усидеть на своем заводе. Его выдвинули на партийную работу. Он начал писать, печататься в газетах. Статьи и очерки его были всегда острыми, проблематичными и в то же время основанными на богатом знании материала.

Когда была создана «Комсомольская правда», Яков Ильин стал одним из ее руководителей. Он долго заведовал основным отделом газеты — комсомольским.

В то время (конец двадцатых годов) вокруг «Комсомольской правды» сплотились молодые, только входящие в литературу писатели и очеркисты: Борис Галин, Виктор Кин, Виктор Дмитриев. Вожаком, конечно, был Яков Ильин.

Это была целая школа молодой журналистики.

Конечно, многому мы учились у широко признанных тогда «королей» острого пера — Михаила Кольцова, Зорича, Сосновского. И вместе с тем молодые очеркисты внесли в журналистику свое, новое, особенное.

Со страниц газет повеяло ветром юности. Шла борьба против всего косного, трафаретного, штампованного. Первые руководители «Комсомольской правды» — Тарас Костров, Иван Бобрышев — поощряли всевозможные искания. А молодые журналисты пришли в газету не с пустыми руками. У них, несмотря на юность, был большой опыт практической жизни. Они, ненавидя «общие» фразы и декламацию, рассказывали о конкретных людях, о бывших своих соратниках по труду. У каждого прокле-

вывался уже свой голос. Романтическая приподнятость Виктора Кина; обстоятельность и «дотошность» Бориса Галина, умение проникнуть во внутренний мир своих рабочих героев; памфлетная острота Виктора Дмитриева; широкий политический диапазон Григория Киша.

Яков Ильин был правофланговым. Внимательность и чуткость к товарищам он сочетал с большой принципиальной требовательностью.

Он не любил поверхностных скороспелок. Сам долго вынашивал свои произведения и этого же требовал от своих друзей.

И в то же время он был предельно оперативен.

Страницы «Комсомольской правды», которые организовывал и редактировал Яков Ильин, были очень разнообразны по материалу, остры, злободневны. Но, отталкиваясь от злобы дня, Ильин всегда поднимал большие, важные вопросы дальнего прицела.

В начале каждого месяца он намечал большой стратегический план. Какие вопросы будем возбуждать в этот месяц? Как они лягут на газетные полосы? Какие бои будем давать косности и бюрократизму? В полосе важно все — и специально нацеленное содержание (без всякой текучки и стихийности), и оформление и расположение материала, и верстка, и заголовок, и настоящая боевая «шапка».

В конце 1927 года я пришел в «Комсомольскую правду» прямо из армии, еще не сняв шинели и не споров нашивок с гимнастерки.

Ильин поручил мне руководство пионерским отделом. Боевая, напряженная, «армейская» обстановка редакции пришлась мне очень по душе.

Здесь, в двух штабных комнатах Ильина, не было равнодушия. Здесь все делалось на высоком накале.

Среди сотрудников, получавших боевые задания, среди нас, молодых, были и известные литераторы, поэты. И все они целиком подчинялись ритму работы, созданному Ильиным.

Часто заходил Владимир Маяковский. Он очень ценил Якова Ильина, и я не раз наблюдал, как они беседуют, склонившись над газетной полосой. Говорит Ильин, что-то взволнованно объясняет. Маяковский очень внимательно слушает, иногда задает вопросы.

Владимиру Владимировичу очень импонировало сочетание страстности и рассудительности, присущее Ильину.

Поэт всегда с большим удовольствием рассказывал о периоде своей работы в «Комсомолке».

А Яша Ильин при разработке стратегических и тактических планов каждой полосы всегда оставлял «окно» для стихов Маяковского.

Обращаясь к комсомольцам с призывом подписываться на их газету, Маяковский писал:

Газета —
　　это
　　　　не чтение от скуки;
газетой
　　с республики
　　　　грязь скребете;
газета —
　　наши глаза
　　　　и руки,
помощь
　　ежедневная
　　　　в ежедневной работе.

Приходя в наш «комсомольский» отдел, Маяковский обменивался с каждым из сотрудников той или иной шутливой репликой. А потом проходил в комнату Ильина, садился, большой, монументальный, на угол стола и спрашивал:

— Ну, редактор, каковы сегодня мишени?..

Ильин давал ему комплект газеты за неделю. Некоторые заметки были подчеркнуты красным карандашом. Для Маяковского.

И Владимир Владимирович садился к угловому столу и делал выписки.

«Рабочий Дергаленко познакомился с артистами оперы, которые сравнили его профиль с профилем Гарри Пиля. После этого он начал усиленно посещать кино, затем отпустил бакенбарды. Они не да-

вали ему чисто мыть лицо, и, желая держать бомонд, он плохо мылся в течение месяца...»

Маяковский отрывался от газеты, коротко смеялся, подмигивал Ильину и снова склонялся к записной книжке.

«Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называете его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны звать его «Боб»...»

...Вскоре эти выписки из «Комсомольской правды» обретали новую жизнь под пером поэта:

Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан
себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».

Острое стихотворение о том, как бросил «Жан» Марусю и как Маруся отравилась...

И сценарий фильма, направленного против мещанства: «Позабудь про камин»...

И резкое, большой силы, взрывающее мещанство «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им, как о том сообщается в № 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание».

Маяковский принес это стихотворение 2 октября 1927 года (оно было напечатано 4 октября).

Он читал его громогласно в «кабинете» Ильина. У дверей столпилась, кажется, вся редакция:

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета...

Маяковский напечатал в «Комсомольской правде» немало острых стихов. И он всегда был благодарен Ильину за совет, за подготовку мишеней.

Он сказал, выступая на обсуждении пьесы «Клоп» (30 декабря 1928 года):

«Я против эстетизирующего начала, против замены борьбы сюсюкающим литературным разговором. После своей работы в «Комсомольской правде» я должен сказать: несмотря на то, что это беспокойно, я не привык к беспартийному разговору. Пока сволочь есть в жизни, я ее в художественном произведении не амнистирую...»

Это было сказано очень точно. И это имеет непосредственное отношение к Якову Ильину — мастеру настоящего, всегда глубоко партийного «разговора».

...Мы были одних лет с Ильиным. Некоторые даже немного постарше. Никому из нас не было тогда больше двадцати трех... Но Ильин всегда казался нам старшим и более мудрым.

Он учил нас партийности, ненависти к равнодушию.

Сколько замечательных полос в «Комсомолке» вышло в те месяцы под редакцией Ильина! Он учил нас и профессиональному мастерству во всем. От очерка до мельчайшей заметки. Все важно на газетной полосе...

И в каких творческих муках рождались «шапки» полос! Острые, афористичные, будоражащие с первого взгляда.

2

В самом начале тридцатых годов Яша Ильин, уже известный к тому времени очеркист, вступил в Московскую ассоциацию пролетарских писателей.

Мы были в те дни крепко связаны с «Правдой», часто в ней печатались. Выпускали и коллективные, «программные» сборники, выходившие в специально созданной издательством «Московский рабочий» серии «На фронтах пятилетки».

Очерки напоминали боевые донесения с основной линии огня. Яков Ильин, к тому времени уже работающий в «Правде», руководящий партийным отде-

лом, боевой и страстный публицист, естественно, присоединился в МАПП к творческой группе Панферова. «Правда» поддерживала наши творческие лозунги, резко критиковала сектантскую позицию рапповского руководства. В сентябре 1931 года в «Правде» было опубликовано наше коллективное письмо «Искусство — на службу пролетарской революции».

Это были дни бурного производственного подъема в стране. Бакинские нефтяники выполнили пятилетку в два с половиной года. Полным ходом шло строительство Урало-Кузнецкого комбината. Набирал силу Сталинградский тракторный завод.

Алексей Максимович Горький призвал к созданию истории фабрик и заводов.

Организовав творческие бригады, мы разъехались по передовым стройкам страны.

Яков Ильин и Борис Галин связали себя с жизнью Сталинградского тракторного завода на долгие месяцы. Бок о бок с нами работали Александр Безыменский и Юрий Либединский.

Вожаком всей «тракторной» группы, как и всегда, был Яков Ильин. Он был не только корреспондентом, литератором. Он был на строительстве СТЗ своим человеком, пропагандистом, организатором. Он выступал на собраниях в цехах и бригадах. Он писал не только в «Правду», но и в заводскую многотиражку. Он наладил выпуск бюллетеней «Правды» на рождающемся молодом заводе, ставшем гордостью всей страны.

Он не только прославлял труд лучших строителей и производственников. Он и его боевые соратники (особенно следует выделить сатирические стихи Безыменского) с комсомольским задором клеймили все косное, неповоротливое, обличали всех, кто сопротивлялся неуклонному движению вперед.

И когда «эмпирики», возвращаясь с «фронтов», собирались для обмена опытом (какие это были замечательные, увлекательные встречи!), самые обстоятельные и самые горячие доклады делал Яков

Ильин. Как всегда, он не только рассказывал о том или ином человеке, об отдельном подвиге или замечательном событии — он переходил от анализа к синтезу, от частного, конкретного к теоретическому обобщению. Проблема нового, социалистического труда всегда волновала его. Он прочел целую библиотеку книг по истории труда. Он полемизировал с Фордом, Тейлором, Батей...

Постоянное умение связать теорию с практикой было одной из основных отличительных черт этого многогранного человека.

Очень любил его слушать Александр Серафимович. Он сидел обычно полузакрыв глаза. Казалось, что дремал. А слушал пытливо, внимательно. Потом подходил к Якову, клал руку на плечо его и медленно говорил с обычной лукавинкой в глазах:

— Завидую я вам, молодым. Все успеваете, все видите. Вот и я точно вместе с вами на заводе побывал... Однако съездить туда придется... А может быть, податься туда на катере?.. По Оке и Волге? Так сказать, приятное с полезным... Сталинградцы-то, они ведь мне почти земляки...

Яков Ильин и Борис Галин подготовили и издали большой сборник «Люди Сталинградского тракторного». В сборнике приняли участие рабочие, инженеры, партийные работники.

Это был прямой ответ на обращение Горького. История завода возникла в книге не как скучное хронологическое повествование, а как жизнь людей во всей ее многогранности, как история мыслей человеческих, чувств, переживаний, конфликтов.

А Яков Ильин задумал подняться на более высокую творческую ступень. Он начал писать роман «Большой конвейер».

Он читал нам (немного стесняясь — «куда уж мне в романисты!») главы из этого будущего романа. Мы обсуждали их, критиковали. Но мы уже видели, что рождается замечательное, талантливое произведение. Это не был модный в те дни сухой «производственный» роман. Сохранив принципиаль-

ную документальность летописи, Ильин (и это целиком было свойственно его творческой натуре) поднимался до больших художественных обобщений. Он сумел нащупать основные производственные и, главное, психологические конфликты, показать, в каких сложных столкновениях рождается новое... Показать человеческие характеры в становлении, в движении, связать индивидуальные судьбы с жизнью завода, жизнью страны.

А это было главное. Ведь мы страстно боролись в те дни против разделения общественного и личного, против замыкания человека, героя только в узкий мир оторванных от жизни переживаний. Многие проблемы, поставленные в этом романе, не доведенном до конца автором, сохранили всю свою остроту и в наши дни.

«Да, да,— думал Игнатов.— Я не вник глубоко в дело, не знал толком ни техники поточного производства, ни экономики его, никогда не интересовался финансами. Да, да, я командовал, администрировал, во все вмешивался, писал резолюции, клялся, не спал ночами, других мучал и сам мучался,— и все просто, все объясняется просто: это было не то вмешательство и не то командование, которое требовалось...»

Яков Ильин писал этот роман, что называется, кровью сердца. Он торопился. Словно предчувствовал, что не успеет закончить рукопись, а потом переписать, не раз и не два, чтобы довести до предельной художественной убедительности.

3

Как-то однажды на собрании нашей творческой группы Яков Ильин сказал:

— А что, ребята... Не маловато ли мы, в общем и целом, знаем. Так только, по верхушкам теории бродим. А не пойти ли нам учиться?

И он сообщил, что в Институте красной профессуры возникло намерение создать специальное

«творческое» отделение. Из писателей-практиков. Так сказать, без отрыва от производства.

Предложение Ильина взбудоражило нас. Все мы чувствовали, что настоящих фундаментальных знаний у нас нет.

Революция, гражданская война, ранняя «общественная деятельность» оторвали нас от школы. И хотя некоторые после революции закончили факультет общественных наук, все это было, как сказал поэт Сурков, высшее образование (и довольно при этом скороспелое) без среднего.

И вот, несмотря на многочисленные творческие и общественные нагрузки, от которых никто нас не освобождал, мы решили принять предложение Яши Ильина.

В Институте красной профессуры было создано творческое отделение для писателей-коммунистов. Овладевать теорией решили Федор Панферов, Алексей Сурков, Степан Щипачев, Илья Френкель, Владимир Ставский, Яков Ильин, Борис Галин, Алексей Дорогойченко, Иван Жига, Михаил Платошкин, Григорий Корабельников, Александр Исбах.

Некоторые (в том числе перегруженные Панферов и Ставский) откололись после первых же лекций. Кое-кто в середине учебы по партийной мобилизации уехал на работу в политотделы совхозов.

Но большинство продолжало учебу до победного конца.

Мы так давно не учились по-серьезному, что испытывали огромное наслаждение, одолевая толстые научные фолианты. Философия. Эстетика. История русской и зарубежной литератур. Языки. Как необходим был нам этот теоретический багаж в дни напряженных литературных споров!

В творческом отделении для самостоятельной подготовки к лекциям и семинарам были созданы небольшие бригады-тройки. Наша бригада — Яков Ильин, Борис Галин, Александр Исбах. По философии нам помогал слушатель философского института, старый наш приятель, комсомольский цекист

Гриша Лебедев (погибший потом в дни культа личности).

Курс философии преподавала совсем молодая и хрупкая на вид, но весьма требовательная женщина Ольга Войтинская.

Мы засели за Канта, Спинозу, Фейербаха, с трудом продирались сквозь, казалось, порой непреодолимые заросли гегелевских силлогизмов.

Опять вожаком нашим был Яков Ильин. Ответственный работник «Правды», обремененный десятками всяких дел, он относился к учебе с предельной серьезностью и дисциплинированностью.

Он всегда являлся на занятия с конспектами, выписками. Он помогал нам разбираться во всех философских премудростях. Он делал от имени нашей бригады первые доклады (только на «отлично»), развернуто выступал на семинарских конференциях и совсем покорил нашу молодую руководительницу. И как же сердился он на нас, обзывая в сердцах лодырями, если мы приходили на занятия неподготовленными!

— А знаешь, старик,— сказал он мне как-то после занятий,— я, конечно, не собираюсь увязывать Гегеля с «Большим конвейером»... «Мы диалектику учили не по Гегелю»... Однако и Гегель мне помог кое в чем разобраться...

У нас были хорошие, талантливые преподаватели. Но, пожалуй, самым лучшим был директор нашего института Анатолий Васильевич Луначарский.

Он читал нам лекции на самые разнообразные темы. Он ухитрялся находить для этого время среди важных своих государственных дел.

Иногда он приходил с запозданием прямо с какого-нибудь важного совещания. Тут же в аудитории раздевался и, протерев пенсне, спрашивал:

— Значит, сегодня мы, кажется, должны говорить о Герцене?..

— Анатолий Васильевич,— с укоризной говорил Яша Ильин,— сегодня ведь французская литература. Сегодня — Мольер.

— А, Мольер,— соглашался и сразу зажигался Луначарский. И без всякого конспекта страстно, интересно, увлекательно говорил о Мольере...

Мы всегда поражались необыкновенному богатству его познаний, умению покорить любую аудиторию. В том числе и нашу, зараженную ядом журналистского скепсиса.

И вот однажды мы получили задание райкома: проработать Луначарского. Вскрыть его махистские ошибки и вынести соответствующую резолюцию.

Для чего это было нужно, мы не знали. Говорили, что предложение исходит «с самого верху», от Сталина. Партком долго искал докладчика на эту тему. Предложили нашему «теоретику» Ильину, но он категорически отказался, считая всю эту «помпезную» затею несвоевременной и ненужной.

Отказывались и другие. Наконец в роли обвинителя согласился выступать слушатель журналистского отделения, известный в наших кругах как догматик и начетчик.

В день собрания конференц-зал института был переполнен.

Анатолий Васильевич пришел точно вовремя и сидел в президиуме.

Доклад своего обвинителя, изобилующий старыми цитатами, он выслушал внимательно, не перебивая и ничего не записывая. Раза два снимал и протирал пенсне.

Записавшихся ораторов не было... Никто не хотел прорабатывать любимого профессора, несмотря на грозные указания «с самого верху».

Тогда после долгой паузы выступил Луначарский.

— Молодые товарищи,— сказал он,— разрешите начать с небольшой притчи. У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Он ее убил. (Недоуменный шум в зале.) И в землю закопал. И надпись надписал...

Так вот. (Успокаивающий аудиторию широкий жест.) У меня тоже была своя собака. Махизм. Я ее давно убил. И в землю закопал. Но должной надписи

я, может быть, еще не сделал... (Общий смех.) Так вот, молодые друзья, я уже не так молод. И в моих творческих планах одна пьеса, несколько исследований и статей (он перечислил темы, помню, была среди них работа о Марселе Прусте). Как вы считаете — продолжать ли мне работу над этими новыми темами или отвлечься от всего и делать надписи на могиле махизма?.. (Шум. Смех. Аплодисменты.)

Владимир Ильич Ленин хорошо знал мои дооктябрьские древние ошибки. И тем не менее доверил мне портфель наркома просвещения в первом советском правительстве. Ленин как-то сказал (и он на память привел неизвестную мне фразу Ленина, связанную с критикой махизма)...

— Позвольте,— вскочил «обвинитель».— Я хорошо знаю Ленина. Я не помню, чтоб он так говорил...

— Вам,— прищурил глаз Луначарский,— вам, молодой человек, он этого не говорил... А мне говорил... (Общий смех.)

Больше ораторов не было.

Проработку Луначарского мы сочли законченной. Хотя, правду сказать, парткому потом сильно нагорело «за либерализм и примиренчество»...

Но в те годы Луначарский все же оставался Луначарским. Еще было далеко до 1937 года...

Мы возвращались с собрания вместе с Яшей Ильиным. Медленно шли по Новинскому бульвару. Яша был необычайно задумчив.

— Не умеем мы еще ценить и беречь людей,— сказал он тихо и грустно.— Таких людей... И сколько нам это вреда еще принесет, старик... Сколько вреда!..

...Он умер на самой заре своей жизни, закинув якорь в далекое будущее. Зимой тысяча девятьсот тридцать второго года. Ему было только двадцать семь лет.



Эдуард Багрицкий

1

В этом году мне снова пришлось побывать в стране Калевалы.

На берегу быстрой Суны, обдаваемый жемчужными брызгами водопада Кивач, воспетого некогда Державиным, я вспомнил, как любил этого поэта Эдуард Багрицкий.

Он негодовал, когда молодые пииты пренебрежительно поджимали губы при упоминании одного из зачинателей российской поэзии.

— Да как вы смеете? — задыхался от возмущения Эдуард.— Лаврам Игоря Северянина позавидовали?.. Тогда уж отвергайте заодно и Пушкина. Нет, вы не знаете русской поэзии, не знаете и не любите.

И он снимал с полки маленький томик. И он читал нам:

Что ж ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь?..

— Вы, конечно, никогда не читали державинского «Снегиря»? А «Ласточку»? «Ласточку» вы читали?

Молодым поэтам приходилось сознаваться, что они действительно не знают Державина.

А Багрицкий уже снимал с полки томик за томиком. Потом читал наизусть. Пушкин. Лермонтов. Шевченко. Баратынский. Бенедиктов. Блок. Вийон. Беранже. Эдгар По. Киплинг. Бодлер. Рембо...

Это была целая энциклопедия мировой поэзии.

Мы уезжали из Кунцева омытые волнами этой поэзии, низвергавшейся на нас как водопад, поэзии, без которой Багрицкий не представлял себе возможности жить ни одного дня, ни одного часа.

Все его жилище в старом кунцевском домике было заставлено аквариумами и клетками. О страстной любви Эдуарда к природе, к птицам и рыбам писалось уже много, и я не хочу повторяться. Эта любовь к природе связана была у Эдуарда с его неуемной пытливостью, с ненавистью к книжным

червям, к гётевским вагнерам, с постоянным стремлением ко все новому и новому познанию жизни, ее законов, биологических и социальных.

Он рассказывал нам однажды о весьма примечательном разговоре с одним интервьюером. Тот позвонил по телефону.

— Что вы пишете сейчас?

— Исследую способы размножения рыб.

Газетный деятель в сердцах положил трубку.

А Багрицкий и не думал шутить. В этот день он был целиком поглощен рыбоводством.

Однажды он отказался приехать на заседание редакционного совета, где его очень ждали, потому что у него «рожала» диковинная рыба, «*girardinus decemmaculatus*», как гордо сообщил он по телефону ничего не понявшему секретарю.

Недаром он слыл одним из крупнейших знатоков среди натуралистов.

— А как же можно писать стихи,— изумлялся он,— если не жить, не узнавать, а главное — не жить вовсю!..

2

Он приехал из Одессы в 1925 году. Широкая публика еще не знакома была с его творчеством. «Дума про Опанаса» еще не была написана. Многие стихи его еще ходили только в списках. Но для нас, литературной молодежи, имя его уже было овеяно какой-то легендой романтика, искателя, новатора.

Не помню, по чьему почину (уж не Коли ли Дементьева?) мы впервые нагрянули к нему в Кунцево (а тогда это был не малый конец!), поражены были диковинными птицами и разноцветными рыбами в бассейнах с голубоватой водой. Поражены и самим обликом хозяина, седеющего, сутуловатого, огромного, с пристальным взглядом совсем молодых и добрых глаз.

Мы стали частыми гостями Эдуарда.

Багрицкий был беден, и в этом гостеприимном доме нам нечего было рассчитывать на угощение.

Багрицкий был значительно старше нас, но с самой первой встречи исчезло это ощущение разницы в возрасте.

В то время уже существовало много литературных групп. Но гостями Багрицкого были и крамольные перевальцы, и ортодоксальные мапповцы (я в том числе).

Я за всю свою жизнь не помню человека, который так искренне, чисто, ну, что ли, бескорыстно, по-детски непосредственно и в то же время философски мудро любил бы поэзию и умел бы разделить эту любовь со своими собеседниками. Как хлеб...

Меньше всего он читал свои собственные стихи. Хотя писал в ту пору много и с новыми главами «Думы про Опанаса» изредка знакомил нас.

Но именно Багрицкий, а не вузовские наши профессора и доценты, дал нам почувствовать и Киплинга и Рембо. Никогда не забыть, как, кашляя и задыхаясь, читал он «Мэри Глостер», как возникал перед нами живой и страстный Рембо, о котором до Багрицкого мы и понятия-то не имели...

Вот он приподымается, Эдуард, на тахте. Ворот рубашки расстегнут. Полуседая шевелюра свисает на лоб.

...Ты плясал ли когда-нибудь так,
Мой Париж,
Сколько резаных ран получал,
Мой Париж,
Ты валялся ль когда-нибудь так,
Мой Париж,
На парижской своей мостовой,
Мой Париж,
Горемычнейший из городов,
Мой Париж,
Ты почти умираешь от смрада и тлена...
Кинь в грядущее
Плечи и головы крыш.
Твое темное прошлое —
Благословенно!..
...Слушай:
Я прорицаю, воздев кулаки:
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь
снова!..

И мне казалось, что я вижу юношу Рембо тут же в этой комнате, наполненной рыбами, птицами и стихами. И мне казалось, что, если бы Рембо перенесся в наши дни, он дружил бы не с Верленом, а с Багрицким и он не уехал бы в Абиссинию продавать оружие.

...А как читал он любимого Тараса Шевченко! А «Улялаевщину» Сельвинского!..

...В наших мапповских табелях о рангах Багрицкий считался тогда «левым попутчиком».

«Вожди» наши предостерегали от его конструктивистского влияния. Но мы никогда не говорили с Багрицким о групповых делах. Мы просто пили из чистых родников поэзии и постигали, что значит истинно вдохновенное творчество.

Нам казалось, что и ему, Эдуарду, хорошо с нами. И мы, совсем еще тогда юные и наивные, не замечали, что, всей душой прикипая к нам, он порой отчуждается и думает свою нелегкую и тревожную думу.

Он болезненно ощущал тот разрыв между поколениями, между собой и нами, которого не ощущали мы.

В 1926 году он прочел нескольким молодым поэтам еще в черновике (чего никогда не делал), видимо, только-только написанные стихи:

Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Над нами трубят трубачи зоревые,
Знамена мотаются, лошади ржут!
Над нами чужая играет стихия,
Чужие созвездья над нами цветут...

Эти горькие строки показались нам настолько неожиданными для Багрицкого, что мы сначала подумали — не чужие ли это стихи, не проверяет ли он нас по ехидной своей привычке.

Нет, это действительно были стихи Багрицкого. (Впоследствии он много работал над этим стихотворением, многое изменил, но основная трагическая интонация, так поразившая нас, сохранилась.)

В тот вечер Багрицкий предстал перед нами в какой-то иной своей грани. И мы поняли, что нас действительно разделяют годы. Для нас никогда не стоял вопрос об отношении к революции (принимать или не принимать), мы в революцию родились, и иного пути для нас не было. А Багрицкий пришел из какого-то иного, незнакомого нам, дореволюционного мира. Ему пришлось многое преодолеть, хотя он ненавидел этот мещанский мир страстно и непримиримо.

И все же он был из поколения Блока, и все же проблема «выбора», связанная с глубокими трагическими переживаниями, требовала от него своего поэтического выражения. Нет, не такой простой и прямой путь был от «Ржавых листьев» к «Думе про Опанаса», к написанному через несколько месяцев «Разговору с комсомольцем Дементьевым», к созданной уже на раннем жизненном закате «Смерти пионерки».

И все же он всегда подавлял в своем творчестве эту трагическую интонацию.

Он любил вспоминать о том, как работал в Югроста, как воевал в гражданскую, пусть только в агитпоездах. Как жалел он, что прошел все же по боковым дорогам революции, что не пришлось ему быть «комбатом», или «комбригом», или выступать самому в роли воспетого им комиссара Когана, и как мечтал хоть в будущем «восполнить» этот пробел!.. И потому так болезненно относился он (как, впрочем, и Маяковский) к тому, что его называли только «попутчиком».

И может быть, чтобы сгладить впечатление от «Ржавых листьев», а может быть, и для того, чтобы поспорить с самим собой, в тот же вечер вынул он перед самым прощаньем из какой-то запыленной папки листочек и прочел нам, задыхаясь и кашляя больше обычного:

От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!

Я чересчур предался грубым,
Непоэтическим делам,—
Кружась как мудрый кот под дубом,
Цепь волочил я по камням.

И в сердце не сдержать мне гнева,
Хоть сердце распирает грудь...
Но цепь грохочет: влево, влево —
Не смей направо повернуть!

Довольно! Или не бродячий
Мне послан господом удел?
И хлеб, сверкающий, горячий,
В печи не для меня созрел?..

Не я ль под Елисаветградом
Шел на верблюжские полки,
И гул, разбрызганный снарядом,
Мне кровью ударял в виски?

...В Алешках, под гремучим небом,
Не я ль сражался до утра,
Не я ль делился черствым хлебом
С красноармейцем у костра?

Итак, пусть без упреков грозных!
Где критик мой тогда дремал,
Когда в госпиталях тифозных
Я Блока для больных читал?..

Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет?..

Это было что-то вроде предисловия к написанному еще в 1923 году в Одессе «Сказанию о море, моряках и Летучем Голландце», которого мы еще не читали.

Это был и спор с критиком, и это был в какой-то мере спор с написанным только сейчас стихотворением о «ржавых листьях», спор, который волновал самого автора многие годы. А скольких поэтов вопрос этот о нужности массам, вопрос «выбора»

волновал многие десятилетия — от Генриха Гейне до Сергея Есенина и Поля Элюара!.. Для Багрицкого в организационном плане эта проблема «выбора» решилась в 1930 году вступлением в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (в одно время с Маяковским и Луговским). Но об этом речь еще впереди.

...А через год после «Листьев» этот же спор вылился в «Разговор с комсомольцем Дементьевым», с Колей Дементьевым, которого Багрицкий полюбил больше всех молодых своих друзей и поэму которого «Мать» при всей своей требовательности оценил очень высоко. Проблема разрыва между поколениями была снята.

Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!..

3

Несмотря на хроническую тяжелую астму, причинявшую ему жестокие страдания и частенько приковывавшую его к тахте, Эдуард Георгиевич очень любил ездить по стране, выступать перед народом.

Позвонит, бывало, по телефону, скажет веселым, озорным, хриплым голосом:

— Сашец... Кажется, старуха (астма!) дает мне отпуск на пару дней. Используем? Съездим? Что у тебя на примете?

Однажды «на примете» у меня оказалась Брянщина. Старый завод «Красный Профинтерн» в Бежице.

В Брянске редактировал газету только что входящий в литературу молодой писатель Василий Павлович Ильенков. Заочно познакомился с ним я по хорошему рассказу «Аноха», который он прислал

в журнал «Октябрь». Рассказ очень понравился и «старшому» нашему, Александру Серафимовичу, и Феде Панферову, и мне. Решили печатать. Началась переписка.

Василий Павлович пригласил москвичей в Брянск: людей, как говорится, посмотреть и себя показать.

С паровозостроительным заводом «Красный Профинтерн» Ильенков был связан давно, писал сейчас о заводской жизни новый роман «Ведущая ось» (который вызвал впоследствии ожесточенную полемику). Я сообщил Ильенкову, что приедем мы с Багрицким, что «гвоздем» намечающегося вечера будет, конечно, Эдуард.

Автора «Думы про Опанаса» уже хорошо знали в стране, и Василий Павлович обещал нам «достойную» встречу и в городе, и на заводе.

Ехали со всеми удобствами. В купе мягкого вагона оказались мы только вдвоем. Эдуард чувствовал себя прекрасно, почти не курил, глядел в окно на осенний багрянец лесов.

— Брянские леса,— сказал он задумчиво.— Брянские, или Брынские. Здесь жил Соловей-разбойник. Скажи, Сашец, а что ты, теоретик, знаешь о Соловье-разбойнике?

И вдруг полузакрыл глаза, взмахнул полуседой своей шевелюрой и заговорил былинным говором:

Заросла дорога лесы Брынскими,
Протекала тут река Самородина;
Еще на дороге Соловейко-разбойничек
Сидит на тридевяти дубах, сидит тридцать лет;
Ни конному, ни пешему пропуску нет...

А потом вдруг качнулся ко мне с дивана, блеснул глазами из-под седых бровей и как свистнет...

Я даже испугался, чтобы свист этот молодецкий, вырывающийся из приоткрытых дверей купе, не был воспринят как сигнал к остановке поезда. В дверь уже заглянул встревоженный очкастый проводник.

А Эдуард тихо засмеялся, подмигнул тому проводнику и сказал спокойно:

Свистнул Соловейка во весь голос:
Сняло у палат верх по оконички,
Разломало все связи железные,
Попадали все сильны могучи богатыри,
Упали все знатны князи, бояра,
Один устоял Илья Муромец...

Потом он читал мне (наизусть) целые главы из «Большого завещания» поэта-бродяги Франсуа Вийона, писавшего на старофранцузском языке.

...Мы приехали под утро. Молодой писатель Василий Павлович Ильенков, встречавший нас на вокзале, оказался белоснежно-седым. Глаза его были закрыты большими дымчатыми очками («Точно автомобильные фары»,— сказал мне потом Багрицкий). И только когда снял он очки и посмотрел на нас веселыми, добрыми глазами, мы убедились, что он действительно молод.

У Ильенкова был неожиданно смущенный вид.

— Хотел вас пригласить к себе на квартиру. Да вот дети неожиданно заболели корью. Боюсь — передадите заразу своим. А номер в гостинице только с утра. Отвезу вас пока в редакцию. В кабинете моем диван и мягкие кресла. Отдохнете пару часов до гостиницы...

Возражать, конечно, не приходилось. Бывалые путешественники, мы привыкли ко всяким превратностям судьбы.

В редакцию ехали на извозчике... Машин у редакторов тогда еще не было. Багрицкий совсем развеселился и хотел даже, к неудовольствию возницы, взобраться на облучок...

По дороге Ильенков сообщил нам, что вечер состоится в заводском Дворце культуры, что интерес к нему очень большой, роздано свыше тысячи билетов, кроме нас будут выступать и местные заводские поэты. Они уже ждут не дождутся Багрицкого.

...Отдохнуть нам не пришлось. Только расположились мы в старинных кожаных креслах и я даже задремал, как был разбужен каким-то треском, шумом и громоподобным голосом Эдуарда.

Проснувшись, не поверил глазам своим.

Эдуард стоял на редакторском столе и странно размахивал руками, как пушкинский Мельник...

«Розыгрыш... Очередной розыгрыш»,— несколько даже рассердившись, подумал я, зная «одесскую» любовь Эдуарда к подобным инсценировкам.

Но дело оказалось трагичнее.

— Сашец,— сказал мрачно Багрицкий,— мы погибли. Крысы...

— Эдя,— умоляюще воскликнул я,— слезай со стола! Могут зайти. Даже великому поэту неудобно стоять на редакторском столе как памятник. Тебе приснился Шекспир. «Гамлет». Полоний...

Но Эдуард оказался прав. В старом редакторском диване, хранилище использованных линолеумных клише, действительно жили крысы. Очевидно, редактор никогда не ночевал здесь и не знал об этом. Обычно крысы удовлетворялись старым линолеумом. А теперь, видимо, заинтересовались неожиданными ночными гостями и, покинув свои убежища, вышли на рекогносцировку.

О сне, конечно, не могло быть и речи. Эдуард слез со стола, и мы занялись обсуждением текущих литературных проблем. Условились не смущать Ильенкова и не рассказывать ему о крысах. (Только сейчас, прочитав эти строки, Василий Павлович впервые узнает о той «страшной» ночи!) А чуть взошло над Брянскими лесами небогатое осеннее солнце, нас стали навещать поэты. Откуда они разведали о нашем пребывании именно в редакции — уму непостижимо.

Но Эдуард, окруженный поэтами, старыми и молодыми, уже оживился, выслушивал лирику и эпос, восхищался, возмущался, радовался, негодовал, сам читал какие-то строчки. Не свои, нет. Сельвинского, Антокольского, Дементьева...

Когда пришел Ильенков, едва удалось вызволить Багрицкого из окружения, чтобы отвезти на той же редакторской пролетке в гостиницу. Надо было действительно отдохнуть, и вход в гостиницу поэтам на целых четыре часа был категорически воспрещен.

Отдохнув, мы уехали в Бежицу, на завод. После осмотра цехов (Эдуард интересовался мельчайшими деталями производства), оставив поэта в квартире местного писателя Михаила Сергеевича Завьялова, я пошел с Ильенковым во Дворец культуры — проверить подготовку литературного вечера. Все было в порядке. Уже возвращаясь к домику Завьялова, мы услышали музыку, звуки хоровой песни.

Открыли дверь и остановились изумленные.

Хозяин вдохновенно разводил мехи баяна. Всю комнату заполнили юноши в кожанках, косоворотках, некоторые в комбинезонах. Поэты... Опять поэты. Точно притянутые магнитом со всего поселка, окружили они Эдуарда.

А он стоял среди них, большой, огромный, озорной. Он дирижировал какой-то длинной спицей, хрипло запевал, и все подтягивали. Это была «Полублатная» песня из его малоизвестной лиро-эпической сатиры «Трактир».

Жил на свете мальчишка,
Мальчишка озорной...
Он уехал на чужбину
Из страны своей родной.
Заниматься, учиться,
Книжки разные читать,
Чтоб потом научиться,
Как людям помогать.
Чтобы стать инженером,
Музыкантом, врачом,
Командиром, рабкором
Или красным бойцом...

Потом шел поэтический рассказ о горькой судьбе мальчишки, заболевшего в чужедальней стране чахоткой, и кончалась песня трагически-надрывными строками:

Вам, гражда́не, понятно:
Сгиб мальчишка озорной,
И его закопали
За могильной стеной.
И на гроб положили
Только шапку его,
Две учебные книжки,—
И больше ничего.
К озорному мальчишке

Уж никто не придет.
Над могилкой одинокой
Соловей пропоет...

(Между прочим, песню эту очень любил Саша Фадеев и часто певал на наших вечеринках.)

Ребята восхищенно смотрели на Эдуарда. Видимо, состоялся уже интересный разговор и «контакты» были налажены, путь к сердцу найден. Я редко встречал человека, который так молниеносно становился совсем «своим» среди молодежи, хотя он никогда не льстил молодым и не старался «произвести впечатление».

...Большой зал Дворца культуры был переполнен. Эдуарда встретили восторженно. Он был очень тронут, смущенно сдвигал мохнатые брови, прижимал руки к груди, показывал на своих спутников, приобщая нас к своей славе. А я, сидящий рядом, слышал, как громко стучит его сердце (врачи давно запретили ему частые выступления), и понимал, что подобные встречи помогают ему жить и работать. Этот горячий прием рабочих был лучшим ответом критикам-перестраховщикам, догматикам и злопыхателям. А таких было, увы, не мало. И в то время, и, к сожалению, в более поздние годы...

Читали свои стихи молодые поэты... Читали свои рассказы и отрывки мы с Ильенковым и Завьяловым.

Но «гвоздем» вечера был действительно Багрицкий. Когда Эдуард вышел на авансцену (он не любил кафедр, трибун, только появившихся тогда микрофонов), его опять встретили овацией.

Он переждал, поднял руку и начал читать стихи без всяких предисловий и объявлений. Он был поэт, а не оратор.

Это был своеобразный творческий отчет. Читал он стихи из разных книг, я бы сказал, из разных «эпох» своего творчества.

«Суворов». «О Пушкине». «Контрабандисты». «Дума про Опанаса». «Разговор с комсомольцем Дементьевым» («Памяти моего близкого друга Коли

Дементьева»,— сказал он горько). Отрывки из «Тиля Уленшпигеля». Переводы из Бена Джонсона. Читал он своим надтреснутым хрипловатым голосом, часто кашлял. Пил воду. Задыхался. То снижал, то поднимал голос, усиливая интонации, предельно выдыхая из грудной клетки остатки воздуха.

Иногда мне становилось страшно за него. Казалось — не выдержит, задохнется, упадет. Но он подавлял одышку, взмахивал спутанной своей шевелюрой и... овладевал аудиторией. И побеждал аудиторию. И каждая строфа находила свой доступ в сердца старых и молодых мастеровых, заполнивших зал. Перед ними возникал и ссыльный, живой, во плоти и крови, Суворов; и безжалостно пораженный наемником Николая, умирающий Пушкин; и поэт-воин, который «в свисте пуль, за песней пулеметной... вдохновенно Пушкина читал»; его друг комсомолец-военком Дементьев; и другой военком — герой гражданской войны, соратник легендарного Котовского, давно полюбившийся читателям Иосиф Коган; и мятежный, озорной Тиль Уленшпигель.

И все это воплощалось в образе седого вдохновенного поэта, задыхаясь говорящего с ними языком стихов со сцены построенного ими дворца.

...Багрицкий очень устал. Но он был счастлив. Я боялся, что начнется припадок астмы. Мы с Ильенковым буквально силой увели поэта со сцены.

Багрицкого ждали московские дела, и мы должны были уехать ночью.

...На вокзал ехали в той же пролетке. Оказалось, что возница тоже был на вечере. Он рыбачил некогда на Черном море. Особенное впечатление произвели на него «Контрабандисты». Поэт заслужил его доверие. Теперь он согласился бы пустить Багрицкого даже на облучок.

Московский поезд по расписанию уходил в двенадцать. Плацкартных мест достать не удалось, и провожающие друзья едва всунули нас в переполненный вагон. Не только лечь,— сесть там было невозможно.

Прозвенели уже все звонки. Провожающие разошлись. А поезд не двигался.

Я с опаской смотрел на Багрицкого. Судя по всему, приступ надвигался. Около первого часа ночи по составу прошел слух, что поезд задерживается, так как из брянского сумасшедшего дома бежал буйный пациент и ему удалось проникнуть в один из вагонов.

Эдуард внимательно прислушался. Потом вдруг рванул ворот рубахи (он никогда не носил галстуков), откинул голову и, потрясая седыми прядями, стал, задыхаясь, хрипеть. Эффект был потрясающий. Прежде всего перепугался я. Вот и приступ... А соседи наши по купе сорвались со своих мест, точно их сдунуло ураганом. Купе опустело.

Эдуард выпрямился, затих, хитро подмигнул мне и сказал спокойно:

— Ну, Сашец, полки свободны. Приляжем для верности. Ехать-то ведь целую ночь...

Такого блестящего розыгрыша я, видавший много его инсценировок, не ожидал...

— Ты победил, Галилеянин...

...Бежавший «псих» был вскоре обнаружен в соседнем вагоне. Поезд двинулся к Москве. Однако немногие вернулись в наше купе. Пассажиры все еще с опаской смотрели на Эдуарда и не решались потревожить его сон. Вот что значит искусство!..

4

Долгие годы связанный с Коломенским паровозостроительным (теперь тепловозостроительным) заводом, на котором работал еще в юности, я регулярно «привозил» на завод московских писателей и поэтов, «хороших и разных».

Однажды — было это, насколько помню, осенью 1929 года — собралась для очередного «коломенского» выезда неплохая бригада: Александр Серафимович, Алексей Сурков и Эдуард Багрицкий. С Сурковым в тот год мы разделяли руководство за-

водским литературным кружком. Он занимался с поэтами, я — с прозаиками.

Поезд шел тогда до станции Голутвин больше трех часов.

Эдуард расположился на нижней полке, как дома на любимой тахте. Сел по-турецки, расстегнул ворот косоворотки, приготовил на столике свое «астмическое» курево. Но курить не решался. Боялся растревожить некурящего нашего «старшого», подозрительно воззрившегося на необычайные, длинные сигареты. С Багрицким Серафимович знаком был мало и встретился едва ли не впервые.

Вообще группа была довольно живописная: Серафимович и Багрицкий склонили головы над какими-то журналами, раздобытыми Сурковым, и мне с моей верхней боковой полки видны были только блестящий шар чисто выбритой головы нашего патриарха, неизменный его белоснежный воротничок и пепельно-седая взлохмаченная шевелюра Эдуарда.

Серафимович и Багрицкий попросили рассказать об истории завода, о людях, с которыми нам предстояло встретиться. Сурков стащил меня с полки, и я уселся рядом с покашливающим Эдуардом. Мимо нас проплывали подмосковные леса, станции знаменитой Рязанской дороги, по которой двигался в 1905 году на усмирение крамольных коломенцев карательный отряд полковника фон Римана.

Перово. Люберцы. Ухтомская... Здесь был убит легендарный машинист Ухтомский. Фаустово...

Это все были как бы иллюстрации к моему рассказу. Александр Серафимович задумчиво смотрел в окно. Сурков что-то записывал в толстую клеенчатую тетрадь. А Эдуард все покряхтывал и раскачивался на полке своей, как большой, массивный седовласый Будда.

Он оживился, и глаза его блеснули, когда рассказывал я про то, как в 1918 году на завод прибыл на «излечение» израненный бронепоезд «Свобода или смерть». По вмятинам на башнях, по пробоинам от разрыва орудийных снарядов было видно, что побывал он во многих боях.

Командиром бронепоезда был Андрей Полупанов, коренастый моряк родом из шахтеров Донбасса. Пулеметные ленты крест-накрест обтягивали его грудь, на поясе висели бутылочные гранаты...

— Постой, постой, Сашец,— взволновался Багрицкий,— ты говоришь — Полупанов? Так я же знаю тот бронепоезд. Он воевал на Украине. А не был ли там комиссаром некто Наум Гимельштейн?

— Был... И перед возвращением на фронт Полупанова и Гимельштейна принимал Владимир Ильич...

— Сашец,— Эдуард обнял меня порывисто,— Сашец. Так я же знал и того Наума Гимельштейна... А как вы думаете,— подмигнул он нам лукаво,— Иосиф Коган — это лирическая фигура? — И внезапно обернулся к Серафимовичу: — А ваш замечательный Кожух, а фадеевский Левинсон, что, они взяты из воздуха?.. Ну что ты еще можешь рассказать, Сашец, про Полупанова и Гимельштейна?..

...Переезжая Москву-реку, мы увидели вдали коломенский кремль и знаменитую Маринкину башню.

— Марина Мнишек? Здесь — в этой башне? И ты до сих пор молчал! Ты же ограниченный человек, Сашец... Ты совсем не знаешь, о чем следует рассказывать. Надо сойти сейчас и осмотреть эту башню. Что? Нельзя? Нас ждут? Все равно я сбегу. Ведь потомки проклянут меня, узнав, что проезжал мимо башни, где сидела прекрасная полячка, и не осмотрел ее...

Он ворчал до самого Голутвина.

...Нас встретили коломенские писатели. Маленький, приземистый заводской поэт Саша Кузин (сейчас он уже дед, редактор газеты и давно не пишет стихов), комсомолец Ваня Монтвилло (в годы культа он хлебнул полную меру горя, выжил, перешел на прозу), ершистый, острый на слово Ваня Семенцов — автогенщик и автор первой заводской повести (сейчас на Дальнем Востоке), местный аптекарь Карлик, «изящный» новеллист, неведомо как попавший в заводский кружок (судьба его мне неизвестна). Семен-

цов и Карлик «оккупировали» Серафимовича, а поэты (их становилось по пути все больше) окружили Эдуарда (мы с Сурковым, свои, будничные, отступили на задний план). Погода была холодная, и я делал всякие угрожающие знаки Багрицкому (он мог совсем сорвать голос), но все было бесполезно. Это было какое-то динамическое собрание кружка, на ходу, в движении. Багрицкий слушал стихи, делал замечания, читал сам. Мы поднялись на виадук, высящийся над железной дорогой. Отсюда был виден и весь завод, и голубая лента Оки, и зеленые, в осеннем багрянце лесные дали. И тут Багрицкий, опершись на барьер, к явному удовольствию поэтов и нашему с Сурковым огорчению, стал читать стихи:

Да здравствует осень!
Сады и степь,
Горючий морской песок...

Поэты смотрели на него благоговейно и влюбленно.

...Мы побывали в цехах. Эдуард все допытывался, где стоял бронепоезд Гимельштейна. В паровозомеханическом цехе обнаружился мастер, ремонтировавший когда-то этот бронепоезд и потом воевавший на нем под Сызранью. Ветеран этот совсем еще не был стар — почти одногодок Багрицкого. К тому же оказался он завзятым рыбаком. Завязалась оживленная «профессиональная» беседа, и мы уже потеряли надежду вытянуть Багрицкого из цеха.

Я прислушался к разговору Эдуарда и мастера и вспомнил давно полюбившиеся строки:

...Отзовитесь, где вы,
Веселые люди моих стихов?
Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.

В автогенном цехе он долго следил за тем, как вернувшийся после встречи к основному своему

труду Ваня Семенцов, лицо которого было скрыто за большим щитом с зелеными стеклами, коротким прутком злектрода сваривал какую-то деталь. Созвездия веселых искр целым роем кружились вокруг автогенной горелки.

Кто-то из цеховых позтов подарил Эдуарду оправленное в деревянную рамку зеленое стеклышко. Он был очень тронут и смущен. Имеет ли он право принять такой подарок?

Потом посмотрел сквозь зеленое стекло на вольтову дугу горелки, на нас всех и усмехнулся:

— Ладно... Вместо розовых очков... Это тоже полезно.

...Перед выступлением в старом заводском театре он очень волновался, советовался со мной и Сурковым. Что читать? Дойдет ли, поймут ли?

— Вот ведь Жарову или Молчанову — тем легко. Гармонь, гармонь, родимая сторонка!.. Или вроде этого. Здорово доходит. Сам слышал. Тебе тоже хорошо, Алеша. Ты ортодокс!.. А мне... Прочту вот «Весну». Опять какой-нибудь Лежнев прослышит и набросится... (Он еще и предполагать тогда не мог, Эдуард, сколько недоброжелателей пострашнее Лежнева вцепятся в него через годы, после его смерти, вцепятся даже в «Думу про Опанаса»!) Что мне читать, Алеша?

Суркова он любил и доверял ему.

— Читай «Весну». Я отвечаю,— сказал смелый Сурков.

Он вышел к рампе. Большой, рыхлый, так и забыв застегнуть ворот косоворотки.

Открыл рот. И сразу закашлялся. Выпил воды. Зал смотрел на него дружелюбно, но настороженно. Сидевший в первом ряду новый знакомый, механик-рыбак из полупановцев, одобряюще кивнул: валяй, мол...

Кашляя и задыхаясь, замирая и снова бросаясь вплавь, прочел он «Контрабандистов». Здорово прочел... Может, именно так, хрипя и задыхаясь, надо было читать зти стихи. Я потом слышал много заслуженных исполнителей. И все это было не то.

Вот и сейчас передо мной возникает мощная фигура Багрицкого на сцене старого коломенского театра и я слышу его рыкающий голос:

...Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот,—
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
— Ай, Черное море,
Хорошее море!..

Он сам был оглушен громом аплодисментов. Оглушен и растерян. Друг-полупановец вскочил с места и что-то кричал восхищенно.

Только инструктор райкома, сидящий рядом со мной, испуганно посмотрел на меня и спросил тихо: «Это где-нибудь напечатано? И проверено?..»

А Багрицкий уже ощутил крепкую связь с аудиторией. Бурные волны уже унесли его в безбрежный океан поэзии. «Выдав» обязательную «Думу про Опанаса», он прочел с полемическим задором и «Разговор с Дементьевым» и «Вмешательство поэта».

Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы...

И, что называется, под занавес «Весна». Это был какой-то взрыв вдохновенного творчества. Он подошел к самому краю сцены, и я боялся — не упал бы он в яму оркестра.

...И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса.

Он рычал, кашлял, пил залпом воду и опять рычал:

А там, над травой,
Над речными узлами,
Весна развернула
Зеленое знамя,—
И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...

И финал:

Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей,
Нырять, подползать
И бросаться в угон,—
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распаханы воды,
И поезд, крутящийся
В мокрой траве, —
Чудовищный вьюн
С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
Воет и злится:
— Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!

Он сразу остановился и, совершенно обессиленный, рухнул в кем-то подставленное старое театральное кресло с высокой спинкой (из реквизита) — трон короля Лира.

Театр загремел. Я торжествующе оглянулся на инструктора райкома. Но его не было...

...— Так вот вы какой, Багрицкий,— сказал уже в поезде, весело прищурив глаз, Серафимович.— Вот налажу весной свой корабль... Приглашаю вас в компанию. На Дон.

Для нашего «старшого» это было высшее выражение признания человека и доверия к нему.

5

Вскоре после поездки в Коломну Эдуард Георгиевич позвонил мне по телефону:

— Сашец, я болен. Приезжай. Посмотришь новых рыб. Обязательно.

Какие-то интонации в хриплом голосе Багрицкого встревожили меня. Через два часа я был в Кунцеве.

...Эдуард сидел, как обычно, на тахте, в старом

экзотическом халате. Вокруг на подушках рассыпаны были листки рукописей.

У стола сидели Фадеев и Селивановский. Голубоватые облака астматола клубились по комнате.

«Эге,— подумал я,— целое совещание».

— Ребята,— сказал Багрицкий,— о рыбах разговора не будет. Я прочту вам для начала стихи.

Для начала? Что это значит — для начала?.. Однако мы ни о чем не расспрашивали.

Эдуард читал, не глядя на разбросанные листки. Только иногда повторял строфу, точно прислушиваясь к звучанию слов, схватывал листок и молниеносно что-то отмечал в нем.

Это были знаменитые сейчас «Стихи о себе».

Чорт знает где,
На станции ночной,
Читатель мой,
Ты встретишься со мной.
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен,—
А мне казалось,
Что моложе он...
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
— А мне казалось,
Что моложе вы!..

Так, вытерев ладони о штаны,
Встречаются работники страны.

Это теперь так напечатано: «вытерев ладони о штаны»... Мне помнится, что тогда он прочел поиному, что-то более «высокое» и «романтическое», что-то вроде «тысячью ветров обожжены»... Прочел два раза, неопределенно хмыкнул, черкнул на листке и стал читать дальше. Конечно, ручаться за точность этого впервые услышанного текста теперь, через тридцать лет, трудно.

...Довольно бреда,
Время для труда...

Откинулся на подушки, закашлялся, выпрямился, затянулся сигаретой, оглядел нас зорко и сразу продолжал:

— А теперь слушайте внимательно. Мне очень, очень важно, чтобы вы, друзья мои, рапповцы, правильно почувствовали это стихотворение.

Это были стихи о Феликсе Дзержинском. «ТВС». Первый вариант. Черновик.

Это были такие стихи, от чтения которых задыхался не только сам автор, но и мы, слушатели, никогда не болевшие астмой.

Застыл, вцепившись в подлокотники кресла, Алеша Селивановский. Сурово свел брови и весь устремился вперед, боясь пропустить слово, Саша Фадеев.

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать,
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги»,— солги.
Но если он скажет: «Убей»,— убей.

Эдуард замолчал. Но мы чувствовали, что это не конец, что это задержка на полустанке, что трагическая поэма только начинает свой разбег. И мы не ошиблись. Это ведь была поэма не только о Дзержинском, это была исповедь поэта. Это звучало как присяга, как клятва. Сколько напряженных творческих месяцев прошло от «Ржавых листьев»...

О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей —
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я...

И опять остановка. Опять перекресток и неожиданно спокойная, уверенная волна финала;

...И я ухожу (а вокруг темно),
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собранье рабкоровского кружка...

Оборвал, закрыл глаза, точно прислушиваясь к биению собственного сердца. Потом осушил залпом стакан воды и закурил очередную папиросу.

Всякие разговоры и оценки были сейчас неуместны. Багрицкий сам понял, что стихи не то что глубоко взволновали — они потрясли нас.

Он собрал листки, сложил их в папку, сделал на ней какую-то надпись и тихо, точно про себя, заметил:

— Я хочу включить эти стихи в книгу, которую назову «Победитель». Победитель... Это тебе понятно, Алеша?

Селивановский молча кивнул головой.

— Литературный вечер окончен,— сказал Багрицкий.— А теперь, товарищи вожди пролетарской литературы, перейдем к прозе. «Левый попутчик» Эдуард Багрицкий решил вступить в МАПП.

Только вчера на президиуме МАПП мы говорили о большой, искренней близости к нам таких поэтов, как Багрицкий и Луговской. Очень тепло отзывался о Багрицком Серафимович.

Да и вообще странным было, что такие замечательные, ведущие поэты наших дней, как Маяковский, Багрицкий, Луговской, по какой-то случайной групповой «паспортизации» находятся вне основной организации пролетарских писателей.

И все же заявление Багрицкого было для нас неожиданным.

Все мы прекрасно знали, что вхождение Эдуарда (как, впрочем, и некоторых других писателей) в «Литературный центр конструктивистов» было столь же случайным, как и прошлое пребывание его в «Перевале».

Однако, уже выйдя из «Перевала» (1925 год), Багрицкий весьма болезненно переживал злобные нападки на него бывших «коллег». Да и вся литера-

турно-групповая грызня чрезвычайно раздражала его.

Особенно негодовал он на обывательско-групповую статью А. Лежнева. На нее он ответил памфлетно-полемическим «Вмешательством поэта».

Переход к конструктивистам означал для Багрицкого некоторое «полевение». Здесь были у него друзья — Сельвинский, Луговской, Зелинский. Никакого, однако, участия в работе конструктивистов он не принимал. По самому своему характеру он, несмотря на болезнь, был далек от академической камерности. Он мечтал о широких рабочих аудиториях, о настоящей связи с массами. Он любил молодых литкружковцев, часто общался с ними, помогал их творческому росту.

С пролетарскими писателями связывали его тесные узы дружбы. Приход его в МАПП был органичен. Он сочетался со всем развитием его поэтического искусства, со всей его революционной и творческой биографией.

Однако (и мы это хорошо понимали) уже травмированный перевальцами, он боялся, что всякие литературные мещане опять начнут обвинять его в ренегатстве, в приспособленчестве, в конформизме и подобных смертных грехах.

И все-таки он (как и Маяковский, как и Луговской) оказался выше этих своих страхов... Мы в тот вечер были бесконечно рады за нашего мужественного друга.

Уже нет в живых ни Багрицкого, ни Фадеева, ни Селивановского. Жизнь каждого из них была по-своему сложна и по-своему трагична. Но я думаю, что и Саша Фадеев и Алеша Селивановский подтвердили бы, что никакие «групповые» соображения в тот вечер не окрашивали нашу радость. (Хотя, увы, в литературной жизни нашей, чего греха таить, подчас они играли немалую роль.) Мы понимали, что в наши ряды не формально, не организационно только, а всем революционным существом своего творчества, всей своей политической направлен-

ностью пришел один из самых значительных поэтов современности...

Не произнося никаких фанфарных слов, мы один за другим крепко обняли Эдуарда.

...В феврале 1930 года на Московской конференции пролетарских писателей Эдуард Багрицкий вместе с Владимиром Маяковским и Владимиром Луговским был принят в РАПП. Единогласно. Маяковский вместо речи прочел свое программное вступление к поэме «Во весь голос», потом взволнованно из угла в угол мерял шагами маленькую комнату за сценой, курил папиросу за папиросой. Луговской, сдвинув легендарные свои брови, был замкнут и молчалив. Багрицкий шутил и кашлял... Но мы, изучившие даже интонации его кашля, чувствовали, что он возбужден до предела.

Это был поистине знаменательный день в истории пролетарской литературы...

6

Вступление Эдуарда в РАПП мало что изменило в его жизни, как творческой, так и бытовой.

Конечно, руководители РАПП всячески козыряли тем, что «удалось перевоспитать» такого большого поэта, как Багрицкий.

Но, по правде говоря, «перевоспитывать» Багрицкого нам не приходилось. Да уж если говорить о «воспитании», то Багрицкий пришел в РАПП не потому, что он стал таким же «пролетарским» поэтом, как Жаров или Молчанов, «примкнул» к нам. Воспитала Багрицкого революция, партия, которая уверенно вела страну по социалистическому пути.

И не из-за каких-либо «групповых» соображений, которые Багрицкий всегда презирал, пришел он в Ассоциацию пролетарских писателей. Ему, как и Маяковскому, казалось (и казалось справедливо), что, вступая в самую массовую писательскую организацию, он тем самым выражает свое истинное отношение к партии, к народу, к революции.

У нас в РАПП не все это поняли. В самой организации была сложная табель о рангах: «истинные напостовцы», «ненастоящие напостовцы», просто «попутчики», «левые попутчики», «союзники», «внутренние попутчики» и т. д. и т. п.

Иногда трудно было разобраться в этой сложной «сетке» и точно уложить писателя на ту или иную полочку, превращавшуюся порой в пресловутое ложе Прокруста.

В напостовском штабе не раз возникал вопрос: как работать с Багрицким?

А с Багрицким особой работы проводить и не требовалось. Надо было просто искренне принять его в свою среду, стать ближе к нему, дать ему ощутить столь важное во всей жизни нашей и творчестве «чувство локтя».

И, конечно, следовало учесть, что после вступления Багрицкого в РАПП он мог очутиться в некоем вакууме. Произошел разрыв (как это было в свое время с перевальцами) с друзьями-конструктивистами. Надо было этот вакуум предотвратить, избавить Эдуарда как от групповых нападок, так и от излишне назойливого покровительства, того самого покровительства с «нажимом», которое сыграло столь вредную роль в судьбе Сергея Есенина.

Прямо надо сказать, одиночества Багрицкий не ощущал. Ведь еще до вступления в РАПП он дружил и с Фадеевым, и с Селивановским, и с Сурковым. Хорошая дружба связала его с Луговским, с замечательно чутким и очень доброжелательным Михаилом Григорьевичем Огневым, автором «Дневника Кости Рябцева».

Все большее участие принимал он в воспитании молодых поэтов. От них не было отбоя, в особенности когда Багрицкий переехал из Кунцева в город, получив квартиру в писательском доме на Камергерском переулке (теперь проезд МХАТа).

С большим удовольствием поехал он вместе со мной и Алешей Селивановским на Иваново-Вознесенскую конференцию пролетарских писателей. Ненавидящий всякую позу и фразу, безразлично отно-

сящийся к славе, он, однако, знал себе цену и не преуменьшал роли своей в современной поэзии. А проблема славы просто не интересовала его.

Однако он был необычайно тронут тем горячим приемом, который устроили ему в старинном пролетарском центре, в городе ткачей, городе Фрунзе и Фурманова.

Кстати сказать, он не успел как следует познакомиться с Фурмановым, но очень высоко ценил его и часто подробно расспрашивал меня о его жизни.

На официальных заседаниях конференции он почти не бывал. По фабрикам, из-за болезни (новый припадок астмы), тоже не ходил. Но номер его в гостинице был с утра до вечера переполнен поэтами. Не знаю, откровенно говоря, где проводилась более значительная творческая работа с поэтами — в зале заседаний конференции или в номере Багрицкого. Во всяком случае, мы даже начали сердиться на Эдуарда — «отсасывает» делегатов...

А мне, признаться, не раз хотелось тоже «сбежать» и послушать, еще в который раз послушать, как беседует Багрицкий с молодежью, как читает он стихи.

Вечером у Багрицкого собирался «пленум». Он сидел по-домашнему, на тахте, по-турецки, расстегнув ворот, в облаках астматола. Только знаменитой кавалерийской шашки не было над его головой. Да не переливались вокруг всеми цветами подсвеченные лампочками диковинные рыбы в аквариумах.

Я не могу уже припомнить всех старых и молодых ивановских поэтов, которые окружали Багрицкого. Многие из них стали уже давно «мастерами», а иных уже нет. Это было тридцать три года тому назад. Тридцать лет и три года!

Помню коренного певца текстильного края Александра Благова, совсем еще молодого поэта Виктора Полторацкого, кажется, были там и примеченный еще Горьким Дмитрий Семеновский и владимирец Павел Лосев.

Это был настоящий университет культуры. Багрицкий, клокоча, читал в своих и чужих переводах

Шекспира, Бернса, Бодлера, Рембо, Киплинга (наизусть!).

Впервые я услышал тогда в его мастерском, неповторимом исполнении киплинговского «Томлинсона».

На Берклей-сквере Томлинсон скончался в два часа,
Явился призрак и схватил его за волоса...
...Но каждый в грехе, совершенном вдвоем,
Отвечает сам за себя.

Мороз подирал по коже, когда он читал (несравненно читал... И я даже подумал, что Киплинг еще жив и мог бы его услышать...) «Мэри Глостер».

В обшивку пустого трюма глухо плещет волна,
Журча, клокоча, качая, спокойна, темна и зла,
Врывается в люки... Все выше. Переборка сдала!..
Слышишь? Все затопило от носа и до кормы.
Ты не видывал смерти, Дикки? Учись, как уходим мы!..

Он откидывался к стене, закрывал глаза, тяжело дышал, и мы хотели остановить его, запретить читать дальше. Но он не обращал на нас внимания.

Он читал Блока, Анненского, Гумилева, забытую Каролину Павлову (!), Сельвинского, Дементьева... (Наизусть, все наизусть!..)

— Эдуард Георгиевич,— сказал ему восхищенно один молодой поэт,— у вас не голова, а целый глобус.

Последние два вечера он ничего не читал. Он слушал молодых. Слушал внимательно, сдвинув брови, слушал придирчиво, я бы сказал, даже зло.

В оценке поэзии он не был добряком. Он ненавидел халтуру и гладкопись, приспособленчество, всякий литературный блат. Но если он замечал настоящую искорку в стихах, пусть еще далеко не совершенных, он преображался. Брал у автора рукопись, сам читал ее про себя, потом на слух, точно дегустатор добротного вина. Потом долго показывал автору, что следует исправить, выполоть. Показывал не как ментор, а как добрый старший товарищ. Так же как одного из первых «молодых» полюбил он Колю Дементьева (очень тяжело он переживал трагическую гибель своего юного друга), так же прикипел он сердцем к уральцу Борису Ручьеву, ива-

новцу Александру Благову. Так же заботливо, вдохновенно, бережно (чтобы не подавить их собственные интонации) работал он впоследствии с совсем еще не оперившимся Евгением Долматовским, Павлом Железновым, Василием Сидоровым, Леней Кацнельсоном, Владимиром Авруценко, Панченко, Шпиртом и многими другими.

И те из них, кто вошел в большую литературу, несомненно вспоминают об Эдуарде как о самом дорогом для них человеке.

...В последнюю ночь перед отъездом из Иванова я рассказал Багрицкому, что Фурманов мечтал написать пьесу о своих земляках, именно пьесу, о ткачах («Не по Гауптману,— говорил он,— а по Ленину»). Не успел...

Эдуард глубоко задумался.

— Да,— сказал он тихо с непривычной грустью.— Надо успеть. Надо успеть. Сказать большое, настоящее, нужное людям...

...Жестокий недуг все чаще напоминал о себе, мешая жить и работать.

Осенью тридцатого года Эдуард Багрицкий, включенный в состав делегации ВОАПП, выехал в Харьков, на вторую Международную конференцию революционных писателей. В поезде он был очень оживлен. Высокий знаток и ценитель европейской поэзии, переводчик Гуда, Бернса, Бена Джонсона, Ронсара, Рембо, он почти не встречался еще с зарубежными поэтами, никогда не был на европейском Западе.

Оживленно беседовал он сейчас с Иоганнесом Бехером, Луи Арагоном, Майклом Голдом, читал Арагону и Эльзе Триоле свои переводы Ронсара и Рембо, читал и даже пел «Старый фрак» Беранже и восторженно слушал, как читал стихи французских поэтов сам Арагон.

Однако принять участие в работе конференции, в харьковском Доме Блакитного, Багрицкому не пришлось. Приступ астмы. Один из самых жестоких.

Как жалел он, что не может покинуть четырех стен своего номера (врачи категорически запретили),

как рычал на нас, когда мы отказывались взять его на большой международный вечер поэзии, устроенный на одном из харьковских заводов.

— Не делайте из меня Шильонского узника,— свирепел он.— Я все равно сбегу... Вы еще узнаете, на что способен Багрицкий...

И снова приступ жестокого, губительного кашля.

Добрый друг Михаил Григорьевич Огнев приносил ему обеды из Дома Блакитного.

Он почти ничего не ел. Он похож был на дряхлеющего, но еще грозного льва в клетке.

И все же в его номере нескончаемой вереницей сменялись гости. Украинские поэты (он читал им любимого Шевченко), Аладар Комьят, Матэ Залка, Антал Гидаш с друзьями-венграми (он читал им переводы из Шандора Петефи), юные немецкие антифашисты из молодежной лиги (он читал им Фрейлиграта и Райнера Мариа Рильке).

Приходили и совсем не писатели... Харьковские горожане. Инженеры. Охотники. Рыбоводы. Посмотреть и послушать Багрицкого.

Однажды после вечернего заседания конференции я пришел навестить больного и ахнул: комната была переполнена.

Среди незнакомых посетителей находились и делегаты конференции. Эдуард, сидя в глубоком кресле, «во весь голос» читал любимый свой монолог Тиля Уленшпигеля.

Тилю Уленшпигелю Багрицкий посвятил несколько стихотворений. Он рассказывал мне, что мечтает написать большую драматическую поэму.

Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак,
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем — вперед!
...Пусть пепел Клааса ударит в сердце!
И силой новою я преисполнюсь,
И новым пламенем воспламенюсь,
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.

И другой монолог Тиля Уленшпигеля, монолог грозный, веселый и беспощадный:

Я — Уленшпигель. Нет такой деревни,
Где б не был я; нет города такого,
Чьи площади не слышали б меня.
И пепел Клааса стучится в сердце.
И в меру стуку этому протяжно
Я распеваю песни...

Как прекрасно была выражена в этой незаконченной драматической поэме Багрицкого мятежность Тиля Уленшпигеля, этого веселого и, казалось бы, бесшабашного бродяги, как прекрасно возникал народный фламандский образ! Как совпадала художественная характеристика образа, данная Багрицким, с подобной же характеристикой Роллана, а потом иллюстрациями художника Кибрика!

И пепел Клааса стучится в сердце,
И сердце разрывается, и песня
Гремит грозней. Уж не хватает духа,
Клубок горячий к языку подходит,—
И не пою я, а кричу, как ястреб:
«Солдаты Фландрии, давно ли вы
Коней своих забыли, оседлавши
Взамен их скамьи в кабаках? Довольно
Кинжалами раскалывать орехи
И шпорами почесывать затылки,
Дыша вином у непотребных девок!
Стучат мечи, пылают города.
Готовьтесь к бою! Грянул страшный час.
И кто на посвист жаворонка вам
Ответит криком петуха, тот — с нами».

Больной, задыхающийся Эдуард Багрицкий продолжал оставаться в строю.

...На Днепрострой он с нами не поехал... Врачи отправили его в Москву.

7

Он мечтал о большой теме. Он боялся не успеть... Слава его все росла. А ему казалось, что он сделал еще так мало, что все значительное еще впереди.

1932 год был его «Болдинской осенью». Он написал «Последнюю ночь», «Человека предместья»,

«Смерть пионерки», либретто «Думы про Опанаса», он готовил радиокомпозицию «Тарас Шевченко» и сделал первые наброски поэмы «Февраль».

Он спешил. Ему все казалось, что не сумеет он угнаться за огромными событиями, происходящими в стране, в мире.

Глубоко взволновал его первый взлет стратостата...

— Вот,— говорил он, грустно усмехаясь,— а я уже с трудом в лифте взбираюсь на свой шестой этаж.— И, сразу переходя на полный серьез: — Наши поэты не умеют чувствовать масштаба происходящих событий!..

...«Смерть пионерки» была его стратостатом, его высшим взлетом. Он опять собрал нас у себя на Камергерском. Никаких вступительных разговоров не было. Мы даже не рассматривали белого попугаякакаду, последнее приобретение Эдуарда.

Багрицкий был очень сдержан, даже сумрачен, но по тому, как беспрестанно двигались его седые брови, как барабанили пальцы по столу (он сидел — редкий случай! — не на тахте, а за столом, и раскрытая, исчерченная всякими поправками рукопись лежала перед ним), я понял, как сильно он взволнован.

Да... Это была последняя часть, апофеоз огромной симфонической поэмы, в которой были и «Ржавые листья», и «Дума про Опанаса», и «Тиль Уленшпигель», и «Разговор с комсомольцем Дементьевым», и «ТВС». Я глядел на всклокоченную седую голову Эдуарда, слушал его глухой, хриплый голос, а где-то в глубине сознания возникали звуки Девятой симфонии и буйная голова великого композитора...

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас.
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай, содружество
Ворона с бойцом, —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

...И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров...

Это была страстная исповедь поэта-победителя. Это было высокое вдохновенное искусство...



Евгений
Петров

1

Он ненавидел равнодушных людей. Большинство тем, которые он предлагал на заседании редакции «Красного перца», были направлены против равнодушия, черствости, бюрократизма. Это была заря нашей сатиры. Это была наша ранняя молодость.

Юмористический журнал «Красный перец» издавала газета «Рабочая Москва». Женя Петров появился в журнале незаметно и как-то сразу стал одним из самых близких, самых основных. Его острые фельетоны, подписываемые часто псевдонимом «Иностранец Федоров», с особым удовольствием заслушивались на редакционных совещаниях. Он вскоре стал душой журнала, руководителем литературной части, а потом и секретарем. Сколько острых тем предложил Петров, сколько «мелочишек», подписей к рисункам!..

Потом Петров сдружился с Ильей Ильфом. Они стали известными писателями, написали «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Одноэтажную Америку», много рассказов, фельетонов, очерков и памфлетов.

Об этой поре их деятельности написано немало. Хотя далеко не достаточно. Я мало знал Ильфа, и мне хочется рассказать о моем старом друге, с которым не раз сводила нас судьба на дорогах жизни. О Евгении Петрове.

2

В 1933 году было закончено строительство Беломорско-Балтийского канала. По предложению Алексея Максимовича Горького большая группа московских и ленинградских писателей совершила поездку по каналу уже на втором пароходе (первый был правительственный). Основной задачей поездки являлось — написать коллективную книгу о канале и его строителях.

Целый писательский клуб выехал из Ленинграда

в Медвежьегорск, а из Медвежьегорска двинулся уже по каналу на пароходе. Узнав, что едут писатели, жители карельских поселков выходили навстречу на всех станциях и полустанках.

— Горького... Горького!

Кто-нибудь из нас сообщал, что Алексей Максимович нездоров и не сумел выехать.

— Зощенко... Ильфа и Петрова...— вызывали читатели знаменитых наших юмористов.

Михаил Михайлович Зощенко, маленький, скромный, выходил на площадку.

— Скажите что-нибудь смешное,— просила высокая светловолосая девушка, и губы ее уже расплывались в улыбке.

Зощенко писал в то время свою «физиологическую» повесть о продлении жизни.

— Я, девушки, не пишу смешного,— мрачновато говорил он.— Я пишу научное.

Взрыв смеха.

Ильфа и Петрова забрасывали сотней вопросов. Все их книги были широко известны. Находились ярые поклонники Остапа Бендера и негодующие противники его.

Отвечал на вопросы за обоих писателей один Женя. Отвечал обстоятельно, договаривая последние слова и дописывая автографы уже на ходу поезда.

Помню, что один юноша так увлекся разговором, что проехал с нами целый полустанок.

Поездка, конечно, получилась необычайно интересной. В мою задачу не входит сейчас рассказывать о красоте карельских озер и водопадов, о замечательной встрече на Выг-озере с возвращающимся первым пароходом, о шлюзах канала.

Особенно хорош был усмиренный водопад Падун. Освещенные ярким солнцем каскады его казались совсем рыжими.

— Точно шкура старого тигра,— неожиданно сказал Петров.

Догадываясь о цели нашей поездки, руководители лагерей знакомили нас с наиболее интерес-

ными из бывших преступников — ныне героических участников сооружения канала. Тогда в моде было слово «перековка». Как «перековались» в труде бывшие воры и бандиты? И здесь не обошлось без комических деталей.

Петров разговорился с немолодым уже человеком, строителем канала. Я заметил, что один из начальников, поглядывая в их сторону, недовольно покачивает головой.

— Не с тем человеком беседует,— сказал он мне наконец раздраженно.— Этот что, обыкновенный «форточник». Я бы для писателя Петрова такого бандита нашел... Пять убийств... Вот это материал...

Мы долго смеялись потом в кубрике над обидой незадачливого начальника. Больше всех смеялся сам Женя.

Да, кстати, о кубрике.

Все наши «классики» были размещены по комфортабельным каютам. Но кают было немного, и остальные, менее знаменитые пассажиры были поселены в матросском кубрике. Пароход разделился на «мастистых» и «костистых».

Ильф и Петров оказались среди «мастистых». В нашем кубрике очутились Безыменский, Авдеенко, художники Кукрыниксы, критик Чарный. Кубрик был веселый, песенный, и к концу путешествия Ильф и Петров перебежали из «мастистых» в «костистые».

«Костистые» затеяли выпуск «пароходной газеты». Она была названа «За душевное слово», изобиловала острыми эпиграммами, карикатурами Кукрыниксов и доставила всем пассажирам много веселых, а иным и неприятных минут. Острый фельетон о «путешественниках» был вступительным взносом Ильфа и Петрова в орден «костистых».

Не знаю, сохранилась ли где-нибудь эта замечательная газета. А разыскать бы ее надо было. Острые стихотворные и прозаические строки наших лучших сатириков, нашедшие место на столбцах газеты «За душевное слово», так и не были потом нигде воспроизведены.

Помню, что, когда выехали в Белое море, ввиду похолодания писателям были выданы очень теплые джемперы.

На обратном пути при возвращении их хозяевам никак не могли досчитаться двух джемперов.

По этому поводу в газете «За душевное слово» был опубликован хлесткий фельетон, заканчивающийся двустишием:

Мастера пера, пера,
Возвращайте джемпера!..

...В поселке Повенец («Повенец — всему свету венец») мы навестили расположенный там пионерский лагерь.

Ребята радостно встретили хорошо известных им писателей. После беседы состоялся дружеский волейбольный матч. Против шести загорелых крепышей пионеров писатели выдвинули команду: трех Кукрыниксов, Авдеенко, Безыменского и меня, грешного. Судил Женя Петров.

Мы выбивались из сил. Но безуспешно. Нас, как говорится, били и не давали вздохнуть.

Петров судил сурово и беспощадно. Не пропустил нам ни одной ошибки. А на скамейках вокруг площадки сидели наши достославные юмористы — Катаев, Ильф, Зощенко. Каждый наш плохой удар они ехидно комментировали под общий хохот болельщиков.

К концу игры Безыменский не выдержал и оставил поле боя. В общем, обыграли нас пионеры под ноль, к общему удовольствию...

Уже через полгода, в Москве, я встретил на площади Дзержинского мальчика в цигейковой шубке, который, вглядевшись, ухватил меня за рукав и весело напомнил:

— Дяденька писатель. А здорово мы вас всухую обыграли. Тогда на канале.

Конечно, в тот же день я сообщил по телефону об этой встрече нашему суровому судье...

— Деталь,— сказал, смеясь, Петров,— замечательная деталь, старик...

3

Вскоре после смерти Ильфа, которую Женя Петров очень тяжело переживал, мы поехали с ним в долгую командировку на Дальний Восток. Это было в 1937 году. Хабаровск. Биробиджан. Комсомольск-на-Амуре. Владивосток.

В Хабаровске пробыли мы недолго. Петров любил ходить по хабаровским улицам, заглядывать в магазины, потолкаться на рынках, поговорить с людьми в фойе кинотеатров, посмотреть, каков сервис в ресторанах.

Острый взгляд его подмечал недостатки аппарата, всевозможные извивы бюрократизма.

Он опубликовал в «Правде» и «Тихоокеанской звезде» первые хлесткие фельетоны о недостатках хабаровской торговой сети, о том, почему на берегу Амура нет рыбных блюд в ресторанах, и о грязи в хабаровских гостиницах. Хабаровские торговцы приходили в смятение, уже издали увидев беспокойного журналиста на центральной улице.

В хабаровских кафе уже знали, что Петров пьет чай только вприкуску.

«Петров идет»,— как бы по цепи передавалось из магазина в магазин. Петров идет. Значит, надо быть настороже. Этот все заметит. Заметит и не пощадит. Популярность его в Хабаровске росла с каждым днем. Записная книжка его все пухла.

Из Хабаровска мы вылетели в Биробиджан.

— Мне передавали,— сказал Петров,— что в Биробиджане нашли свою вторую родину некоторые одесские евреи. Очень интересно посмотреть, как трудятся на земле родственники Бени Крика.

Полет продолжался не более часа. Мы не успели даже как следует познакомиться с попутчиками. Но от аэродрома до города было километров пятнадцать. И тут вот опять нашлась обильная пища для благородной ярости Жени-обличителя и материал для нового ядовитого фельетона.

Во-первых, никаких автомашин на аэродроме не оказалось. После двухчасового ожидания нам удалось влезть в кузов случайного грузовика, переполненного какими-то металлическими деталями, которые всю дорогу с дребезгом перекатывались и норовили ударить нас по самым нежным местам своими острыми неудобными гранями. Во-вторых, машина оказалась родственницей «антилопы». Радиатор беспрестанно закипал, и грузовик каждые два километра останавливался, извергая целую дымовую завесу. В-третьих, дорога была абсолютно разбитой, перерезанной оврагами и колдобинами. Дороги и сервис были всегда главным коньком Жени Петрова. Трудно сейчас воспроизвести всю бесконечную цепь сверкающих одесских эпитетов, которыми награждал Петров и машину и ее незадачливого водителя...

Как бы то ни было, часов через пять мы прибыли в столицу Биробиджана, проехали не останавливаясь мимо парка культуры и отдыха, мельком заметив высокий памятник, задрапированный в какие-то алые ткани, карусель с деревянными конями, и выехали на центральную площадь к зданию горсовета.

Во всю ширь центральной площади разлилось не то маленькое озеро, не то гигантская лужа.

— Привет от Эн Ве Гоголя,— сказал Петров, когда мы оставили наконец грузовик, который был уже накануне своего полного распада.— Мы думали попасть в Биробиджан, а оказывается, попали в Миргород. И даже противопоказанные по закону Моисея свиньи прекрасно чувствуют себя в этой столичной купальне.

Впрочем, мы скоро позабыли об этой луже. В горсовете нас приняли очень любезно, рассказали о темпах развития хозяйства в Биробиджане, о росте сельского хозяйства, о замечательной дружбе между исконными жителями — амурскими казаками и переселенцами-евреями.

В этой дружбе мы очень скоро убедились сами, когда в одном из колхозов познакомились с очаровательной голубоглазой девчуркой лет шести, которая одинаково хорошо говорила по-русски и по-ев-

рейски. Девочка оказалась сиротой. Родители ее, местные жители-казаки, умерли, ее удочерили и воспитали соседи-евреи — переселенцы из Могилева.

Женя много раз со всех сторон снимал девчурку.

— Это замечательно... Нет, ты даже не можешь себе представить, до чего это замечательно,— беспрестанно твердил он.

Появились уже и смешанные семьи, живущие весело и дружно...

Перед выездом в колхозы мы зашли в гости к местным еврейским писателям. Состоялся импровизированный вечер. Не помню сейчас всех выступавших. Но королем был молодой Эммануил Казакевич, читавший свои лирические стихи. Это было первое наше знакомство с будущим автором «Звезды».

Забавно было то, что Петрова, благодаря одесскому акценту, приняли сначала за еврея и просили его перевести мне выступление одного местного писателя, говорившего на родном языке... Вечер закончился общим пением, даже плясками. Особо популярной была в те дни песенка из фильма «Искатели счастья», в котором главную роль играл наш хороший приятель Вениамин Зускин...

В большом колхозе «Валдгейм», куда мы выехали назавтра (на «газике» горсовета), мы провели целый день. Нам показывали богатые поля колхоза, сады, огороды, скот. Ни я, ни Петров никогда не занимались проблемами сельского хозяйства, и нам трудно было компетентно судить об уровне обработки земли, о качестве отдельных культур. Но мы впервые видели «евреев на земле», и мы чувствовали, что живут здесь хорошо и весело, трудятся в поте лица, но пожинают плоды своего труда. Полное отсутствие национальной розни особенно радовало Женю Петрова.

Один из старожилов колхоза, коренастый усатый еврей, рассказал нам легенду, вошедшую уже в колхозный эпос. О пяти братьях Файвиловичах, первых евреях, приехавших в Биробиджан. Может быть, из Одессы, а может быть, из Николаева. Они были

сильные и даже могучие люди. Старший брат, Бенцион, расчищал тайгу. Огромный удав бросился на него и сдавил своими кольцами. Но Бенцион разжал эти кольца и отрубил голову удаву. Но это еще был не подвиг, а четверть подвига. Второй брат, Наум, тоже прорубал просеку в тайге, и прямо на него выскочил дикий бешеный кабан. Пена клочьями свисала с его ядовитых клыков. Но Наум не растерялся. Вонзил нож в сердце кабана и убил его.

— А потом зажарил и съел? — недоверчиво с усмешкой спросил сопровождавший нас шофер горсовета Панас Дорощенко, украинец из Полтавы, недавно приехавший в эти места.

— Нет, что вы,— отбрил шофера рассказчик,— никто из Файвиловичей не ел трефного мяса.

— Но и это еще не был подвиг,— продолжал наш летописец медлительно, со вкусом, сам с удовольствием прислушиваясь к своим словам и все время наблюдая, какое они производят на нас впечатление,— это еще было полподвига. Третий Файвилович, Исаак, уже прорубив просеку, вышел на берег реки Биджан. В руках у него был заостренный кол, который он хотел вбить как последнюю отметку. И тут из зарослей камыша на него бросился... Кто бы вы думали? — Он выждал минуту и торжествующе поднял голос: — Тигр... Огромный уссурийский тигр бросился на Исаака Файвиловича. Тогда наш храбрый еврейский казак всадил свой острый кол прямо в пасть уссурийскому тигру и пробил его всего до хвоста. Этого несчастного тигра вместе с колом надо было засушить и отправить в музей. Но никто не догадался это сделать... Но и это еще не был подвиг, а только три четверти подвига.

Петров толкнул меня в бок... Глаза его блестели. Он, видимо, испытывал истинное наслаждение.

— Четвертый Файвилович, Хаим, бывший ученый и даже талмудист, стал пограничником. Он стоял ночью на часах у самого кордона. И он услышал шорох в траве, идущий с той стороны границы. И он увидел во тьме, как три диверсанта, вооружен-

ные до зубов, переползают на нашу родную землю. Может быть, это были скорее белогвардейцы, а может быть, хунхузы. Ему некогда было в этом разбираться. Он вступил в бой с этими нарушителями. Один против трех. Он стрелял в них из своего ружья и бросил в них гранату-лимонку. Он сам был изранен в разных местах. Но он не дал диверсантам проникнуть на нашу землю. И два шпиона были убиты Хаимом, а третий взят в плен. Вот это уже был почти подвиг... И об этом почти подвиге даже писали в нашей военной газете «Тревога».

Рассказчик помолчал, вынул расческу, провел ею по густым своим усам и, заранее предвкушая эффект от финала своего рассказа (в глазах его появилась едва заметная хитринка), продолжал:

— Я говорил «почти»... Потому что целый подвиг совершил самый молодой Файвилович, Владимир. Вы слышите — Владимир Файвилович. Его дедушку убили в 1906 году погромщики, а ему дали такое замечательное имя в часть Владимира Ильича Ленина. И этот совсем юноша Владимир Файвилович, еще не кончивший свои десять классов, сумел создать здесь, на новой земле, такой огород, которому завидует весь Биробиджан, да что там Биробиджан, весь Дальний Восток. Он вырастил огурец величиной в два локтя и сладкий, как арбуз. Такой огурец можно послать даже в Соединенные Штаты Америки, чтобы сам президент господин Рузвельт увидел, как работают евреи на родной земле. И сегодня мы будем с вами кушать салат из этого огурца. Вот... Все...

...И мы действительно ели салат из огурца, сладкого как арбуз. Нас окружили евреи и казаки, взрослые и дети. Мы, конечно, понимали, что не все так лучезарно в колхозе, как нам показалось с первого взгляда, и что имеются здесь свои большие трудности, и свои препятствия, и горести. Но мы верили, что такие люди, как эпические братья Файвиловичи, сумеют с этими трудностями справиться.

К концу дня, полного необычайных впечатлений, я заметил, что веселые глаза Жени Петрова потуск-

нели. Я ни о чем не расспрашивал его. Он сам сказал мне тихо и печально:

— Ты, конечно, считаешь, что я сейчас вспоминаю об Ильфе. Это верно. Он всегда неотделим, он со мной всегда. Но сейчас я подумал о Бабеле. Как жаль, что его нет с нами.

Перед отъездом из Биробиджана мы совершили прогулку по городу. В парке мы задержались у памятника. Он изображал аллегорическую фигуру женщины, держащей в руках факел свободы. Вся нижняя половина памятника была зашита фанерой и задрапирована красной материей.

Сопровождающий нас писатель улыбаясь рассказал, что с памятником произошла большая неприятность. Подобные ему статуи (женщины-свободы и юноши-атлеты) были разосланы по многим городам Дальнего Востока. Памятники были сконструированы из двух половин. Но в пути ящики перемешались, и в Биробиджан пришел верх памятника с женским торсом, а низ — мужской (от юноши-атлета). Исправлять ошибку путейцев было хлопотно, и пришлось скомбинировать памятник с соответствующей драпировкой.

Петров смеялся до упаду... Как и всюду в нашем путешествии, эпическое и комическое существовали рядом. Чтоб увековечить наше пребывание в биробиджанском парке культуры и отдыха, мы сфотографировались, как истые казаки, верхом на стремительных конях деревянной карусели...

4

В поселке крайкома партии, близ Хабаровска, над рекой Уссури, мы повстречались с Василием Константиновичем Блюхером. Он приехал откуда-то с официального приема и не успел снять парадного мундира, украшенного многими орденами. Мы попросили Блюхера рассказать историю этих орденов.

Мы знали, что он был первым в стране кавалером ордена Боевого Красного Знамени. Маршал усмехнулся. Однако согласился. В тот вечер Блюхер был, что называется, в ударе. Несколько часов подряд он рассказывал нам историю первого ордена, рассказывал о гражданской войне, о том, как в 1918 году он, сормовский рабочий, солдат первой мировой войны, председатель Челябинского ревкома, объединил под своим командованием добрый десяток разрозненных красноармейских и партизанских отрядов. О том, как совершил он с ними свой легендарный переход по Уралу, громя белогвардейские войска.

Уральский областной комитет РКП(б) в письме к Владимиру Ильичу Ленину ходатайствовал, «чтобы Блюхер с его отрядами был отмечен высшей наградой, какая у нас существует, ибо это небывалый у нас случай...»

А потом Василий Константинович повел нас к реке, на места, богатые рыбой... Мы разложили костер над быстроводной рекой Уссури и варили уху, маршал опять вспоминал о боевых походах, и отсветы костра золотыми бликами ложились на его немолодое, мясистое лицо, на лоб, изрезанный морщинами.

Много дней мы были под впечатлением рассказов Блюхера. Однако романтика все время переплеталась с сугубой, повседневной прозой в нашем путешествии.

Необходимо было выехать в Комсомольск-на-Амуре. Пароход, следующий в Николаевск, должен был прибыть из Благовещенска. Расписание на дебаркадере гласило, что отправляется пароход из Хабаровска точно в 12 часов дня. Жара стояла необычайная даже для этих мест. Ровно в 12 часов мы стояли с чемоданчиками на вахте у причала. Полусонный дежурный, у которого мы справились о пароходе, меланхолично, без слов показал рукой на расписание.

Однако парохода не было ни в час, ни в два. Какой-то местный остряк в соломенной шляпе, не зная, что он разговаривает с одним из самых заме-

чательных острословов страны, сказал нам с поразившим Петрова одесским акцентом:

— Вы еще вполне можете искупаться, потом пообедать, потом опять искупаться, сходить по своим делам в город, потом поужинать, а там будет видно.

— А не пригласить ли нам этого хохмача в журнал «Крокодил»? — сказал мне тихо Петров. Но я уже почувствовал в его голосе накипающую ярость.

Однако мы действительно искупались в Амуре. Кстати, неподалеку находилась водная станция. Кабинки для раздевания находились в пятидесяти метрах от воды. Ключи от кабинок надо было брать с собой в воду — «Дирекция за сохранность вещей не отвечает»... Деревянный настил станции так накалился от солнца, что пятьдесят метров до воды надо было прыгать то на одной, то на другой ноге, рискуя поджарить ступни и пятки. Мы поскакали, с ключами, повешенными на шею. Ключи, довольно значительные по размерам, ярко блестели на солнце и издали напоминали кресты.

— Вот бы увидел нас сейчас Блюхер,— усмехнулся я.

— Что Блюхер, что Блюхер! — проскрипел Петров,— Крещение Руси можно писать с этой натуры. Вышла бы прекрасная обложка для «Крокодила». Я жалею, что с нами нет Зощенко и Ротова.

Одеваясь, мы услышали какой-то гудок и, уже на ходу повязывая галстуки, помчались к дебаркадеру.

Ложная тревога. Все та же почти безлюдная пристань. Тот же иронический туземец в соломенной шляпе. Какая-то женщина с ребенком мирно спала на скамейке под палящим солнцем. Толкнулись к дежурному. Он опять меланхолически ткнул на свежее объявление: «Пароход опаздывает на шесть часов»... Ни в какие объяснения дежурный не вдавался. По всей вероятности, он был глухонемым. По крайней мере такую версию выдвинул Петров.

Короче говоря, мы вернулись в гостиницу. Сменяясь с Женей, мы продежурили целые сутки. Днем

и ночью. Парохода не было. Дежурный не становился разговорчивее. Объявления об опоздании методично сменялись. Мы написали фельетон о пароходстве, где час за часом язвительно и возмущенно описывались наши злоключения, и снесли его в «Тихоокеанскую звезду». Но от этого нам не стало легче. Мы пожаловались высокому начальству. Высокое начальство пожало плечами, а на другой день выделило в наше распоряжение быстроходный моторный катерок. Так и не удалось нам узнать, пришел ли тот пароход из Благовещенска.

Команда нашего катера была сформирована из нескольких очень юных моряков. От пятнадцати до восемнадцати лет. Большинство из них были учениками-стажерами школы водного транспорта. Все они носили просоленные тельняшки и капитанские фуражки с крабами. Единственным пожилым человеком был повар-китаец Иван Иванович. Но он оказался абсолютно сухопутным человеком: мало-мальская амурская качка выводила его из строя, и мы так и не сумели проверить его кулинарские способности. В Комсомольске-на-Амуре он жалобно посмотрел на Петрова, естественно признав его главным руководителем героической экспедиции, и сказал совершенно хрестоматийно исковерканным языком:

— Моя мало-мало голова боли. Моя назад Хабаровск ходи будет...

Что ж... Была без радости любовь... И разлука была без печали. Тем более что уху мы научились варить сами, а рыбой кишел и Амур и его притоки. Знаменитая рыба калуга даже совершала прыжки в воздух. И Петров, без конца меняющий пленку, несколько раз заснял ее «в полете». Потом все снимки этого путешествия были опубликованы им в «Огоньке». Кстати сказать, команду точно специально подобрали для острого пера Петрова. Именно такая команда и была нам нужна. Мальчики учились на нашем катере искусству мореплавания. На притоках Амура, по которым мы путешествовали уже после Комсомольска, много мелей. И на каж-

дую мель наш корабль непременно садился. Мальчики во главе с восемнадцатилетним капитаном пытались всеми средствами сдвинуть катер с мели, зверски, по-морскому солено ругались хрипловатыми детскими голосами. Потом мы все раздевались, лезли в холодную воду, сталкивали катер живой силой, чтобы согреться поглощали энзе спирта и... опять садились на мель...

— Саша,— сказал мне как-то Петров,— у меня уже зарождается идея водной «Антилопы»...

В Комсомольск-на-Амуре мы прибыли более или менее благополучно. И высадились на набережной маршала Блюхера.

Комсомольск переживал свои первые романтические годы. На всю страну прогремел призыв комсомолки Вали Хетагуровой. Сотни девушек со всего Советского Союза стремились в город юности.

Молодой город был весь в строительных лесах. На набережной маршала Блюхера возводились новые дома. Между городом и поселком Дземга еще лежало огромное необжитое пространство. Совсем рядом, в густой тайге, еще водились медведи. В соседнем нанайском поселке жил старый шаман, весь увешанный ожерельями из костей и зубов. Он изредка выходил из тайги, приближался к месту стройки и пытался запугать юных лесорубов своими гортанными выкриками и сумасшедшими плясками.

Шамана уже никто не боялся. В молодом городе были враги пострашнее. Однако город рос с каждым днем. Появились первые дети, рожденные в Комсомольске, а на широкой таежной реке Горюн, впадающей в Амур, был создан замечательный пионерский лагерь.

Мы прожили в Комсомольске несколько дней. Все казалось нам романтическим и необычайным в этом возникающем среди тайги городе. Мы осматривали новый судостроительный завод, первый городской клуб, первый рабочий поселок. О Комсомольске-на-Амуре написано уже много книг, поставлены фильмы, и я не собираюсь рассказывать об

истории этого города. Кстати сказать, в Комсомольске мы повстречали Веру Кетлинскую, собирающую материалы для своего романа «Мужество». Я хочу рассказать только о том, что связано с Женей Петровым.

От города до поселка Дземга было семь километров. В поселке Дземга жили хетагуровки.

Мы сидели в бараке над Амуром, и девушки в комбинезонах, только что вернувшиеся с работы, рассказывали нам о своей жизни, читали письма, полученные из дому, и письма, посылаемые домой.

«Ты же все время мечтала встретить трудности,— писала одной светловолосой девчушке ее мама.— Ну что же, теперь ты, наверно, вдоволь этих трудностей наглоталась...»

Все эти письма Женя Петров, обычно при подобных беседах никогда не вынимавший записной книжки (чтобы не вспугнуть, не обидеть собеседников, не оказенить разговор), переписывал полностью.

— Это же перлы,— говорил он мне,— это же неповторимо. Это эпос... будничный эпос. Одно такое письмо достовернее целого тома, полного декламации и громких слов.

Да, они встретили трудности. И эти трудности были не только в борьбе с природой, с тайгой, с морозами, мошкарой. Были у девушек враги и пострашнее шаманов. Среди строителей было немало и погнавшихся за длинным рублем, и бывших преступников, далеко не перековавшихся. (Мы вспомнили с Петровым поездку нашу по Беломорско-Балтийскому каналу.) Они оскорбляли девушек, нагло врывались в их общежития. Вот и сегодня прошел слух, что эту самую, светловолосую, мечтавшую о трудностях, какие-то бандиты проиграли в карты. Вы знаете, что такое проиграть в карты?.. Да, мы представляли себе это. И сегодня ночью бандиты придут за проигрышем. Девушки готовились к отпору. Они забаррикадируют двери и окна. Конечно, такой отпор не был выходом из положения. Мы решили завтра же в горкоме серьезно обо всем

этом поговорить. Принять решительные меры. А так как уже спускалась ночь и опасность надвигалась, мы решили помочь девушкам как живая сила. На всякий случай. Мы просидели с ними до рассвета. Очевидно, бандиты прослышали о «подкреплении» и отложили «штурм». Однако как же мы сдружились с девушками и сколько задушевных историй услышали!

Никогда не забыть мне решительного вида Петрова, занявшего наблюдательный пункт у окна, готового к бою с бандитами и рассказывающего хетагуровкам всякие замечательные истории о бандитах, которых он встречал, когда был инспектором уголовного розыска в Одессе, и о знаменитых американских гангстерах, о которых совсем недавно слышал в Америке.

Пожалуй, самое забавное было то, что на книжной полке в общежитии стоял растрепанный, зачитанный томик «Золотого теленка», а девчата, с раскрытыми ртами слушавшие Петрова, так и не знали, что перед ними знаменитый автор книги (он не назвал своего имени, знакомясь).

...Углубляясь в тайгу, мы шли на нашем катере вверх по течению реки Горюн, впадающей в Амур. К озеру Эворон, близ которого совершили впоследствии посадку Гризодубова, Осипенко и Раскова. Память об изумительных зорях и закатах на этой широкой пустынной реке, память о берегах, изрытых таинственными бухтами, и островках фантастических очертаний осталась на всю жизнь. Как, впрочем, и память о злой, кровожадной мошкаре, беспощадно терзавшей нас и на палубе катера, и на берегу.

С одной из очередных мелей мы никак не могли сдвинуть наш катер. Петров, принявший на себя командование, без конца нажимал на грушу сирены. Но берега были пустынны. Селение от селения стояло за пятьдесят километров, и наш «глас» был поистине гласом вопиющего в пустыне.

Пришлось слезть с катера и вброд выбираться на берег в поисках помощи. Пожираемые мошкарой,

мы углубились в тайгу километров на пять, и вдруг, точно в сказке, тайга расступилась и мы увидели... Расчищенная полянка. Два стройных человека в накомарниках с металлической сеткой, напоминающих рыцарские шлемы с забралами, перебрасывают ракетками мяч над широким столом.

— Саша,— сказал Петров,— ущипни меня. Это мираж. Если это не пинг-понг, значит, я сошел с ума. Может быть, шаманы в этой тайге устраивают соревнования по настольному теннису...

Это, конечно, оказались не шаманы. Это были ленинградские геологи. Их экспедиция занималась здесь изысканием каких-то редких минералов. Они уже были в тайге как дома...

Одним словом, как сказал Женя, «шла дорогой той старушка, увидала сироту, приютила и согрела (спирт подавался в лабораторных мензурках с делениями) и поесть дала ему (не только уха, но шашлык из... медвежатины...)».

Геологи собирали не только минералы, но и легенды. Особенно понравилась Петрову легенда о таежном Бендере, о «слепом» шамане, который считался особенно святым и который, несмотря на свою «слепоту», прекрасно играл в карты и неизменно обыгрывал своих партнеров.

Геологи не только накормили нас. Они помогли сдвинуть с мели наш катер. В награду они попросили только... автограф Петрова на томике «Двенадцати стульев», оказавшемся в их небогатой походной библиотеке.

Петров с удовольствием перелистал этот видавший виды томик и расписался, незаметно, хитро подмигнув мне.

И я видел, что «старик» был почти счастлив...

Впрочем, весь этот вечер он был молчалив и задумчив. И мне опять показалось, что он думает об Ильфе.

На третий день путешествия мы сошли на берег в нанайском поселке Нижняя Халба. Катер не мог подойти к песчаной косе, к отмели, и мы, засучив штаны до колен, спустились по трапу в изрядно хо-

лодную воду и высадились в поселке на манер этаких робинзонов. Особенно хорош был Евгений Петров — в штанах, закатанных как трусы, металлическом, подаренном ленинградцами «рыцарском» накомарнике и роскошной коричневой шляпе, купленной в Чикаго.

Прибытие катера из самого Хабаровска было в поселке событием. Собралось почти все население. Особенно много было ребятишек. Один немолодой нанаец, бывший сильно навеселе, все время обнимал Петрова. От нанайца исходил аромат парфюмерной лавки. Впоследствии оказалось, что в поселковый кооперативный ларек давно уже привозят из спиртного только шампанское. А так как оно не по карману, изобретательные любители горячих напитков пьют тройной одеколон.

— Замечательно,— смеялся Петров,— и согревает, и пахнет хорошо.

Оказалось, что в поселке жил уже не первый год старый фельдшер Мартыненко, партизан гражданской войны.

Как узнали мы позже, он выдержал здесь не один бой с местным шаманом, разбил его наголову, и теперь к нему приходили лечиться нанайцы-охотники и рыбаки из всех окрестных селений. Старик хорошо знал Александра Фадеева, лично встречался с ним. Слышал он и о Евгении Петрове, хотя книг его не читал.

Конечно, не все еще старинные обычаи были уничтожены. Шамана уже не было, но до сих пор в специальной молельне стоял на высокой подставке деревянный бог, старики молились ему, прося хорошей охоты. И если охота была плохая, бога снимали с подставки и публично стегали лозой на площади. Наказав, ставили на место для грядущего исполнения служебных обязанностей.

Обо всем этом рассказал нам Мартыненко, похвалившись тем, что дочь его учится в Ленинграде в медицинском институте и, приезжая на каникулы,

помогает в его трудном, поистине подвижническом деле. Похвастал старик еще и тем, что в поселке имеется школа-семилетка, создана комсомольская ячейка, а несколько молодых нанайцев учатся в Хабаровске.

Это было совсем замечательно. Вечером мы проводили беседу с комсомольцами. Впрочем, на комсомольское собрание пришли и старики. Мы долго думали с Петровым, какую тему избрать для беседы. И тут опять помог нам Василий Константинович Блюхер. Его имя было широко известно и здесь, в поселке. Мы передали привет от него и опять рассказали о легендарных его подвигах в борьбе за народную власть...

Слушали нас не переводя дыхания... А потом, в конце вечера, к нам подошел юноша, совсем мальчик, лет пятнадцати, с бронзовым лицом и огромной шапкой смоляных волос.

— Я, однако, Максим Пассар,— сказал он,— охотник. Я тоже пойду в Красную Армию. Скоро. Я, однако, хочу учиться на маршала.

Больше он ничего не сказал нам. Но в глазах его была такая непоколебимая уверенность, голос был так тверд и решителен, что мы поняли: решение его непоколебимо. Он будет учиться на маршала... И с того необычайного вечера всегда, когда я вспоминал о Блюхере, в памяти моей вставал черноволосый юноша-нанаец, который решил учиться на маршала.

В этом месте своего рассказа я должен сделать отступление от повествования о Жене Петрове... Я не могу не перенестись в будущее, в те годы, когда друга моего уже не было в живых.

Он погиб на фронте, «лицом к огню», незадолго до сталинградской эпопеи, и я не мог уже рассказать ему о трагической и славной судьбе нанайского юноши, которого мы повстречали на берегу таежной реки Горюн, о котором не раз вспоминали при встречах.

Пусть рассказ этот будет посвящен памяти Жени.

———

Прошли годы. Командарм Батов, герой испанской войны и друг Матэ Залки, готовил свою армию к штурму сталинградских предместий, к соединению с героическими защитниками Сталинграда, воинами генерала Чуйкова. Когда-то в Испании снаряд фашистской артиллерии, которой командовал немецкий генерал фон Данизль, попал в машину командира Интернациональной бригады генерала Лукача (Матэ Залки). Лукач был убит. Сидевший рядом с ним Батов тяжело ранен. Пути истории неисповедимы... Теперь войска генерала Батова окружали полки, которыми командовал старый знакомый генерал фон Данизль. Что же, у Батова были с ним свои счеты.

В состав армии Батова входила 24-я Железная дивизия. Незадолго до боев под Черным Курганом в дивизии был собран слет снайперов. На слет прибыл командарм.

Снайперы делились своим опытом. Под боевым знаменем дивизии за боевые успехи были сняты два лучших снайпера, герои многих битв, два закадычных друга — русский Саша Фролов с берегов Волги и нанаец Максим Пассар с берегов Амура... Старый мой знакомый, черноволосый Максим, вытянувшийся, повзрослевший... Трудными военными дорогами шел он к своему маршальскому жезлу.

Командарм обнял двух друзей, крепко расцеловал их и вручил боевые награды. Ордена Красного Знамени за прошлые боевые успехи.

Саша Фролов осмелел и пригласил генерала в гости, в рабочий поселок, в Городище. Там ждала его старая мать. Дал генералу адрес и ориентиры.

Генерал долгим взглядом посмотрел на худощавого черноволосого паренька и принял приглашение.

— Теперь дело осталось за малым,— сказал он усмехаясь,— отбить поселок у врага.

— Отобьем, товарищ генерал! — почти хором крикнули Фролов и Пассар.

— Ну что же,— задумчиво заключил Батов.— Значит, до встречи в поселке...

Саша Фролов не знал о том специальном секретном поручении, которое командарм дал дружку его и учителю Максиму Пассару. Он даже обиделся, когда Пассара одного вызвали в блиндаж командира батальона, где отдыхал командарм, и тот, вернувшись, отказался рассказать, зачем его вызывали. Секреты... От друга...

Впрочем, обида эта скоро прошла. Дни становились все горячее, и некогда было заниматься личными обидами.

После боя, согреваясь в очередном блиндаже или хате, друзья любили мечтать. Все о том же: как через несколько дней ворвутся в поселок, придут в старую фроловскую хату, выйдет старая мать и Саша скажет ей:

«А вот и я, мамо! А это мой брат названый Максим. Здравствуйте, мамо!..»

— И я расскажу ей, однако,— перебивал Максим,— что мы вместе с тобой убили триста восемьдесят фашистов.

— Ну, нет, Максим. Ты ведь убил двести тридцать. А я только сто пятьдесят...

— Саша, друг. У нас, однако, все пополам. Хлеб пополам. Ордена пополам. Фашисты пополам. Такая у нас арифметика. Понял?

Накануне последнего, решительного боя, уже на подступах к Городищу, Сашу Фролова вызвал комбат. Он приказал ему в бой не идти, остаться в штабе полка за связного.

Это глубоко обидело Сашу. Он прибежал к Пассару взволнованный, удрученный. Как так — бой за свой поселок, а он останется в тылу! Штаб полка все снайперы считали глубоким тылом.

— Я не пойду в штаб,— решительно сказал Саша Максиму.— Я буду с тобой. В бою. Пусть меня потом хоть под суд...

— А я тебя, однако, в бой не пущу,— спокойно сказал Максим. И тут он открыл Саше старый секрет. Зачем его тогда вызывали к командарму.— Генерал приказал... Беречь Фролова. Сохранить его

живым для матери. Если вместе пойдем — уберечь трудно. Фашистская пуля, однако, не разберет, где Фролов, где Пассар. Что же ты хочешь, чтобы мне стыдно было, что я друга живым к матери не привел? И как я ей в глаза посмотрю? А что скажет, однако, генерал?

...После жестокого боя солдаты Железной дивизии овладели Городищем. Несмотря на все свои дела и заботы, генерал Батов помнил, что он приглашен в этот вечер в гости к снайперу Фролову. Он хранил его адрес и ориентиры. Он был старым солдатом, разведчиком, и он нашел даже огород, указанный в ориентирах... Но на огороде стояло только поврежденное вражеское орудие. Не было ни Фролова, ни его матери, ни Пассара. Вместо хаты... обугленные развалины.

Нахмурившись шагал командарм по улицам поселка. Вышел на площадь. И... вздрогнул. На площади, у свеженасыпанного холма, в снегу застыла одинокая фигура. Снайпер Саша Фролов стоял как статуя, тяжело опершись на винтовку.

Командарм осторожно приблизился к снайперу. Снял папаху. Он понял все. Он вспомнил оживленное лицо черноволосого нанайца, охотника с Амура, вспомнил, как радовался он своему боевому ордену и как горячо аплодировал, когда такой же орден прикрепляли на грудь его друга.

Командарм осторожно посмотрел на Фролова. На ввалившихся щеках замерзли две слезинки.

— Прощаетесь? — вздохнув, спросил генерал.

— Совсем рядом с моим домом...— тихо сказал Саша.— Все хотел мою мать увидеть.

Помолчали.

— Хоть бы написать здесь,— горько сказал Фролов,— что он один двести тридцать шесть фашистов убил. Вы не знаете, каким он был другом, Максим. Таких, однако, не найти.

Он уже привык говорить так, как Пассар, с его интонациями...

— Напишем,— сказал генерал,— обязательно напишем. И всей армии о нем расскажем. Ты не кру-

чинься, Саша, напишем... О нем все будут знать. Детям своим расскажем, как нанаец с Амура отдал жизнь за Сталинград... Цветы принесут. Улицы, школы, институты его именем назовут...

Опять помолчали...

Потом оба вздохнули, понимающе посмотрели друг другу в глаза и пошли к людям. Молча пошли рядом друзья Максима Пассара — генерал и солдат. Командарм и снайпер. Надо было продолжать жить и воевать.

...И опять прошли годы... Железная дивизия праздновала свое сорокалетие. Докладчики во всех полках вспоминали имена героев. В комнате славы со стены глядел большой портрет черноволосого юноши нанайца Максима Пассара... И политработники рассказывали гостям о его подвигах.

...Через несколько дней мы сидели у генерала армии Батова и вспоминали о наших встречах, о друзьях боевых лет.

— А я ведь тогда взял в плен генерала фон Даниэля,— усмехнулся Батов.— Рассчитался и за Сталинград и за Уэску. И за Матэ Залку, и за Максима Пассара.

...А еще через несколько дней я принимал экзамены в Москве на высших литературных курсах.

Десятым по списку шел... Андрей Пассар — нанайский поэт, переводчик Пушкина и Маяковского.

Я посмотрел на него и замер. До чего же он был похож!.. Он рассказывал о сатире Ильфа и Петрова. Уверенно, убедительно. Но я плохо слушал. Мне казалось, что не было этих двадцати бурных, суровых лет...

И слова маршала Блюхера звучали в моих ушах, и смех моего друга Жени Петрова. И я видел перед собой песчаный берег реки Горюн, лиственницы, окрашенные золотом заката, и стремительного, черноволосого, горячего мальчика, мечтавшего стать маршалом.

...Оставив наш знаменитый катер вместе с его замечательной командой в Комсомольске (выявилась необходимость в срочном ремонте), мы возвращались в Хабаровск на большом пассажирском пароходе.

В зале кают-компании оказался неведомо какими судьбами попавший туда концертный рояль, правда изрядно потрепанный и расстроенный. Петров, страстно любивший музыку, часами не отходил от рояля. По памяти играл он самые различные пьесы, классические, современные, шуточные, джазовые. От Бетховена до Дунаевского. Много импровизировал. Аккомпанировал танцующим парам. Конечно, вокруг инструмента собиралось всегда много пассажиров. Особой популярностью пользовались песенки из кинофильмов. В связи с этим вспоминается еще одна забавная история.

Постоянной слушательницей Петрова была сильно молодящаяся дама неопределенного возраста. На шее у дамы висел старинный лорнет, который она часто подносила к глазам, созерцая музыканта, особенно в минуты его бурных импровизаций. Видимо, она не раз порывалась подойти к Петрову и заговорить с ним.

Наконец она осуществила свой замысел. Она назвала свою фамилию, сказав, что сейчас живет в Благовещенске, работает в управлении пароходства, но очень любит музыку, училась в Москве и имеет немалые связи в кругах Московской консерватории.

Она смотрела на Петрова покровительственно и почти нежно. По старой одесской традиции, Женя любил всякие розыгрыши и мистификации.

Он представился даме как молодой начинающий музыкант, мечтающий о лаврах Шопена и Хренникова. Это признание возбудило в даме совсем уже нежные, меценатские чувства. Она оторвала Петрова от инструмента, целиком оккупировала его, оглушила целым потоком музыкальной премудрости, обволокла нескончаемыми воспоминаниями.

Через полчаса они уже сидели в буфете. Дама угощала Женю пивом и мороженым. Я сидел непо-

далеку, и до меня доносились громкие имена... Гольденвейзер. Оборин. Голованов. Гедике. Комитас. Козловский. По ошалелым глазам Петрова я понял, что он потерян для общества и стал жертвой собственной мистификации. Но возможностей отступления уже не было.

Когда перед самым Хабаровском я вырвал Петрова из рук восторженной меценатки, он был в полуобморочном состоянии.

Однако с торжеством победителя он показал мне конверт сиреневого цвета с надписью: профессору Голованову.

На тонком листке, пропитанном ароматом духов «Камелия», мелкими, бисерными буквами было начертано:

«Дорогой Николай Семенович!

Надеюсь, что Вы не забыли меня. Прошу Вас оказать помощь при поступлении в консерваторию моему другу (не подумайте ничего плохого), талантливому начинающему музыканту из глубин Дальневосточной тайги Евгению Петрову.

Часто думающая о Вас

Нелли Воскресенская».

— Ну, что,— заливался смехом Петров,— какой документик!.. Игра стоила свеч... Я уже вижу лицо Голованова, когда я покажу ему это послание. И она еще просила ни за что не показывать это письмо Неждановой. Она боится, чтобы не вспыхнула ревность и не повредила мне при поступлении в консерваторию... И она обязательно просила заехать к ней в Благовещенск. У нее муж в командировке на Колыме. Собственная квартира и фисгармония...

Он так смеялся, что мне даже стало жалко старую доверчивую даму.

— Дон-Жуан, ты, наверно, разбил ее сердце,— заметил я сурово.

— Ничего,— успокоил меня Петров.— Это я отомстил пароходству за ту бессонную ночь в Хабаровске.

Из Хабаровска во Владивосток мы выехали на машине крайкома. Ехали круглые сутки. На остановках нас опять пожирала мошкара. Женя опять философствовал по поводу плохих дорог.

На какой-то переправе в глубине тайги мы настигли застрявшую на обочине «эмку». Водитель уговаривал другого шофера в кожаном реглане, только что подъехавшего на мощном грузовике, помочь ему вытащить машину. Кожаный реглан отказывался. Мы остановились, выскочили на дорогу и услышали слова потерпевшего шофера, обращенные к реглану:

— Эх ты... Не читал, видно, «Одноэтажной Америки»...

Женя Петров был счастлив.

...На сторожевом корабле мы вышли из бухты Золотой Рог к Посьету. Петров был молчалив, никого не разыгрывал, сидел на палубе, вглядываясь в бескрайнюю даль океана, и делал записи в дорожном блокноте. Порою легкая улыбка пробегала по его тонким губам. Он вспоминал...

Два дня мы были в гостях у пограничников на корейской границе. Объезжали заставы, знакомились с людьми. Замечательные биографии раскрывались перед нами. Биографии людей, каждый день рискующих своей жизнью во имя родины. И здесь, конечно, как и везде, рядом с героическим было много смешного, веселого, пропитанного мягким юмором, который Петров особенно тонко чувствовал и воспринимал, которым были окрашены все страницы его записей.

Перед возвращением в Хабаровск мы сидели поздней ночью в беседке на сопке, над самым океаном. Океан был спокоен. Широкая лунная дорога уходила к самому горизонту, к небу, к бесчисленным звездам.

Пили холодное пиво. Пограничники рассказывали всякие истории из своей жизни.

— А еще был случай с нашим прославленным командиром, майором Агеевым. Приручил он маленького таежного медвежонка. Сам нашел. Спал

медвежонок в палатке у самой койки майора. А когда вырос, стал этаким огромным медведищем, ушел в тайгу. Однако частенько приходил в гости к своему другу. И вот однажды уехал майор в командировку в Хабаровск. И надо же так случиться — приехал в этот день какой-то инспектор. Ну, инспектор устал с дороги, положили его отдохнуть на койку майора Агеева.

А тут по обычаю мишка пожаловал в гости. Ну, представляете себе — просыпается гость, а над ним огромный медведь. Взревел он хуже медвежьего и из палатки бегом, как был, без порток. А медведь еще больше перепугался. Еще пуще ревет. Ну, ему реветь по-медвежьему полагается... Так вот и бегут они, друг друга пугая. Чуть погранлинию не перебежали... Еле успокоили инспектора... Смеху было...

Мы понимаем, что пограничники нарочно рассказывают всякие смешные истории, потому что не любят они рассказывать о своих подвигах, о героизме. И от этого хозяева наши кажутся нам еще более родными, близкими, мужественными.

— Искупаться бы,— говорит Женя.

— Осьминогов не боитесь? — усмехается начальник заставы.

Только что была рассказана страшная история о том, как осьминог затащил в океан лошадь.

Мы спускаемся к морю. Вода теплая, как парное молоко.

Мы плывем по широкой лунной дорожке, смотрим на огни, мерцающие на берегу, на наших пограничных вышках и на корейских.

— Ты чувствуешь, старик,— неожиданно говорит Женя,— где мы находимся?.. Океан. Рубеж целого мира.

Я всматриваюсь в его худое, всегда чуть насмешливое лицо.

В узких глазах его отражается луна. Мне кажется, что я хорошо понимаю своего друга.

5

Незадолго до решительного штурма линии Маннергейма мы узнали приятную новость. К нам едет Евгений Петров. Не на день или два, а на постоянную работу, в штат армейской газеты.

Писателей в армейских газетах в ту кампанию было не много. После трагической гибели Михаила Чумандрина и тяжелого ранения Владимира Ставского ПУР воздерживался посылать писателей в действующую армию.

Приезд Евгения Петрова, замечательного публициста, острого сатирика, фельетониста, сразу повысит уровень нашей «Боевой красноармейской», поможет ей найти путь к солдатским сердцам.

Нечего и говорить, что я был особенно доволен тем, что придется поработать бок о бок со старым другом.

Редактор поручил мне и Долматовскому встретить Петрова в Ленинграде.

От маленького, затерявшегося в лесу поселка Каунис, где размещалась наша газета, до Ленинградской «Астории» было три часа езды по Выборгскому или по Приморскому шоссе. Проезжали по знакомым, уже занятым нашими войсками поселкам — Райвола, Териоки.

Ленинград был по-военному суров, но жизнь в нем, как всегда, кипела. Война остро ощущалась только ночью, когда город погружался в абсолютную тьму.

Мы застали Женю в «Астории» над ворохом зарубежных газет. В военной форме, с тремя шпалами в петлицах, с орденом Ленина на гимнастерке, он казался более подтянутым и строгим, чем обычно. Он делал какие-то отметки, вырезки. Он уже готовился к оперативной работе, подбирал материал для своей первой статьи. На креслах валялись противогаз, бинокль, фляга, полевая сумка.

— Разрешите войти, товарищ полковой комиссар?

Обнялись. Долматовский, как обычно, сказал какую-то остроту.

Петров стал деловито собирать бумаги, вещи,

— Вы на машине? — спросил он.— Я готов. Едем. Поговорим в дороге.

Узнав, что до передовых позиций всего три часа езды от «Астории», он усмехнулся и покачал головой.

Мы, конечно, пытались выудить у него всякие московские литературные новости, но он отмахнулся:

— Ерунда. Пустяки. Мелочи. У вас все важнее и значительнее. Едем.

Однако нам предстояло еще навестить Володю Ставского в госпитале. Он недавно перенес сложную операцию. Кризис миновал. Состояние его улучшилось. Грузный, оплывший от госпитальной жизни, Ставский был искренне рад нашему приходу.

— Эх, ребята, ребята, и до чего же я завидую вам. Взял бы вот и рванулся вместе с вами. И до чего ты, Женя, молодец, что приехал. Вырвался с Поварской. А я вот тут наслаждаюсь...

На кровати, на стульях, на полу лежали длинные журнальные гранки...

— Четвертая часть «Тихого Дона»...— кивнул Ставский.— Читал целую ночь. Доктор отобрал. Но сам зачитался... Си-лища... Ну да вам сейчас не до «Тихого Дона»... Езжайте, хлопцы. И ждите меня в гости. Скоро. Скоро...

— Хорошо бы все же,— улыбнулся Петров,— если бы не дождались и раньше закончили. К весне.

Мы сочувственно улыбнулись, хотя, правду говоря, никто из нас тогда не верил, что к весне война будет закончена. Перед нами еще стояла нерушимой знаменитая линия Маннергейма.

...И вот мы уже мчим к передовой. Женя Петров пытливо осматривает дорогу, сожженные строения, воронки. Он первый раз на настоящей войне.

— Все это очень мало напоминает украинский поход... Это не Львов... Да, это не Львов... Расскажите мне, ребята, о минах... В Москве о них ходят легенды, особенно после корреспонденций Вирты...

Мы не могли тогда предполагать, что к вопросу о минах нам с Женей придется практически вернуться в самые ближайшие дни.

...По дороге, в политотделе армии, мы «докладываемся» дивизионному комиссару. Начпоарма Петр Иванович Горохов рассказывает о положении на фронте, о линии Маннергейма. Он дает оценку последних номеров армейской газеты.

— Больше всего избегайте шапкозакидайства. Мы уже пострадали на том, что недостаточно подготовили красноармейцев к суровости войны. Некоторые шли на войну, как на прогулку. Ваши товарищи уже увидели, что это за прогулка,— обращается Горохов к Петрову.— Вы приехали в интересные дни. Будет о чем написать... Газета должна готовить бойцов к штурму. Однако солдат на фронте хочет и повеселиться и посмеяться. Тут уже вам, товарищ Петров, как говорят, и книги в руки. Не мне вас учить... Конечно, Остапа Бендера вы здесь вряд ли найдете. Однако не все и георгии победоносцы. Впрочем, о формах юмора подумайте сами. Жизнь подскажет. Желаю вам всякого успеха.

На столе у дивизионного комиссара лежала какая-то растрепанная книга. Петров все время приглядывался к ней. Горохов заметил это и, показалось мне, смутился.

— Вот,— сказал он, кивнув на книгу,— нашел здесь, на чердаке. И как она сюда попала?.. «Приключения барона Мюнхгаузена». Читаю в свободные минуты и смеюсь. Честное слово, смеюсь... На днях вслух командарму целую страницу прочел. Ведь и командующие не только уставы и Кляузевица читают.:. Великое дело на фронте смех...

— Товарищ комиссар,— сказал, внезапно загоревшись, Петров,— одолжите нам на несколько дней эту книгу.

Я хорошо знал Петрова и понял, что ему в голову уже пришла практическая мысль, что он не просто хочет перечитать «Приключения Мюнхгаузена».

Горохов с некоторым сожалением одолжил нам книгу.

— Ребята,— сказал нам в машине Петров,— обстрелянные боевые волки! Не ясно ли вам, зачем я

забрал у начальника эту замечательную книгу? Мы попробуем создать своего Мюнхгаузена... Во имя победы надо бороться с вралями и бахвалами... Так я понял ситуацию. Вот мы здесь кое-что и придумаем.

...В работу армейской газеты Петров включился сразу. На другой же день он выехал на передовую, в роты.

— Насчет юмора мы немного подождем,— сказал он редактору.— Прежде всего я хочу увидеть людей, посмотреть, чем они дышат, о чем мечтают, как переносят эти тяжелые морозы.

Мне пришлось в эти дни быть на другом участке фронта, и с Петровым я встретился только через несколько дней. Он вернулся из артиллерийского дивизиона возбужденный, обветренный, как сказали бы военные очеркисты — опаленный порохом.

— С этими людьми,—сказал он мне,—надо разговаривать серьезно. Им нечего дурить головы легкостью победы. Война есть война. Надо ее показывать без всяких скидок. Тогда и несомненный героизм наших воинов будет более ярок и оправдан. Я хочу описать несколько своих фронтовых встреч.

Мы жили с Петровым, Долматовским и Бяликом в маленьком бревенчатом домике, в лесу. Стояли суровые холода, знаменитые январские морозы 1940 года.

Приезжая с передовых, мы по очереди растапливали чугунную печурку и долго сидели у огня, обдумывая начало очерка о людях, с которыми мы только что расстались и которых часто не находили уже больше, вернувшись через несколько дней в тот же батальон, в ту же роту... Да, война была суровой и беспощадной...

Потом каждый уходил в свой угол и писал на длинных газетных гранках... Иногда общее молчание начинало удручать меня, я накидывал тулуп, выбегал за новостями в соседний редакторский домик. Возвращался с хитроумной целью как-нибудь

разыграть товарищей. Но это почти никогда не удавалось.

— Слышу шаги,— говорил Женя Петров.— Это Саша идет нас разыгрывать...

Привыкший к газетной работе, Петров писал быстро, оперативно. «Фронтовые встречи» его были очень разнообразны. Он хотел на страницах газеты показать людей разных военных профессий — артиллеристов, пехотинцев, врачей.

Однажды случилось так, что мы все вместе оказались «дома». Петров собрал нас вокруг раскаленной печурки.

— Вот что, ребята,—сказал он торжественно,—сегодня мы отметим день рождения Паши Брехунцова.

— ???

— Пора браться за юмор. Бойцы в землянках и блиндажах хотят смеяться. Ну хорошо, мы им подарили несколько фельетонов о Маннергейме и Таннере, написанных исключительно ядовито нашими гениальными «братьями-пулеметчиками» (это был наш общий псевдоним). Но им этого мало. Они хотят посмеяться и над собственными разгильдяями, хвастунами, бахвалами. Мне кажется, что вы забыли про Мюнхгаузена... Кстати, пора уже вернуть книгу дивизионному комиссару. Так вот, нашим собственным армейским Мюнхгаузеном будет Паша Брехунцов. А? Что вы скажете, ребята? Может быть, это еще недостаточно дошло до вас?

Так мы создали образ Паши Брехунцова. В основном «Письма Паши Брехунцова» писали мы вдвоем с Женей. Я садился за самодельный стол, сделанный из ящиков. Петров шагал по комнате, лавируя между коек. Сначала мы разрабатывали сюжет каждого письма. Потом я начинал писать, а Петров «подкидывал» «хохмы», обогащал мое изложение острыми метафорами, удачными эпитетами, делал неожиданные сюжетные ходы, повороты и сам заразительно смеялся, когда острота удавалась.

В задачу нашу входило показать в этой эписто-

лярной форме враля и хвастуна Брехунцова и каждой его хвастливой выдумке противопоставить в этаком заключении истинное положение вещей.

Юмор был порой грубоват, прямолинеен. Но он сыграл свою роль. С 7 февраля в армейской газете ежедневно печатались «Письма Паши Брехунцова». Они пришлись по сердцу бойцам. Их читали на отдыхе, между боями, в условиях временной обороны. Образы Паши Брехунцова, Пантелея Пробки, Корнея Макаронова стали нарицательными. Все зто давало какую-то разрядку в суровые боевые дни и вызывало активную неприязнь ко всякому шапкозакидайству, бахвальству, легкому представлению о войне.

О штурме линии Маннергейма уже немало писалось в наших газетах, журналах, сборниках. И я не ставлю своей целью сейчас рассказать о том, как была разбита зта несокрушимая, по словам всей мировой прессы, построенная на деньги мирового капитала твердыня.

В дни перед штурмом мы больше всего находились в частях 123-й дивизии, которой предстояло одной из первых штурмовать неприступные доты и которая была впоследствии награждена за прорыв линии Маннергейма орденом Ленина. Редактором дивизионной газеты был старый наш товарищ, неутомимый военкор писатель Юрий Корольков.

И тут в один из предшествующих штурму дней пришлось вспомнить о «минном» разговоре, состоявшемся в первый день приезда Петрова. Петрову, мне и ленинградскому журналисту С. Бойцову было поручено пробраться в одну из рот и описать ее боевой день. Целый день, переползая из землянки в землянку (подступы простреливались белофинскими «кукушками»), мы знакомились с бойцами, лежали в пулеметных гнездах, в «секретах» снайперов. Машина наша осталась глубоко в тылу, и возвращаться в штаб корпуса надо было пешком. А возвращаться было необходимо. Материал был срочный. На командном пункте полка нам «проложили

маршрут». Уже вечерело. Но начальник штаба, молодой светлоглазый майор, успокоил нас:

— Успеете добраться засветло. Только учтите: вот здесь, около полусгоревшей избушки, придется обойти большое минное поле. Смотрите не напоритесь, не проморгайте предупредительных указателей.

...Стоял сорокаградусный мороз. Мы шагали быстро, внимательно приглядываясь к ориентирам, почти не разговаривали между собой. Признаться, на душе было тревожно. Черт его знает, где оно здесь, это минное поле. И потом опять же «кукушки»... Или десанты... Одно дело батальон или рота, другое — три человека, не обладающие высокой военной выучкой.

Начало уже изрядно темнеть. Никто не встречался нам по пути. Никакой полусгоревшей избушки не обнаруживалось...

— Вы знаете историю о старом возчике, который учил молодого, что делать, когда сломается чека в телеге? — спросил нас с грустным юмором Петров.— Таки плохо... Но гостиниц здесь нет. Мороз, наверное, дошел до пятидесяти. Ночевать на снегу неуютно. Таки плохо, ребята. Но пойдем дальше. Манечка ждет очередного письма от Паши Брехунцова.

Вдруг впереди, шагах в трехстах, послышался шум машины, потом треск, взрыв... Машина взорвалась на мине... Мы остановились как вкопанные... Бойцов сумрачно показал нам на какие-то обойденные нами указки и незамеченную избушку. Несомненно было, что мы уже минуты три шагаем по минному полю.

— Ничего,— хрипло сказал Петров.— Не все мины взрываются. Вперед!..

Назад возвращаться действительно было безрассудно. Надо было продолжать движение вперед.

Мы шагали гуськом по минному полю медленно, след в след, высоко поднимая ноги и осторожно опуская их, точно балерины в замедленном кино...

...Когда мы пришли благополучно в штаб корпуса, мы были мокры до нитки. Хотя мороз дей-

ствительно превышал сорок градусов. Но материал был доставлен вовремя.

О штурме линии Маннергейма Петров написал несколько статей. Одна из них посвящена 123-й дивизии.

И вот уже линия Маннергейма позади. Мы движемся к Выборгу.

Вместе с Петровым и Бяликом пишем мы передовую статью в армейскую газету, статью, размноженную в виде многочисленных листовок. Основные, наиболее яркие строчки статьи принадлежат Петрову.

Зоркий взгляд писателя не упускает ничего. Особенно интересуется Петров пленными. Он прекрасно понимает, что финский народ не хочет войны, что она навязана ему кликой Маннергейма — Таннера, прислужниками мирового империализма. К финскому народу, к мирным трудящимся Финляндии советские люди всегда относились дружески, доброжелательно. Эти чувства отражены в очерке Петрова «Пленные».

И в то же время нельзя не воспеть героизм советских людей, преодолевших любые трудности во имя победы правды и справедливости.

Вместе с красноармейцами участвует Евгений Петров в одной из последних атак на подступах к Выборгу. Этой атаке он посвящает свой очерк «Атака на льду».

...И вот уже последние дни войны. На первой полосе армейской газеты помещены стихи Долматовского:

Мы в предместьях Выборга.
Над нами шелестят приморские ветра...

12 марта. Мир. Необычная, воспетая сотнями поэтов тишина после шквальных артиллерийских залпов. Баррикада на окраине Выборга. На баррикаде во весь рост медведь из витрины универсального магазина.

Мы продвигаемся по выборгским улицам. Входим в один из домиков на окраине. Петров уже

в доме. Мы с Долматовским задержались во дворе, рассматриваем какой-то блестящий подстаканник на снегу. Хотим поднять его...

— Сумасшедшие,— кричит из окна Петров,— это же мина! Вы взорвете меня и весь дом...

На этот раз подстаканник оказался незаминированным.

...В тот же день на одной из центральных улиц Выборга был организован корреспондентский штаб. На дверях был прикреплен кусок картона, на котором было каллиграфически выведено рукой Евгения Петрова:

Редакция «Правды». Звонить 1 раз.
Редакция «Известий». Звонить 2 раза.
Редакция «Боевой красноармейский». Звонить 3 раза.

6

...Когда началась Великая Отечественная война, мы с Петровым находились на разных направлениях. Встречались мы только на страницах «Правды». И каждая корреспонденция Петрова была для меня такой радостной встречей. С каким вниманием читали мы все его страстные, взволнованные и вместе с тем лаконичные и очень точные зарисовки с полей, где развертывалась героическая битва за Москву! Очень хорошо сказал о Петрове Илья Эренбург: «С первого дня войны он знал одну страсть: победить врага!.. Он не отошел в сторону, не стал обдумывать и гадать. Он был всюду, где был наш народ...»

Он делал значительно больше, чем все мы, военные корреспонденты. Он писал не только для «Правды» и «Красной звезды». Он посылал свои очерки в Америку, и там они печатались в сотнях крупнейших газет. Петров первый рассказал будущим союзникам нашим о доблести Красной Армии в боях с фашизмом. А Петрова давно уже знали американские читатели как большого писателя, как автора «Одноэтажной Америки», знали и верили ему.

Как и в польском походе, как и на финской войне, он прекрасно понимал свою роль в период войны. Он не гнался за большими полотнами. Он был исключительно оперативен. Он писал очерки, портреты, зарисовки, военные корреспонденции, похожие на боевые донесения.

Он прекрасно понимал свою задачу и в годовщину войны, в июне 1942 года, отметил в своем фронтовом дневнике:

«Исполнился год войны. О ней будут написаны тома. Пройдут годы, и наш талантливый народ даст миру нового Льва Толстого, который осилит необъятную тему отечественной войны 1941—1942 годов.

Покуда же все, что издается и печатается о войне, представляется мне лишь материалами для будущих сочинений. И мне хотелось бы приложить к этим материалам и свои военные корреспонденции».

Находясь на других фронтах, мы читали эти военные корреспонденции, и перед нами во весь рост вставали защитники Москвы и мы постигали всю глубокую сущность сражений, развертывающихся под нашим родным городом.

Корреспонденции Петрова были его боевым дневником. Месяц за месяцем. День за днем. Земля и воздух. Танки и самолеты. Это были не эмпирические очерки, не стандартные зарисовки боевых «эпизодиков», которые, к сожалению, быстро заштамповались во многих наших газетах. Это был и тактический анализ, и философское обобщение, и психологический портрет.

Корреспонденции Петрова всегда изобиловали большим количеством точных, запоминающихся деталей. В самые трагические дни они были не лишены и чувства юмора, которое никогда не покидало Петрова. Его очерки были написаны своим, индивидуальным почерком, их можно было сразу различить среди других.

Петров умел показать большое в малом, никогда не сужая границу этого «большого», не упрощая, не мельча «малого».

...Как-то в сентябре мы встретились в Москве. Оба приехали с разных направлений. Он с Западного, я с Валдайского.

Поздно ночью мы возвращались в абсолютной тьме из редакции «Правды». Молчали.

— Скажи, пожалуйста,— неожиданно спросил Женя,— какой сейчас основной запах войны? — И сам ответил: — Не порох... Не кровь... Нет... Бензин... Смесь запаха отработанного бензина с запахом пороха и гари...

Не раз потом в очерках и корреспонденциях Петрова я находил упоминание об этом запахе...

Он всегда искал абсолютной точности в описаниях событий, обстановки, человеческих поступков. Он писал о войне как о тяжелом, непрерывном, опасном труде.

Скупости и точности в изложении требовал он и от других. Особенно оскорбляло его в описании сражений любование какими-нибудь пейзажами, эстетизирование боевой обстановки, дыма и огня сожженного самолета, раскатов артиллерийских залпов.

«Сейчас этот голый продолговатый холм,— писал он,— который только что был сиреневым в сумерках рассвета и сразу осветился солнцем и стал лимонным и сверкающим,— в сущности говоря даже и не холм. Это высота номер такой. С нее виден Смоленск, и за обладание этой высотой уже недели две идет упорный бой...»

Острый и проницательный публицист, умеющий прекрасно показать основу героизма наших бойцов, запечатлеть подвиги, Петров внимательно следил за психологией противника, участвовал в допросах пленных, интересуясь и здесь каждой подробностью, каждой деталью. Он был одним из первых наших военных корреспондентов, заметивший и засвидетельствовавший начало морального разложения германской армии, начало гибели гитлеровских полчищ еще в ноябре 1941 года на Волоколамском направлении.

...И как же он любил своих героев, Женя Петров! Как он скорбел, когда не находил уже их

в полку, возвращаясь в него вторично, после сдачи материала в московские газеты!

— О наших героях должен узнать весь мир,— твердил он постоянно...

...Мы встретились с ним еще раз в Куйбышеве, где находился в конце 1941 года ПУР и куда мы оба были командированы по делам наших фронтовых соединений.

Я рассказал Петрову о действиях наших партизанских отрядов под Новгородом, в частности об отряде, которым командовал лужский рабочий Иван Грозный. Иван Грозный — таковы были его настоящие имя и фамилия. Очерк об Иване Грозном я напечатал тогда в «Правде».

— Иван Грозный под Новгородом. Это же неповторимо,— разводил руками Петров. И вдруг загорелся: — Знаешь что? Об этом надо обязательно рассказать американцам.

В тот же вечер он через Совинформбюро, которым руководил тогда С. А. Лозовский, организовал мою беседу с иностранными корреспондентами. Я должен был рассказать об Иване Грозном и о боях под Новгородом, о девушках из полка Марины Расковой.

— Ты не представляешь себе,— сказал мне Женя, прощаясь,— как важно, чтобы рядовые американцы увидели, как мы бьем непобедимых фашистов...

Мы встретились в последний раз с Петровым в Москве, после разгрома армии Гудериана. Мы обедали с ним и Кригером в клубе литераторов, напоминавшем в те дни перекресток боевых дорог.

Здесь встречались друзья с северных, центральных, южных фронтов, обнимались, обменивались впечатлениями — и снова в путь, к своим войскам, к своим боевым друзьям и героям.

Женя был особенно возбужден, весел.

— Это начало конца,— говорил он нам.— Поверьте опыту старого вояки. Я уже задумал даже писать новую пьесу. А как поживает Иван Грозный?..

...Через несколько месяцев мы читали его корреспонденции из Заполярья... Скупо и убедительно рассказывал он о новой, необычной обстановке, об артиллеристах, соединяющих спокойствие с поразительной быстротой, о воздушных боях под Мурманском.

...А еще через месяц он был в Севастополе. В окруженном, блокированном, героическом Севастополе.

И я вспомнил, как еще в Финляндии перечитывал Петров «Севастопольские рассказы» Толстого. Как-то зашла речь о том, что Эрнест Хемингуэй, творчество которого мы оба любили, находится по ту сторону фронта в финской армии и мы можем неожиданно столкнуться с ним как враги.

— Нет,— сказал тогда Петров,— этого я не могу себе представить... Этого не может случиться. Он поймет. А знаешь ли ты, что в своей книге «Зеленые холмы Африки» Хем рассказывает, что любимая его книга «Севастопольские рассказы» Толстого и что он постоянно возит ее в своем походном мешке?..

...Что ж, теперь Женя Петров писал свои «Севастопольские рассказы». О героизме города адмирала Нахимова и матроса Кошки, хирурга Пирогова и матросской девушки Даши...

Писал как всегда скупым, сжатым, телеграфным и в то же время точным и убедительным языком.

«Только за первые восемь дней июня на город было сброшено около 9000 авиационных бомб, не считая снарядов и мин...»

«Двадцать дней длился штурм Севастополя, и каждый день может быть приравнен к году»...

И каждый день, получая «Правду», мы искали прежде всего корреспонденций Петрова.

Они скоро прекратились...

Уже на корабле Петров написал свою последнюю корреспонденцию для Америки. Она называлась «На левом фланге».

«Совсем недавно я с трудом выскочил на американском вездеходе из майской мурманской вьюги, способной засосать человека с головой, а также со

всеми его записными книжками и пишущей машинкой... Теперь я пишу «где-то на Черном море», обливаясь горячим потом, хотя я родился в Одессе и имею некоторый иммунитет по части черноморской жары...»

Эта корреспонденция была доставлена в Москву уже после гибели автора... Какое холодное и страшное слово: гибель... И мы никак не могли связать это слово с горячим именем Петрова, веселого человека, влюбленного в жизнь...

Эту корреспонденцию прочел Эрнест Хемингуэй в американских газетах, потому что она была отправлена в Америку и потому, что Хемингуэй не мог не читать всего, что было связано с «Севастопольскими рассказами».

...А мы не находили больше очерков Петрова в «Правде». И только много позже прочли мы отрывки из последней, незаконченной корреспонденции «Против блокады». Корреспонденции о том, как лидер «Ташкент», на котором был и Петров, прорвался сквозь кольцо вражеской блокады к осажденному городу. О том, «как мы увидели в лунном свете кусок скалистой земли, о котором с гордостью и состраданием думает сейчас вся наша советская земля...»

Последняя строчка недописанного очерка: «Корабль вышел из Севастополя около двух часов...»

И все... Обрыв. Последняя строчка, написанная «вашим военным корреспондентом», замечательным жизнерадостным человеком, которого звали Евгений Петров.

Он погиб на боевом посту. Лицом к огню...

...В Московском Доме литераторов висит мраморная мемориальная Доска почета. Среди других имен писателей-воинов, павших в боях за родину,— имя Евгения Петрова...

Это хорошо — мемориальная доска.

Но разве могут рассказать эти тринадцать букв, окрашенных золотом, о веселой, многогранной, бурной, стремительной жизни этого человека?

О ней должны рассказать друзья...



Владимир Луговской

1

Впервые я встретился с ним на большом вечере в Кремлевской школе ВЦИК. Вечер был организован, кажется, редакцией газеты «Красный воин» Московского военного округа, и выступали на нем преимущественно военные поэты. Я был тогда отделенным командиром 1-го Московского стрелкового полка, с гордостью носил свои два треугольника в петлицах, писал в свободное от службы время стихи и в Московской ассоциации пролетарских писателей представлял доблестную Красную Армию.

На вечере я выступал одним из первых. Читал довольно слабенькие стишки (конечно, тогда они казались мне весьма талантливыми) о штурме Перекопа, штурме, в котором по молодости лет я никакого участия не принимал. Значительную роль в стихах этих играла бывшая работница табачной фабрики Наташа — «удалой буденновский комбат»...

И когда ветрами мчатся кони
По кубанской выжженной траве,
Ветер шлем напрасно рвет и клонит
На Наташиной кудрявой голове...

Хлопали мне здорово. Конечно, не столько за стихи, сколько за то, что «свой», военкор, отделком...

Сразу после меня слово предоставили Владимиру Луговскому. Он только-только (во время моего выступления) явился на вечер и не успел даже снять длинной комсоставской кавалерийской шинели, перекрещенной скрипящими ремнями. Я посторонился, уступая ему дорогу к трибуне, и восхищенно оглядел всю его ладную мощную фигуру. Казалось, что он только что слез с коня. Мне почудился звон шпор. Я даже посмотрел вниз на сапоги его. Шпор, однако, не было.

Проходя мимо зеркала, стоящего сбоку сцены, я с грустью оглядел свою просоленную, выцветшую солдатскую гимнастерку.

Луговской высился на трибуне как памятник. Голос его (микрофонов тогда еще не было) точно звук трубы гремел по всему залу:

Сегодня — вагон.
Неделя — вагон.
А дальше — большая атака,
Осенний нерадостный небосклон
И в дуло идущий последний патрон
Для белого или поляка.
Но к северу, к югу (не все ли равно?)
Лавиной, обвалом, громадой
Летят эшелоны, звено за звеном,
И сердце укрыто шинельным сукном,
И думать о доме — не надо...

Довольно ранние стихи эти, которые Луговской, кажется, даже не включил потом в свое «Избранное», показались мне прекрасными. И моя «Буденновка Наташа» потускнела и выцвела перед ними так же, как бедная солдатская гимнастерка.

В этот вечер мы познакомились с Луговским, но знакомство было беглым, и я даже не решился спросить его мнение о моих стихах.

Вторая встреча произошла через несколько лет. Я закончил свой срок службы в армии, перестал сочинять стихи, написал свою первую прозаическую книгу «С винтовкой и книгой», секретарил в МАПП и вместе со старыми маститыми «вождями» пролетарской литературы решал трудные теоремы: от кого отмежевываться, кого перевоспитывать, кого прорабатывать, с кем блокироваться. В сложных сочетаниях на шахматной доске литературы передвигались перевальцы, лефовцы, конструктивисты.

Владимир Луговской входил тогда в «Литературный центр конструктивистов». Скорее не по убеждению, а по старым дружеским связям.

В наших мапповских «синодиках» он значился, как и Багрицкий, «левым попутчиком». Его надлежало «оттягивать» и «перевоспитывать»...

Мы встретились снова в Кунцеве, в «логове» Эдуарда Багрицкого. Это была как бы ничейная земля. Багрицкого любили все, без различия групп и номенклатур.

Я давно уже ходил в штатском. Володя не снимал еще военного костюма. Он был так же красив и живописен, как и тогда в Кремле. Об одних только легендарных бровях его можно было писать поэму... Но справедливости ради надо сказать, что живописность его была какой-то естественной. То, что казалось бы позой, «игрой», дешевкой у других, никак не вязалось со всем благородным обликом Луговского.

Багрицкий познакомил нас. Он, конечно, давно уже забыл, Луговской, о том первом вечере... Нет, оказывается, не забыл.

— Как поживает Наташа? — усмехаясь спросил Луговской.— Она уже не мчится больше по выжженным степям?..

Багрицкий недоуменно развел руками. Пришлось мне, краснея и смущаясь, рассказать о злополучной Наташе...

В этот вечер Эдуард читал Блока.

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...

Луговской сосредоточенно слушал, сдвинув брови, вскакивал с места, подходил к аквариуму, любовался переливами цвета на чешуе новой диковинной рыбы. Казался он мне грустным и непохожим на того монолитного краскома, каким его увидел впервые.

Мы уже собирались уходить, когда Луговской, точно решившись, сказал:

— Можно, Эдя, теперь я прочту?

— Свои? — оживился Эдуард.

— Свои. И одно, между прочим, посвящается тебе.

— Мне?.. Ого, смотрите, ребята. Мне уже посвящаются стихи. Читай, конечно, читай, Володя.

Луговской облокотился о спинку стула. Читал он неожиданно тихо, задушевно:

Прощай, моя юность! Ты ныла во мне
Безвыходно и нетерпеливо
О ветре степей, о полярном огне
Берингова пролива.

Ты так обнимаешь, ты так бередишь
Романтикой, морем, пассатами,
Что я замираю и слышу в груди,
Как рвутся и кружатся атомы.

...На бой, на расправу, на путь, в ночлег
Под звездными покрывалами.
И ты переметишь мой бешеный бег
Сводчатыми вокзалами...

Эдуард взволнованно слушал, положив на скрещенные руки большую свою голову. А для нас открывался новый Луговской. Мятущийся, ищущий, взобравшийся на какой-то перевал своего творчества и оттуда глядящий вперед, выбирающий новый путь. Что общего имел он с пресловутым конструктивизмом?

Там я обещал комитету стихий,
Редакции моря и суши
Простить мою юность и строить стихи
Как можно просторней и суше.

Это была программа. Неутомимый путешественник начинал свои странствия по всему миру. И он строил свои стихи все просторней. Но суше они не становились никогда.

Багрицкий смотрел на него задумчиво и нежно. Он не любил излишних сантиментов и не говорил никаких ласковых слов. Он только спросил тихо:

— А что же ты посвятил мне, Володя?

«Дай руку. Спокойно...
Мы в громе и мгле
Стоим
на летящей куда-то земле».
Вот так,
постепенно знакомясь с тобою,
Я начал поэму
«Курьерский поезд»...

Мы вздрогнули от неожиданного перехода. Что это было? Начало поэмы? Или просто задушевный разговор с другом?

Когда мы с Багрицким ехали из Кунцева
В прославленном автобусе на вечер Вхутемаса,
Москва обливалась заревом пунцовым,
И пел кондуктор угнетенным басом...

Я не собираюсь делать сейчас «критический» анализ этих строк, трепанировать их на «операционном столе» и решать, насколько удачна рифмовка «Кунцево» и «пунцовым». Я чувствую себя и сейчас, через тридцать лет, столь же взволнованным, как и тогда, впервые услышав эти стихи.

Это были раздумья, глубокие раздумья перед выбором, перед решением. Хотя решение было уже давно предопределено всей жизнью поэта. И широкий путь Луговского пролегал рядом с дорогой Багрицкого.

И мы в этом вареве вспученных дней,
В животном рассоле костистых событий —
Наверх ли всплывем,
или ляжем на дне,
Лицом боевым
или черепом битым.

Да! Может, не время об этом кричать,
Не время судьбе самолетами клёктать,
Но будем движенья вести от плеча,
Широко расставя упрямые локти!

...Мы в сумрачной стройке сражений
теперь,
Мы в сумрачном ритме движений
теперь,
Мы в сумрачной воле к победе
теперь
Стоим
на земле летящей...

Он закончил так же неожиданно, как начал.

— И это посвящается мне, Володя? — медленно спросил Эдуард.

— И это посвящается тебе, Эдя.

— Оставь мне эти стихи, Володя, — задумчиво и даже немного растерянно сказал Багрицкий. — Я их перечитаю ночью. Когда останусь один.

А потом, в начале тридцатых годов, был создан ЛОКАФ. Литературное объединение Красной Армии и Флота.

В него вошли писатели, продолжающие славные традиции Серафимовича и Фурманова, писатели, прошедшие свою суровую школу и в годы гражданской войны и в годы армейских будней.

«На земле, в небесах и на море...»

Краснознаменцы Всеволод Вишневский и Матэ Залка. Герои гражданской войны Роберт Эйдеман и Леонид Дегтерев, артиллерист Степан Щипачев и моряк Леонид Соболев. Солдат пехоты Алексей Сурков, и баталер Цусимы Алексей Силыч Новиков-Прибой, и братья-военкомы Лев и Михаил Субоцкие.

ЛОКАФ пользовался заслуженным уважением в полках и эскадронах, ближних и дальних гарнизонах, на пограничных заставах, на крейсерах и эсминцах всех флотов.

Мы издавали свой журнал «ЛОКАФ», который потом стал называться «Знамя».

Новые молодые армейские и флотские писатели, писатели военно-патриотической темы, вступали в наши ряды.

И сколько сотен молодых матросов, ставших потом капитанами и адмиралами, и сколько тысяч солдат-пехотинцев, танкистов, артиллеристов, ставших потом комбригами, полковниками и генералами или сменивших военные гимнастерки на мирные комбинезоны мастеровых, геологов, строителей, открывателей новых залежей черного золота, на пиджаки ученых, на строгие костюмы дипломатов,— сколько из них, уцелевших в жестоких боях за родину, вспоминают сейчас поэта Владимира Луговского, одного из правофланговых ЛОКАФа, читающего с трибуны, с пригорка, с пушечного лафета, с колпака танка, с вахтенного мостика, а то и просто с холма свою знаменитую «Песню о ветре».

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.
Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской речью —
За Волгу, за Дон, за Урал в Семиречье...

Не раз выступая вместе с Луговским, я видел всегда, как неизменно восторженно реагировали слушатели на стихи эти, развертывающиеся в бешеном темпе, с публицистическим вмешательством автора, с телеграфно-лаконическими, почти прозаическими вставками, с неожиданно вкрапленными частушечными переборами:

Раны зализать
Не может Колчак.
Стучит телеграф:
Тире, тире, точка.
Эх-эх, Ангара,
Колчакова дочка!

На сером снеге волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка.
Эй, шарабан мой, американка,
А я девчонка, да хулиганка!

И вдруг резкое, оглушительное, как команда:

Стой!
Кто идет?!
Кончено. Залп!!

Поэт стоит взволнованный, бледный. И после минутного молчания оглушительно гудит зал... Или то, что в данных условиях можно назвать залом.

2

Луговской был моложе Багрицкого на шесть лет. Проблема «десятилетия», разделявшая наши поколения, не мучила его так, как Эдуарда. Сознательная, «взрослая» жизнь его началась уже после Октября. И все же он стоял на полпути между Багрицким и молодыми своими друзьями, на самом перекрестке двух пятилетий. И все же незримые нити связывали его с поколением Блока. Проблема «выбора» не стояла перед ним с той остротой, как у Багрицкого. Всем сердцем тянулся он к молодежи, к тому, чтобы «задрав штаны бежать за комсомолом», хотя есенинская эта метафора трудно сочеталась с его тяжелой поступью «командора».

И все же, находясь в самой гуще жизни и борьбы, воспитавшись в рядах Красной Армии, он ощущал еще недостаточность своей связи с народом, связи, к которой стремился всю жизнь, так же, как Маяковский и Багрицкий.

И для него тоже уход из «Литературного центра конструктивистов» и вступление в РАПП означали приближение к массе, к основным своим героям и читателям, переход с каких-то боковых путей на основную магистраль революционной литературы.

«Эпоха начала звучать для меня,— сказал Луговской в своем выступлении «Мой путь к пролетарской литературе»,— как целая симфония, большая симфония, в которой я принимаю непосредственное участие, являюсь одним из голосов — голосом, сочетавшимся с другими сложными инструментами и голосами, а не отдельно звучащим в унисон с гулом эпохи».

Программным стихотворением, определяющим какой-то новый этап в поэзии Луговского, явилось «Письмо к республике от моего друга», вошедшее впоследствии в ту же книгу «Страдания моих друзей», что и стихи, посвященные Эдуарду.

Знаменательно, как стихотворение это перекликается не только со стихами Багрицкого, но и, при всех национальных и временных особенностях, со стихами таких поэтов, одногодков Луговского, пришедших разными путями к революции, как Арагон, Элюар, Броневский, Неруда, Альберти, Незвал... Баррикада имеет только две стороны. Поэт Луговской уже давно занял свое место по одну, революционную сторону баррикады. Но он не хочет быть в тылу, не хочет быть только подносчиком патронов. Он хочет занять место в первых рядах, на самой линии огня. Позиция «окопного туриста» претит ему. Он должен быть, по крылатому выражению Анри Барбюса, «тружеником битв».

Ты строишь, кладешь и возводишь,
ты гонишь в ночь поезда.
На каждое честное слово
ты мне отвечаешь: «Да!»

Прости меня за ошибки,—
судьба их назад берет.
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я плоть от твоей плоти
и кость от твоей кости.
И если я много напутал, —
ты тоже меня прости.
Наполни приказом мозг мой
и ветром набей мне рот.
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я спал на твоей постели,
укрыт снеговой корой.
И есть на твоих равнинах
моя молодая кровь.
Я к бою не опоздаю
и встану в шеренгу рот. —
возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед...

Он впервые прочел это стихотворение на одном из московских активов комсомола. Чеканные, литые строчки эти звучали с такой предельной, задушевной искренностью, что высокий пафос стихотворения обретал силу самой тонкой интимной лирики.

В зале сидели те, кто «строил, клал и возводил, кто гнал в ночь поезда», те, к которым обращался поэт.

И случилось почти небывалое. Когда на последнем выходе, сойдя с трибуны, Луговской, весь подавшись вперед, прогремел:

На каждое честное слово
ты мне отвечаешь, —

из самого зала взметнулось многоголосое: «Да!»...

Володя замер на мгновение. Видно, сдавило от волнения горло, а потом совсем тихо закончил:

Так верь и этому слову —
от сердца оно идет, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.

И жизнь двинула его «грохоча, вперед». Неутомимый путешественник, он объехал всю Среднюю

Азию, сроднился с пограничниками, победителями басмачей. И солнце туркменских степей опаляло бронзовеющую кожу его лица, и любимый ветер, на этот раз пустынь Средней Азии, надувал паруса его новых книг.

Друзей, боевых друзей, большевиков пустыни и весны, становилось все больше. Он счастлив был ощущать себя с ними в одном строю.

Работники песков, воды, земли,
Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна,
Единственная на земле страна!
Я сердце дам за каждого из вас,
Идущие в шеренге дней и масс,
Вы, незаметные учителя страны,
Большевики пустыни и весны.
Я сам иду, как взводный, впереди.
Работы много — отдыха не жди.
Я говорю, — и знаю цену слов, —
За каждого из вас я умереть готов.
У нас у всех — одна, одна, одна,
Единственная на земле страна.

3

Значительную часть своего времени Луговской уделял беседам с начинающими писателями, с литкружковцами.

Особенно широкий размах работа эта приняла в 1933 году, когда по инициативе М. Горького был создан Вечерний рабочий литературный университет, преобразованный вскоре в Литературный институт имени Горького. Луговской, Антокольский, Сельвинский, Асеев вели первые семинары поэзии, мы с Михаилом Григорьевичем Огневым — семинары прозы.

Творческие семинары были душой института. Преподаватели и студенты составляли очень дружный и единый коллектив. Жили, что называется, душа в душу. Не укладывались ни в какие рамки учебных часов.

Часто чтение стихов или рассказов, страстные разговоры и споры переносились из стен института

на квартиры Луговского или мою (мы жили здесь же, во дворе Дома Герцена) и заканчивались только глубокой ночью.

На наши веселые «капустники» собиралась творческая молодежь Москвы, и мы нежно и гордо называли институт наш «лицеем».

Наиболее любимым и популярным был семинар Луговского. Володя ненавидел всякое «наставничество», «резонерство» и со студентами института держался как самый близкий друг.

Питомцами его были такие, теперь уже маститые поэты, как Алигер, Долматовский, Матусовский, Симонов, потом С. В. Смирнов, Луконин, Замятин и Недогонов, потом приходили «на огонек дяди Володи» и студенты из других семинаров: Яшин, Слуцкий, Коган, Кульчицкий, Воронько, Наровчатов, десятки других, еще более молодых.

Володя не просто «учил» их, он давал им первую путевку в жизнь, он «выводил» их на страницы журналов, где руководил отделом поэзии, сначала «Молодой гвардии», а потом «Знамени». («Знамя» помещалось тут же, в Доме Герцена.) Здесь рождались первые книги, книги весьма примечательные, занявшие свое место в истории советской поэзии.

Сам облик Луговского был романтичен. Романтика была и в обстановке его кабинета. Над тахтой на ковре — целая коллекция шашек, кинжалов всех размеров, ятаганов, дуэльных пистолетов лермонтовских времен, старинных ружей — фузей. Если бы хватило места, Володя несомненно раздобыл бы и приволок какую-нибудь шипкинскую, что ли, пушку с набором круглых ядер.

Вдоль всех стен полки. На полках книги — в старинных тяжелых кожаных переплетах и новые — памятные — от друзей и учеников.

Каждому клинку Володя посвящал особую новеллу, в духе Проспера Мериме. И при каждом повторении новелла эта обрастала все новыми и новыми диковинными деталями.

Володя много ездил, сначала по стране, по азиат-

ским республикам, потом по Европе. На полках среди книг размещались сувениры — редкие минералы песков Каракумов, осколки камня с Акрополя, статуэтка одной из химер Собора Парижской Богоматери...

В этой необычайной, экзотической обстановке занимался творческий семинар.

Он походил, как вспоминает Миша Луконин, на увлекательное путешествие по стране поэзии. После обсуждения стихов «семинарцев» сам Луговской отдавал на суд учеников свои новые стихи, внимательно выслушивал критические замечания «ершистых» питомцев, соглашался, сердился, спорил.

Здесь на семинаре, вернувшись из очередной среднеазиатской поездки, читал Володя стихи из второй книги «Большевики пустыни и весны».

Здесь на семинаре (я привел тогда и своих прозаиков, стульев не хватило, сидели на подоконниках, на полу, на большом походном седле-сувенире) читал Володя стихи из очередной европейской поездки, из книги «Жизнь».

В нашем сознании давно уже жили точно на бронзовой плите вырезанные строчки о зарубежных друзьях:

Каждое рукопожатье
мы помним
и понимаем,
И мы не на век расстаемся.
Ну,
пока!..
Наша дорога прямая,
и ваша дорога — прямая.
Лежит через всю Европу
дорога большевика...

Теперь они становились как бы эпиграфом к новым стихам. О друзьях и врагах (фашизм уже высоко поднял голову в Германии!).

Поэзия Луговского, находя все новые ритмы, приобщив к своему формальному богатству далеко не легкие интонации белого стиха, становилась все более мужественной. Высокие философские раздумья,

идущие от конкретной, познанной жизни, сближали ее с классическими обобщениями великого автора «Фауста», с темой вечного возрождения (Умри и возродись! — Stirb und werde!).

Недаром уже впоследствии одной из лучших книг своих предпослал Луговской четверостишье Гёте:

Коль постигнуть не далось
Эту «смерть для жизни», —
Ты всего лишь смутный гость
В темной сей отчизне.

Und so lang du das nicht hast
Dieses: stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Философские раздумья эти приводили Луговского к высокой оптимистической теме, теме горьковского звучания, теме победы над слепыми силами природы и над самой смертью.

Еще раньше в «Большевиках» он писал:

Смерть
не для того, чтобы рядиться
В саваны
событий и веков,
Умереть,—
чтобы опять родиться
В новой поросли
большевиков.

А теперь поэму «Жизнь» он заканчивал:

Поэзия моя! Поэзия моя!
Чтобы гореть и убивать в бою, —
Сумей поднять живую цельность жизни
И, обнажив ее предельный смысл
И проникая в тайники явлений,
Заставь заговорить глухонемые
Всеобщие законы естества.

Меня уносит горький ветер мира,
Всегда зовущий на борьбу и песню.
Я дал себе большое обещанье.
Какое? Расскажу, когда исполню.
Для этого нужна вся жизнь,
А может быть, и смерть.

Студенты сидели молча, сосредоточенные. Новые стихи Луговского помогали им лучше постигать сложные законы жизни и поэзии, чем некоторые трафаретные лекции по эстетике и литературоведению.

4

Во флигелях, примыкающих к Дому Герцена, жили (в разное время) многие писатели. (Это было еще до сооружения писательских домов на Лаврушенском и Камергерском.) Ветеран советской литературы Алексей Иванович Свирский, старый моряк-большевик Тарпан, Александр Фадеев, Владимир Луговской, Андрей Платонов, Артем Веселый, Иосиф Уткин, Петр Павленко, Антал Гидаш, Петр Слетов, Петр Скосырев, Иван Жига, Иван Евдокимов.

Во дворе, на нынешней волейбольной площадке, был врыт в землю столб. Вокруг столба на цепи ходила большая рыжая лиса, принадлежавшая Илье Кремлеву (Свену),— предмет восхищения ребят всей округи. Иногда, поздним вечером, оторвавшись от письменных столов своих, мы выходили побродить по саду, посидеть, так сказать, на «завалинке», «потрепаться» всласть, а то и почитать новые, только-только родившиеся стихи. Ведь Центрального Дома литераторов тогда еще не существовало.

Помню, как совершали десятки кругов по саду черноволосый, стройный, худощавый, в длинной черной косоворотке с десятками мелких пуговиц (так называемой у нас не без ехидства «фадеевке») Саша Фадеев и гостивший у нас высокий, статный, бритоголовый Джон Дос-Пассос. Фадеев почти не говорил по-английски, Дос-Пассос не владел русским. Однако они разговаривали без переводчика, спорили, часто останавливаясь, помогали себе оживленными, выразительными жестами.

Я жил рядом с Луговским. После окончания ИКП занимался европейской литературой, преподавал ее в институте. Володя только вернулся из большой

поездки по Франции. Он рассказывал (на той же символической «завалинке») о всяких заморских диковинах. Я еще не бывал за рубежом, и все это представляло для меня исключительный интерес.

Луговской был в нашей среде одним из самых всесторонне образованных поэтов. Он довольно основательно знал языки, хорошо знаком был с английской, французской, американской, скандинавской литературой. Мог наизусть процитировать Редиарда Киплинга, Уолта Уитмена, совсем тогда малоизвестного у нас Карла Сендберга, любил живопись. Восхищался скульптурой Родена. Как и друг его, Эдуард Багрицкий, очень любил Шарля де Костера. Тиль Уленшпигель был дорог ему и близок мятежной, романтической его поэзии.

Ты поднял свои кулаки,
побеждающий класс.
Маячат обрезы,
и полночь беседует с бандами.
«Твой пепел
стучит в мое сердце,
Клаас.
Твой пепел
стучит в мое сердце,
Клаас»,—
Сказал Уленшпигель —
дух
восстающей Фландрии.

Близок был ему и родственный Тилю народный образ мятежного, неунывающего Кола Брюньона.

Узнав, что я читаю в институте лекции о Ромене Роллане, он специально пришел на занятие, посвященное Кола Брюньону, уселся где-то на галерке, рядом с Костей Симоновым, что-то записывал, одобрительно покачивая головой и вгоняя меня в краску...

Через много лет (и каких лет!) Володя напомнил мне о той лекции и прочел неизвестное еще читателям стихотворение, посвященное Кола Брюньону:

Смутные холмы Бургундии легли
Под февральским бледно-синим небом,
Мощные текут пласты земли —
Вечные творцы вина и хлеба.

И на той земле проходит он —
Весельчак, гуляка, мудрый мастер,
Старый друг людей — Кола Брюньон,
Сердце Франции и образ счастья.
Богатырь Бургундии могучей,
Крепкорукий жилистый француз,
Над твоей землей проходят тучи,
Только ты, как встарь, не дуешь в ус.
Видел я тебя в широкой блузе,
В кованных железом башмаках,
Древний облик верного француза,
Для которого неведом страх.
Ты живи, ты пей вино, твори,
Раздвигай плечом крутые тучи,
Мирный день улыбкой озари —
Богатырь Бургундии могучей!

...Из открытого окна Володиной квартиры доносились звуки музыки. Играла жена Володи, Сусанна.

Изредка она выходила проведать нас и как всегда, поддразнивая, ехидно спрашивала меня:

— Ну, Иоганн-Себастьян (И.-С. Бах!), какую фугу вы сегодня написали?

И возвращалась к инструменту. Володя прислушивался к звукам, настораживался.

— Григ...— задумчиво говорил он.

Он очень любил Грига. Весь облик этого композитора был близок ему. Любил он рассказывать о том, как на севере, в далеком гроте горы, вздымающейся над морем, раскачивается под шум волн повисший на железных цепях гроб Эдварда Грига...

Именно в связи с Григом зашел у нас разговор о Пер Гюнте Генрика Ибсена.

— Григ и Ибсен,— задумчиво говорил Володя,— прекрасный пример органической творческой связи писателя и композитора. Бранд и Пер Гюнт точно изваяния чудесного скульптора стоят друг против друга. Величайшая цельность и трагическая половинчатость. Гранит и губка... Я всегда удивлялся тому, что, написав своего «Пер Гюнта», Григ не написал «Бранда». А входит ли Ибсен в цикл твоих лекций в институте, Саша?

Я ответил, что входит.

— Я скажу своим поэтам, чтобы внимательно слушали. Это очень, очень важно, чтобы молодые

литераторы знакомы были и с Брандом и с Пер Гюнтом.

Он внезапно исчез в подъезде, потом вернулся с маленьким томиком.

Раскрыл его сразу на закладке:

Там, под сияющим сводом,
Учат: «самим будь собой, человек!»
В Рондских же скалах иначе:
«Тролль, будь *доволен* собою самим!»
— Смысл постигаешь глубокий?
...Соль вся в словечке «доволен»...

Он захлопнул книгу.

— А сколько у нас таких самодовольных троллей, с пустой, половинчатой душой... Ты знаешь, мне иногда кажется, что человечество разделяется на Эгмонтов, Фаустов, которые всегда остаются цельными, несгибающимися, воинственными, которых не одолеть даже Мефистофелю, на сильных волевых Брандов и колеблющихся Пер Гюнтов, за душами которых охотятся разные тролли.

Он опять раскрыл книгу. Пресловутый пуговочник пришел за душой Пер Гюнта. Он получил приказ:

«Ты послан Пера Гюнта взять, который
Всю жизнь не тем был, чем был создан быть,
И, как испорченная форма, должен
Быть перелит»...

— Испорченная форма. Пуговица без ушка. Никто... Лом, негодный даже для переливки. Ты задумывался над этим, Саша?.. В каждом из нас есть много нуждающегося в переливке. Но разве можно переливать пустоту? Как здорово здесь Григ почувствовал Ибсена! А ведь Пер Гюнты живут и в нашем мире... Живут, Саша... А как великолепна и высокогуманистична вся сложная музыкальная тема Сольвейг! Впрочем, я тебе совсем задурил голову. Целую лекцию прочел. Твой педагогический хлеб отнимаю. Да и знаешь ты обо всем этом больше бедного, малообразованного поэта. Давай лучше пойдем покормим несчастную, брошенную на произвол судьбы свеновскую лисицу.

А я был бесконечно благодарен ему. Беседы с Луговским были для меня живой водой. Я стал лучше понимать Ибсена, да и одного ли Ибсена?..

Лунный свет серебрил его черные, смоляные волосы. Густые брови казались двумя крыльями на красивом, строгом лице, лице викинга.

Из окна опять донеслась мелодия Грига, точно Сусанна аккомпанировала разговору нашему.

Володя прислушался, еще суровее сдвинул брови. Что-то дрогнуло в лице его. И мне показалось на одно мгновение, что он не только презирает Пер Гюнта, не только жалеет его, но и боится... Может быть, боится, сам того не сознавая. А может быть, я тогда и не заметил этого и только потом, много позже, уже в военные годы, вспомнил по какой-то сложной и не всегда объяснимой ассоциации, возникшей из самых глубин сознания, вспомнил в годы очень трудные и во многом для Володи Луговского так же необъяснимо и неожиданно трагические. Не знаю... Не знаю...

...Начиная с 1937 года количество жильцов нашего Дома Герцена стало катастрофически убывать...

Исчез старый большевик-правдист Александр Зуев. Исчез Петр Слетов. Исчез Иван Евдокимов. Исчез Артем Веселый.

Так же редели ряды руководителей ЛОКАФа и редакции журнала «Знамя»... Были изъяты пуровские наши товарищи, носящие по три и по четыре ромба. Боевой комиссар и прекрасный писатель Роберт Петрович Эйдеман. Ответственный редактор «Знамени», армейский комиссар Михаил Ланда. Его заместитель Семен Рейзин. Член редколлегии, генеральный секретарь ЦК комсомола Александр Косарев.

Вскоре из всей большой представительной редколлегии осталось четверо: Вишневский, Новиков-Прибой, Луговской и Исбах.

Нам трудно было понять, что происходит. И я не

хочу теперь задним числом преувеличивать нашу стойкость и сознательность.

Но когда арестовали еще одного соседа нашего, талантливого поэта-коммуниста Антала Гидаша, мы написали в защиту его письмо, смелое по тем временам, а по существу выражающее самые естественные наши чувства, наш долг перед другом, которого знали многие годы.

Среди других стояла подпись Владимира Луговского.

Насколько мне известно, в защиту Гидаша были написаны и другие письма. Гидаш был освобожден только весной 1944 года.

5

15 сентября 1939 года многих военных писателей-локафовцев вызвали в ПУР. Приказом начпура мы были мобилизованы в армию, получили военное обмундирование, оружие и соответствующие направления в войска. Группа писателей выехала на Украину, группа — в Белоруссию.

Какие конкретные задачи выпадут на нашу долю, мы еще не знали. Но, следя за мировыми событиями, ясно представляли себе, что дело идет не просто об очередных маневрах, в которых не раз уже принимали участие.

Гитлер начал вторую мировую войну. После оккупации Австрии, Чехословакии фашистские войска вступили на территорию Польши и, сломив сопротивление бековских дивизий, направились к востоку, к землям, искони населенным белорусами и украинцами...

В «белорусскую» группу писателей входили Владимир Луговской, Евгений Долматовский, Борис Левин, Семен Кирсанов, Александр Твардовский, Илья Френкель, Арон Эрлих, Владимир Лидин, автор этих строк. Писатели, ставшие полковыми и батальонными комиссарами, интендантами первого и второго рангов, старшими политруками, распределены были по армейским газетам.

Владимир Луговской (самый бравый — три шпалы в петлицах), Александр Исбах (две шпалы) и Евгений Долматовский (одна шпала) приезжают к месту назначения, в город Смоленск.

Здесь уже пахнет порохом. Моментально включаемся в жизнь окружной военной газеты «Красноармейская правда».

Покровы военной тайны все более спадают, и мы уже знаем, что готовится правительственный указ о переходе польской границы, чтобы освободить из-под панского ярма и не оставить под немецко-фашистским гнетом земли Западной Белоруссии и Западной Украины.

Вместе с товарищами-журналистами мы готовим боевой номер газеты. Номер этот не может выйти без песни, без марша наступающих войск.

Получив специальное задание, возбужденные как никогда, Луговской и Долматовский уединяются в редакторском кабинете, и через два часа мы уже поем, на неопределенный пока еще мотив (композитор еще в пути), новую песню:

Мы идем за великую родину,
Нашим братьям по классу помочь.
Каждый шаг, нашей армией пройденный,
Прогоняет зловещую ночь.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваши вечные границы
Мы штыками оградим.
Наша армия могуча,
Мы развеем злую тучу,
Наших братьев зарубежных
Мы врагу не отдадим.

Песня встречает общее одобрение. Редактор сомневается, можно ли называть немцев «врагами».

— «Заклятые друзья» — в размер не ложится, — под общий смех возражает Луговской.

После недолгих споров текст утверждается.

А Володя Луговской, проявив верх оперативности, написал уже, оказывается, стихотворение, обращенное к бойцам Белорусского фронта. (Вы слышите: уже не округа, а фронта!)

...Час пробил, час пробил, час пробил, друзья!
Встают народы СССР — единая семья —
За братьев кровных, дорогих, за села, нивы их,
Настал победы светлый час, давно желанный миг...
...Час пробил, час пробил, час пробил, друзья!
Мильоны ждут за рубежом, дыханье затая.
Мы мир несем, мы труд несем и радость и покой.
С Интернационалом воспрянет род людской!..

Каждая с огромным подъемом прочитанная строка звучит как набат...

Мы узнаем, что в нашем распоряжении будет целый поезд — походная редакция и типография. Он уже целиком оснащен и ждет приказа, чтобы двинуться к границе. В Минске к нам присоединяются белорусские поэты и писатели, старые друзья наши Петрусь Бровка, Петро Глебка, Михась Лыньков.

Настроение приподнятое, боевое. Подтянутый, весь в «шпалах», Володя Луговской ходит по Смоленску как командарм.

Перед закатом мы сидим в ожидании приказа на бульваре, усыпанном первым золотом осенней листвы, и едим огромный арбуз, по-братски делясь с окружившей нас детворой.

Приказ получен. Луговской, Исбах, Долматовский «выбрасываются» вперед (поезд двинется только через день). На заре нас подбросят на машине к границе. Оттуда — вместе с войсками. Когда произойдет это историческое событие, еще неизвестно. Это еще военная тайна. Но каждый из нас (под строгим секретом) знает, что будет это в ночь на 17 сентября... Значит, на заре. В редакции приготовлены для нас походные койки. Но кто будет спать в эту ночь...

Втроем, изнемогая под тяжестью военной тайны, мы идем в Дом Красной Армии поужинать. Может быть, в последний раз в мирной обстановке. Встречающиеся на улицах бойцы, лейтенанты, политруки, капитаны, майоры, скользнув взглядом по мне и Долматовскому, почтительно приветствуют полковника (так называли его все, хотя фактически был

он интендантом первого ранга) Луговского, и он небрежно отвечает им, не вынимая трубки изо рта. (С трубкой этой был связан впоследствии смешной и весьма ехидный эпизод.)

Ресторан переполнен. Чувствуется общее возбуждение. Неумолчный гул.

Свободных столиков нет. Мы подсаживаемся к каким-то летчикам. Внезапно они вскакивают и шумно приветствуют... Кого? Неужели нас, Луговского? Нет. К столу нашему подходит майор-великан в лётной форме с двумя (двумя!) Золотыми Звездами на груди. В те годы дважды Герои исчислялись единицами. Это несомненно «испанец». Первая Звезда — за какой-нибудь бой под Мадридом, или Гвадалахарой, или Уэской, где погиб друг наш Матэ Залка — генерал Лукач. А вторая Звезда?

Знакомимся быстро. Да, майор воевал в Испании. Да, он знал генерала Лукача. А вторая Звезда — за Халхин-Гол. Это прославленный летчик майор Грицевец. Он только что из Кремля. Весь светится от счастья. У Долматовского уже готов посвященный Грицевцу экспромт. А Луговской не сводит с него восхищенных глаз.

Рассказы. Рассказы. Рассказы. О боях, о друзьях, о победах. Луговского просят прочесть стихи. К нам уже обращено внимание всего зала. На минуту я замираю от страха. Как бы он не прочел еще «нелегального» нового марша!.. Но нет, он читает свою знаменитую любимую «Песню о ветре». Он читает «Большевикам пустыни...». И как никогда сильно звучат сегодня клятвенные слова его:

Я говорю,— и знаю цену слов,—
За каждого из вас я умереть готов.
У нас у всех — одна, одна, одна,
Единственная на земле страна...

Я заметил, что восторженно слушающий Луговского Грицевец вдруг загрустил.

— Что с вами, майор? — спросил я тихо.

— Так, ничего, какое-то вдруг нелепое предчувствие беды. Не обращайте внимания.

Он встряхнулся и вместе с другими бурно аплодировал поэту. Потом они обнялись. Оба могучие, крепкие... Богатыри...

Только много позже мы узнали, что в ту же ночь дважды Герой Советского Союза майор Грицевец погиб в результате несчастного случая на Оршанском аэродроме... Но память моя навсегда сохранила его рядом с Луговским. Плечо к плечу... Локоть к локтю...

...А на заре мы уже мчались на грузовике по Смоленскому шоссе, через родную мою Белоруссию, через город моей юности Витебск. К границе.

Наступил новый день, 17 сентября. Вместе с войсками мы перешли рубеж.

6

«День и ночь бесконечной вереницей идут танки, броневики, цистерны, батареи, тачанки, понтоны, зенитные пулеметы, конники, пехота, мотомехчасти, обозы, обозы, обозы,— писал Луговской в своем походном дневнике (его давно следует издать!).— Великая армия Советского Союза движется колоннами стали по дорогам Западной Белоруссии. Уже привыкаешь к восхищенному удивлению народа, который видит войско своих братьев могучим, великолепно оснащенным техникой. Но все-таки — каждое новое радостное слово, каждое удивленное восклицание из толпы наполняет сердце гордостью».

...Мы стремительно двигались на попутных машинах, давно оторвавшись от своей фронтовой редакции, которая осталась за советским рубежом прикованная к рельсам (надо было менять тележки паровоза и вагонов, приспосабливаясь к западноевропейской колее). Со всякими оказиями посылали мы свои корреспонденции в «Красноармейскую правду», в «Правду», в «Красную звезду».

Мы вступили в маленькое местечко Плиссы и здесь участвовали в проведении первого митинга. Трибуной служил танк. Выступали старая морщи-

нистая женщина, муж которой был замучен в тюрьмах Пилсудского, худощавый старшина-танкист и... полковник Луговской. Монументального полковника-поэта и встречали и провожали овацией. Он говорил патетические, от самой глубины сердца идущие слова и кончал стихами:

Час пробил, час пробил, час пробил, друзья!
Идем в родимые свои, заветные края,
Где счастья ждет, где воли ждет измученный народ,
Где шли советские полки в двадцатый грозный год.

И снова стремительный рывок вперед. Дорога на Вильно. Нигде не состоя на довольствии, оставив в тылу свои вещевые мешки, не имея даже продаттестатов и не думая о хлебе насущном, на второй день мы малость отощали.

Но энтузиазм наш не иссякал. Столько встреч! Столько замечательных впечатлений!..

В селе Глубокое с нами произошли два события. Во-первых, мы встретили поэта Семена Кирсанова, также оторвавшегося от своей армейской газеты и мчащегося в общем потоке. Включили его в свою ударную группу. Во-вторых, Женя Долматовский во дворе покинутого фольварка разыскал неопределенной марки машину, изрядно потрепанную, но все же годную к эксплуатации. Дальнейший поход мы совершали уже в собственной машине, которую назвали «Антилопой». За рулем — Долматовский. У машины нашей вскоре выявилась одна неприятная особенность. Она неожиданно останавливалась в самых неподходящих для этого местах и задерживала общее движение. Заводилась она уже на ходу после геройского подталкивания силами всего экипажа. Особенность эта доставила нам впоследствии серьезную, почти роковую неприятность.

В селе Глубокое мы разыскали дом, где помещалась дефензива. В большом шкафу лежали десятки пар наручников, резиновые дубинки, металлические жгуты, какие-то банки и... полкаравая ржавого, черствого хлеба.

Луговской долго рассматривал наручники. Он даже захватил пару с собой как сувенир, бросив их в «Антилопу», к неудовольствию Долматовского, утверждавшего, что каждый новый грамм тяжести для «Антилопы» смертелен.

Кирсанова заинтересовал хлеб. Кстати, аппетит проснулся у всех нас.

— Очевидно, отравлен,— мрачно сказал Луговской.

— Нам бы сюда собаку, дали бы ей попробовать,— заметил Кирсанов.

— Нет собаки. Надо скорее ехать,— отрицал всегда спешащий Долматовский.

— Трусы в карты не играют,— подытожил я. Мы с трудом разломали «отравленный» хлеб на четыре части и, с не меньшим трудом перемолов зубами, съели.

Хлеб, очевидно, не был отравлен. Все остались живы.

Но пока происходили все наши научно-хозяйственные исследования, часть, с которой мы следовали, далеко ушла вперед.

— Пан полковник,— услышали мы испуганный детский голос. На пороге стоял мальчик лет десяти. На смешанном польском и белорусском языке он объяснил нам, что в соседнем леске прячутся польские уланы.— Все ваши жолнежи ушли. Теперь они могут окружить вас. Их кони уже на опушке.

Мы встревожились. Глаза Луговского засверкали. Проглотив последние хлебные крошки, он сказал густым своим басом:

— Спасибо, мальчик. Ты настоящий Гаврош! Ты будешь нашим разведчиком. Ребята, надо занимать круговую оборону.

Семен Кирсанов безуспешно старался перезарядить свой «ТТ», и я больше всего боялся, что он сейчас всех нас перестреляет.

Но тревога оказалась напрасной. Послышался лязг машин. Подошли наши танкисты, и мы, погрузившись в «Антилопу», включились в их боевой строй.

Так с танкистами комбрига Ахлюстина мы и подошли (вслед за грозной машиной комбрига) 19 сентября к самому городу Вильно.

Сопротивления нашим войскам почти не оказывали, хотя кое-где происходили стычки, имелись и жертвы. Погиб в бою старшина Шиманский.

Подходя к окраине какого-то местечка, мы заметили, что навстречу движется небольшая колонна, блестя на солнце золотыми доспехами.

— Ребята,— сказал Луговской, всматриваясь в свой гигантский походный бинокль,— польские офицеры любят пышность. Возможно, они облачились в латы и кольчуги. Удивляюсь спокойствию комбрига.

«Латники» оказались оркестрантами местной пожарной команды. Во всех своих доспехах, в шлемах, «вооруженные» золотыми и серебряными трубами, они во главе с мощным рыжим брандмейстером вышли приветствовать нас на окраину городка.

Брандмейстер, он же дирижер, взмахнул жезлом, и... знакомая мелодия «Катюши» зазвучала в осеннем воздухе.

Это был приятный сюрприз. Оказалось, что у брандмейстера был секретный радиоприемник и он знал немало советских песен. Самой популярной была «Катюша».

Темп нашего продвижения все усиливался. Бригада Ахлюстина, обойдя на марше шедшие по боковым дорогам другие части, намеревалась первой вступить в Вильно. Это был вопрос чести.

Уже совсем на подступах к городу наша «Антилопа», грустно запыхтев и окружив себя облаками дыма, остановилась и задержала все движение танковой колонны.

Рассвирепевший комбриг Ахлюстин совсем было уже отдал приказ сбросить «Антилопу» в кювет, но опытный дипломат Луговской уговорил танкистов общими усилиями прокатить ее метров двадцать. И тут уж водительский талант Долматовского заставил ее снова пойти своим ходом.

Правда, часа через два, уже на первой виленской улице, выполнив до конца свой долг, «Антилопа» скончалась. Долматовский предложил сдать ее в музей. Но поблизости не оказалось никакого музея. Как раз к тому времени Кирсанов раздобыл где-то роскошный бесхозный «шевроле». И мы, фигурально выражаясь, опять были на коне...

На окраине Вильно нас обстреляли какие-то студенты-белоподкладочники. Но их быстро рассеяли, и мы, в танковой колонне, первые вступили в город.

Через полчаса было установлено, что вступили мы не первые. С другой окраины уже два часа назад вошли кавалеристы комдива Якова Черевиченко.

Из телефонной будки в вестибюле гостиницы «Жорж» мне чудом удалось связаться с редакцией «Правды».

— Кто первый вступил в Вильно? — спрашивали на московском конце провода.

Подавив ахлюстинско-патриотические чувства, я, как борец за правду, ответил: «Комдив Черевиченко».

В это время дверь кабины с треском открылась. Я увидел страшное лицо комбрига Ахлюстина и понял, что и так непрочная наша дружба порвалась навсегда.

Но переживать было некогда. Некогда было даже закусить, празднуя победу.

— Ребята,— сказал, собрав нас, Луговской, старший в чине. Он уже опоясался какой-то диковинной шляхетской саблей.— В городе ничего не знают о событиях. Все наши редакции далеко в тылу. Мы должны сами выпустить газету. Я уже договорился с комиссаром гарнизона.

И вот на новом «шевроле» мы мчимся к типографии бывшей белогвардейской газеты «Русское слово». В цехе нас встречает испуганный метранпаж. На талере еще лежит сверстанный набор номера, который должен был выйти в свет 19 сентября.

Мы «разверстываем» номер. Сопровождаемый двумя бойцами, метранпаж разыскивает в городе наборщиков и печатников.

Тем временем наша редакция уже работает вовсю. Три поэта, один прозаик и армейский журналист, старший политрук по фамилии Дрозд.

Стихи. Очерки. Фельетоны. Заметки. Все мы собираем на улицах корреспонденции бойцов и командиров и даже отклики населения. Я пишу передовую.

Володя Луговской заканчивает поэму (поэму!) «Смерть Шиманского».

Под Вильно, когда белопанский орел
Обуглился дочерна,
Машину комбрига отважно вел
Шиманский, герой-старшина.

Под градом пуль и ручных гранат,
В сухой пулеметной стрельбе
Бестрепетны руки, спокоен взгляд —
Он мчался, забыв о себе.

Забыв о себе, он ворочал руль,
Со смертью один-на-один.
И шел напролом под ударами пуль
Горьковский М-1.

...Ты сердце свое, как зерно, положил
В ту землю, где встанет весна.
Так кончил большую и честную жизнь
Шиманский, герой-старшина.

Некогда обрабатывать стихи. Приходится чуть ли не диктовать в линотип.

Долматовский и Кирсанов дают броские поэтические лозунги-шапки.

Газета набрана, сверстана, тиснута, с горем пополам отредактирована, подписана к печати. Готовы матрицы, отлиты стереотипы.

У печатной машины дежурим поочередно. Не спускаем глаз. Наборщики и печатники незнакомые. Работали в «Русском слове». Мало ли какой могут подпустить камуфлет! Нужно око да око.

И вот перед нами свежие, пахнущие краской но-

мера газеты «Боевое знамя», первой (первой!) советской газеты, выпущенной в городе Вильно.

Открывается номер «Песней красных полков».

«Мы идем за великую Родину»...

Раннее утро. Дождь... Но народ уже толпится на улицах и площадях освобожденного города.

Отдела распространения у нас нет. Почтальонов тоже.

Мы хватаем пачки газет и выбегаем на улицу. Мы раздаем газеты ошеломленным гражданам. Мы расклеиваем их на стенах домов.

А Луговской, монументальный, медлительный полковник Луговской вместе с исключительно быстрым, подвижным, оперативным Кирсановым разбрасывают листы газеты, объезжая город на великолепном нашем «шевроле».

...Мы самостийно издавали газету «Боевое знамя» три дня. Сами авторы, сами интервьюеры, сами корректоры, сами редакторы, сами цензоры, сами почтальоны.

Это был поистине редкий случай в истории советской печати.

Через три дня подошла редакция армейской газеты «Боевое знамя», и мы передали ей все наше хозяйство.

Мы почти не спали эти три дня. Бывало, ляжешь на часок, проснешься — видишь: Володя сидит на своей кровати и пишет...

...Начальник гарнизона издал приказ населению — снести все оружие на площадь. Приказ был выполнен беспрекословно. Целая гора оружия выросла перед зданием воеводства. Чего-чего только тут не было... Длинные сабли времен короля Августа. Мушкеты. Пистолеты с длинными дулами и пороховыми полками. Шляхетские шпаги с золотыми рукоятками. Морские кортики. Дуэльные рапиры. Изящные дамские стилеты. Комендант разрешил нам взять на память любой клинок.

Я был занят в типографии и не мог заглянуть на площадь.

Володя, весь увешанный саблями и мушкетами,

гремел на каждом шагу и напоминал передвижную оружейную выставку. Вот где его старая страсть была полностью удовлетворена. На мою долю досталась только ржавая, иззубренная офицерская шашка с вензелем Николая II на эфесе.

...В последний день пребывания в Вильно мы зашли в знаменитый виленский собор. Шла служба. Впереди, у алтаря развевались красные одежды кардинала.

Володя сразу уставился на картины, висящие в соборе, и не отрывал от них восхищенного взгляда.

Молящиеся (их было не так уж много) оглядывались на нас. Наша военная форма смущала их. Мы вышли, едва оттянув Луговского от картин.

— Мурильо,— сказал он нам восхищенно.— Вы понимаете, ребята? Редкий Мурильо...

...Много позже литовский поэт Вацис Реймерис написал стихи «Владимир Луговской в Вильнюсе». Там были и такие строчки:

Пятиконечные звезды по Вильнюсу
кружатся.
Люди глядят на них,
с ними сродниться успев.
И высокий поэт в солдатской шинели
о мужестве
и о любви
читает стихи нараспев...

...А потом было еще много всяких событий и приключений в этом походе.

Помню старинный феодальный замок «Мир», построенный в XV веке. Здесь до прихода советских войск жил князь Святополк-Мирский, крупный магнат.

Мы приехали в этот полуразрушенный (еще со времен Наполеона) замок глубокой ночью... В нижнем этаже светился огонек. Романтически настроенный Луговской высказал предположение, что там скрываются какие-нибудь шляхтичи, и, предложив взять замок штурмом, сам с пистолетом в руках возглавил наш боевой отряд.

В замке оказалась наша саперная рота... И командир роты, техник 2-го ранга, напоил нас, продрогших, крепким ароматным чаем... И Луговской читал стихи...

Помню какую-то деревушку по дороге на Гродно. Гостеприимная хозяйка, совершенно потрясенная величественным видом Луговского, не зная, как угодить ему, буквально утопила его в жарких пуховых перинах. А ночью, напуганная богатырским его храпом, достигшим даже сарая, где сама она расположилась на ночь, долго будила нас: «Скорее, пан полковник умирает...»

А романтический пан полковник только приоткрыл один глаз, перевернулся на другой бок и захрапел не менее грозно и величественно...

...Помню шлагбаум у города Слонима, породивший довольно бессмысленное, но вызывавшее наш общий смех шестистишье Луговского и Долматовского:

Подымается шлагбаум.
Проезжает Апфельбаум.
Не опускайте, пожалуйста, шлагбаума.
Пожалейте нашего дорогого товарища
Апфельбаума.
Но опускается шлагбаум.
И погибает Апфельбаум.

Помню, как проезжали Новогрудок, родину Мицкевича, и Володя, задумчивый, сосредоточенный, рассказывал нам о жизни великого польского поэта, друга Пушкина.

...Помню собрание интеллигенции в городе Гродно, где советские офицеры (Владимир Лидин и я) прочли пораженным гродненским учителям, инженерам, врачам, литераторам лекции о творчестве Генриха Сенкевича и Элизы Ожешко, а полковник Луговской вдохновенно читал стихи Адама Мицкевича.

...Помню и... комический эпизод. В Гродно на улице Наполеона Володя почтительно приветствовал идущего нам навстречу комдива. Комдив сурово остановил его и сказал:

— Нарушаете устав, товарищ полковник! Приветствуете старших небрежно, не вынимая трубки изо рта... Плохой пример для подчиненных. Делаю вам замечание.

— Это поэт Луговской,— шепнул я комдиву.

Он остановился озадаченный.

— Ах, Луговской, поэт... Ну тогда другое дело. А все-таки устав есть устав. Имейте в виду.

Мы долго потом подсмеивались над смущенным Володей...

...Помню и замечательные стихи Володи, прочитанные нам на каком-то биваке, «Ночь под Молодечно» (стихи писал он ежедневно, беспрестанно, в любой обстановке).

Начало:

Ночь, полная листвы
и медленного гула.
Затор грузовиков,
и мы опять идем.
На сотни верст
земля
качнулась и вздохнула,
И танки говорят
с лесами и дождем..

И конец:

Народ бессмертней нас.
Он будет видеть вечно
Сентябрьских
злых лесов
величье и красу.
Но мне дана
одна
та ночь под Молодечно,
Московских танков гул
в бушующем лесу.
Пусть каждый из людей
поймет
без перевода,
Как пробивали мы
свободе путь прямой.
Плывут грузовики —
птенцы родных заводов.
Уходит грузовик —
фонарик за кормой.

7

В Бресте мы встретились с поэтом Александром Твардовским, прикомандированным к армии комкора Василия Ивановича Чуйкова, впоследствии прославленного героя битвы на Волге.

В редакции армейской газеты состоялся импровизированный вечер. Луговской читал «Смерть Шиманского», Долматовский — «Песнь о сестре» и «Городок Долматовщизны», Твардовский — «Вчера и сегодня».

...Вчера хлебороб —
Белорус, украинец —
Стонал на убогой
Своей десятине.
Вчера здесь батрак
Почитался за быдло,
И доли иной
Ему было не видно.
Вчера были паны...
Услышьте же, люди:
Сегодня их нету —
И завтра не будет!

Ночевали мы все в редакции на огромной куче трофейных знамен.

На следующий день выехали дальше — на Варшаву.

Здесь, за Бугом, в лесу у деревни Яблонь, оказались мы свидетелями одного из немногих в тот поход жестоких боев, которые вел батальон капитана Малышева с панскими офицерами и жандармами. В этом бою были ранены помощники Малышева — старший лейтенант Вилонов, лейтенант Бабичев, погиб младший командир комсомолец Гречухин.

Это, в сущности, был первый настоящий бой, в котором пришлось нам принять участие. Сколько их было потом, в более поздние годы! И все же не забыть никогда этого первого...

Сентябрьский вечер. Мы стоим с капитаном Малышевым на опушке леса между поселком Вишнецы и деревней, где расположился штаб дивизии.

Говорим о прошедшем сражении, о погибших героях, замечательных бойцах.

Солнце уже клонится к закату. За лесом пламенеет багровая полоса, неподалеку горят леса, и дым стелется до самого горизонта.

Капитан Малышев тихо говорит, оглядывая своих запыленных, уставших бойцов:

— С честью пронесли полковое знамя. Жаль товарищей, жаль Гречухина...

Потом он подзывает старшего лейтенанта Телешева и дает приказ о дальнейших действиях батальона.

Я послал очерк «Подвиг капитана Малышева» в «Правду».

А в «полевой книжке» Володи Луговского появились стихи:

Будут нас поить
другие реки,
Страны
встанут, стягами горя,
Но не позабудем мы
вовеки
Полдень
в середине сентября...

На шоссе между Брестом и Седлецом близ маленького городка Мендзижец состоялась у нас еще одна знаменательная встреча.

У самого города нам преградил дорогу конный разъезд, примчавшийся галопом с опушки ближнего леса. Командир разъезда осадил коня у самой нашей машины, и мы узнали... лейтенанта Бориса Горбатова...

Что там говорить... Борис соскочил с коня, и Луговской принял его в могучие свои объятия. Оказалось, что Горбатов во главе своего отряда (он был не корреспондентом, а боевым командиром полковой разведки, чем очень гордился) первым вступал в освобожденные польские города. Он шел впереди армии Чуйкова. Население городов и деревень выходило навстречу Красной Армии.

Горбатов смущенно принимал выражение дружбы и любви, полевые цветы лугов Западной

Белоруссии. Он приносил в освобожденные города и села слова братского привета, слова нового мира. Горбатов весь светился огромной радостью. За полчаса он успел рассказать нам о многих замечательных встречах на фронтовых дорогах...

И вот он уже умчался, лихо вскочив, к великой зависти старого кавалериста Луговского, в седло.

А мы прибыли в Седлец. Здесь ждало нас еще одно, до сих пор не зафиксированное ни в одной военной летописи, событие.

...Мы сидели в штабе командира дивизии Концевого, в помещении местного банка, когда вбежал встревоженный адъютант и доложил:

— Товарищ командир дивизии! Немцы!

У нас был приказ двигаться к Висле, к Варшаве. Там была наша демаркационная линия. Откуда же немцы здесь, на полдороге от Вислы к Бугу? И что это за немцы?

Надо было приготовиться к встрече наших «заклятых друзей».

Они вошли четким военным шагом, два майора в мундирах серо-мышиного цвета. Они вскинули руки в фашистском приветствии. Мы молча сидели за большим банковским столом.

Невысокий полноватый майор хмуро насупился и сказал на довольно чистом русском языке, протягивая пакет старшему среди нас в чине — «полковнику» Луговскому, приняв его (к этому располагали, конечно, не только три шпалы, но и весь величественный вид Володи) за командира дивизии:

— Мы получили высший приказ. Новое соглашение. Демаркационная линия будет не по Висле, а по Бугу. Вот.

На пакете было большими буквами написано по-русски: «Главному командованию русской армии».

Командир дивизии, помедлив несколько мгновений, шепнул что-то Луговскому, и Володя на чистом немецком языке сказал громогласно и надменно:

— У нас нет такого приказа, господа офицеры. Мы останемся на месте.

Немецкие майоры замялись.

— Просьба передать этот пакет на ваше командование в Брест,— несколько уже коверкая слова, сказал полный майор.— Мы будем ожидать.

Он опять вытянул руку, повернулся на каблуках и вышел. За ним последовал второй, молчаливый.

— Товарищи корреспонденты,— обратился к нам Концевой,— нет дыму без огня. У вас прекрасная машина. Прошу немедленно отвезти этот пакет командующему армией, в Брест.

...И вот мы возвращаемся обратно в Брест. Луговской бережно держит пакет на коленях. Чувствуем себя историческими личностями. Парламентерами. Поглядели бы на нас сейчас в Союзе писателей! Долматовский гонит машину, точно на международных состязаниях.

Втроем, плечо к плечу, обойдя растерявшегося дежурного, мы входим в кабинет командарма. Василий Иванович Чуйков с удивлением смотрит на нас. (Вот он сейчас возьмет пакет и расскажет нам о том «историческом», что в нем содержится,— думаю я.— Какая неповторимая минута... Для будущих мемуаров...)

Луговской молча вручает пакет. На его лице тоже сознание значительности момента. Эх, жалко, нет фотографа!..

Чуйков берет пакет и говорит нам спокойно, очень спокойно, чересчур спокойно:

— Можете быть свободными, товарищи командиры...

Ошеломленные, обиженные, разочарованные, мы поворачиваемся, кто через левое, кто через правое плечо, и выходим, так и не узнав о содержании «исторического» пакета...

Вот так это и было. Впоследствии событие это обросло разными деталями. Каждый из нас рассказывал о нем по-разному. (Совсем недавно я напомнил об этом эпизоде маршалу Чуйкову, он очень смеялся и жалел, что не познакомился тогда с поэтом Луговским.)

Но самое любопытное заключается в том, что не-

мецкий майор, вручивший тогда пакет германского командования в Седлеце (впрочем, это только одна из имеющих основание версий...), был тот самый Кребс, который через пять с половиною лет, будучи начальником генерального штаба сухопутных войск Германии, приезжал на КП генерала армии Чуйкова договариваться о капитуляции.

Вот какие чудеса случаются на перекрестках фронтовых дорог.

...А потом войска наши заняли позиции на новой границе. Мы объезжали пограничные гарнизоны.

Бойцы распевали уже новую песню, сочиненную Луговским и Долматовским:

Подвиги геройские не могут умереть —
Про поход, товарищи, надо песни петь.
Перешли границу мы — чуть светлел восток,
Мы на Гродно двинулись,
на Пинск, на Белосток.
Вольная, свободная
На все времена
Наша Белоруссия,—
Родная сторона...

В Пинском костеле, с колокольни которого панские последыши пытались еще обстреливать наши части, Луговской обнаружил оригинал Рембрандта (в том, что это оригинал, мы, правда, сомневались, но не могли оспаривать утверждения столь уверенного в себе знатока живописи), и по приказу полковника к картине был приставлен специальный караул.

В казематах Осовца Володя прочел нам целую лекцию об инженерном искусстве и крепостях первой мировой войны. И мы трепетали перед всеобъемлющей его эрудицией.

...И вот мы уже обходим пограничные посты. Пограничная тишина, столь знакомая Володе... На скольких восточных пограничных заставах пришлось побывать ему в прошлые годы! И вот теперь эта новая, западная. Маленький тусклый огонек мигает вдали... За границей... Там немецкие солдаты.

...И вот уже сидим мы втроем на каком-то по-

граничном хуторе и сочиняем последнюю корреспонденцию «Граница на замке».

«4 октября в 6 часов вечера по приказу командира полка рота лейтенанта Антоненко двинулась к границе и выделила первую заставу.

И первым часовым на самой границе стал Антоненко Павел, колхозник Ельнинского района, деревни Васильево, а подчаском — боец Клюев...»

«Высоко в небе светят огни Большой Медведицы»,— пишу я привычно.

— Саша,— горестно восклицает Луговской,— опять Большая Медведица! (Без «Медведицы» не обходился почти ни один наш очерк.) Саша... Прошу тебя. Не пиши так красиво. Похерь Медведицу...

«Темна осенняя ночь. По песчаной тропинке гуськом идем мы с караульным начальником и командиром роты к караулу. Вдали слышен лай собаки...»

— Саша.— Луговской свирепеет.— Эта собака уже лает в пятом очерке... Похерь собаку...

Концовка. О пограничнике Муравьеве:

«На самом рубеже своей страны в последнем полевом карауле он, защитник своей родины, воин непобедимой армии освободителей. Граница на замке...»

И подписи: Александр Исбах, Владимир Луговской, Евг. Долматовский.

Я переписываю очерк начисто, а Луговской с Долматовским сочиняют уже только вдвоем новую песню:

Иду в дозор порой ночной
С винтовкою в руке.
Моя страна стоит за мной —
Граница на замке!

...Забудут братья навсегда
О горе и тоске.
Сверкает красная звезда
— Граница на замке!

Завтра на произвольный мотив (композитора еще нет) ее уже будут распевать пограничники.

...И, конечно, апофеозом всего освободительного похода было Народное собрание в Белостоке. Его открыл своим докладом депутат Народного собрания Сергей Притыцкий, народный герой, подпольщик, стойкий ленинец, прошедший сквозь панские тюрьмы и пытки дефензивы. (Ныне С. О. Притыцкий — секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии.) Все подполье облетела весть о его легендарно смелом подвиге. Пробравшись в зал военного суда, где шел процесс над семнадцатью революционерами, выданными агентом дефензивы Стрельчуком, он в окружении шпиков, жандармов, судей, прокуроров застрелил провокатора.

Он был три раза приговорен к смертной казни, не раз к пожизненному заключению. И победил смерть. И вырвался на свободу. И бежал из Варшавы. На Варшавском шоссе он увидел первых красных кавалеристов. Об этой минуте мечтал он всю жизнь. Свобода... Свобода и счастье. Он хотел стянуть с коня первого кавалериста и крепко обнять его. Но кавалеристы спешили. Они выполняли боевое задание. Может быть, это была полковая разведка Бориса Горбатова...

И вот он стоит перед нами, Сергей Притыцкий, на трибуне Народного собрания, взволнованный и вдохновенный.

— Какую же мы изберем себе власть? — спросил Притыцкий депутатов, своих земляков, своих братьев.— Может быть, мы изберем себе прежнюю панскую власть?..

Он сам не ожидал того, что произошло... Весь зал встал. Депутаты кричали, махали руками, многие бросились к трибуне...

— Нет!.. Нет!.. Нет!.. Никогда! Советскую власть... только советскую!

Долго не успокаивался зал. Долго не мог депутат Притыцкий продолжить свой доклад. И мы, писатели в военной форме, волновались не меньше депутатов. Володя Луговской, возбужденный, бледный крепко сжал мою руку.

— Государственная власть в Западной Белоруссии должна быть советской,— сказал депутат Притыцкий.

Все депутаты опять встали, как один человек, и зал запел «Интернационал» — великий гимн освобождения. Рядом со мной стояли и пели Ильенков, Сурков, Долматовский, хрипел захворавший Симонов. Гремел мощный бас Володи Луговского. Депутаты Народного собрания с уважением смотрели на вдохновенное лицо советского полковника, уверенно ведущего мелодию не всем еще знакомой песни. Слезы катились по щекам Володи. И он не стыдился этих слез.

8

В сороковом году наша тройка (Луговской, Долматовский, Исбах) получила новое задание ПУРа. Выехать в Прибалтику, только что освободившуюся от буржуазных правительств. Для выступления перед воинами расположенных в Латвии, Литве и Эстонии советских гарнизонов.

Бригада наша была пополнена С. И. Вашенцевым и М. В. Эделем.

Луговской был старым «зарубежным» путешественником. Все остальные впервые (не считая освободительного польского похода) были за рубежом.

А в Риге все еще пахло зарубежным духом. Разместили нас на улице Вальдемараса в бывшем офицерском собрании. Но «домой» мы приходили только глубокой ночью.

Бродили по Риге, рылись в книжных магазинах и старых библиотеках, смотрели «заграничные» фильмы в кино, ездили по красноармейским частям, выступали, выступали, выступали.

В воинском клубе города Елгавы Луговской читал европейские стихи:

Лежит через всю Европу
дорога большевика...

И юноши в военной форме, знающие наизусть «Песню о ветре», совсем не прочь были пойти вслед за полюбившимся им поэтом по этой вдаль уходящей дороге. Как всегда, покупали на выделенные нам латы всякие сувениры. Володя в одном магазине спросил, сколько стоит огромная диковинная медаль, выставленная в витрине, и был весьма смущен узнав, что это медаль фирмы и она не продается.

Большой, красивый, монументальный, ходил он по рижским проспектам неторопливой своей поступью, привлекая общее внимание горожан и величественно-ласково отвечая на приветствия военных (конечно, вынимая трубку изо рта).

А потом, после большого литературного вечера в Доме офицеров, мы поехали в Таллин. По приморской дороге. Через Лимбажи, Эйнажи, Пярну.

Это была замечательная поездка по неизведанным дорогам, полная воздуха, свежего морского ветра, веселых эпиграмм, шуток, стихов.

Неподалеку от эстонской границы в рыбацкой таверне светлокудрые зеленоглазые девушки угощали нас брагой. И Володя убеждал нас, что это настоящие русалки, посланные нам навстречу самим Посейдоном. Оторвать его от русалок, которым он читал стихи на всех известных ему языках, оказалось делом нелегким и долгим.

На латвийской границе еще стояли пограничники. Правда, пограничный шлагбаум они подняли перед нами стремительно и безмолвно. А через двадцать метров так же взвился перед нами эстонский пограничный шлагбаум... (И мы опять вспомнили мифического Апфельбаума.)

Не доезжая Таллина, машина наша на крутом повороте перевернулась. Мы беспомощно барахтались и были «спасены» работающими по соседству в поле крестьянами. Счастливо отделались царапинами. Никакой опасности для жизни они не представляли. Но для публичных выступлений потрепанный вид наш был весьма подозрителен.

А в Таллинском театре нас уже ждали слушатели, и надо было спешить...

Примчались мы буквально за десять минут до выступления. Володя Луговской открыл вечер импровизированной новеллой о русалках, околдовавших нашу машину и чуть не погубивших добрых молодцев-поэтов.

Царапины служили иллюстрацией к новелле.

Смех. Добрые улыбки сочувствия и ехидные усмешки недоверия.

А потом опять стихи, рассказы, долгая задушевная беседа о жизни и о литературе. И, конечно, в заключение, как водится, по требованию слушателей традиционная «Песня о ветре»...

Это была чудесная поездка, о которой мы часто вспоминали. Вплоть до самой войны...

9

...Воспоминания уносят меня далеко вперед. Пятидесятые годы. Снова Литературный институт.

Уже седой, по-прежнему неутомимый, по-прежнему влюбленный в молодежь, Луговской по-прежнему ведет творческий семинар. По-прежнему разлетаются птенцы его по всем республикам Советского Союза, и вскоре отовсюду — из Средней Азии, с Крайнего Севера, с гор Дагестана, из солнечной Молдавии — приходят на адрес «дяди Володи» тоненькие книжечки — первые книжечки стихов его питомцев. С такими искренними и горячими словами посвящений, которые помогают поэту-учителю и жить и творить.

— Вот, Саша, главная гордость моя, — говорит Луговской, показывая мне два шкафа, полных книг во всевозможных обложках. — Творчество детей моих и внуков... Да, и внуков...

Ведь Долматовский, Луконин, Смирнов, Яшин сами уже «мэтры», сами воспитывают молодежь. Здесь и первая тоненькая поэма Кости Симонова «Павел Черный» («Ты помнишь эту, еще довольно-таки слабенькую поэму?»), и собрание сочинений

Константина Михайловича Симонова... Здесь и тонюсенькая книжечка Маргариты («Ты помнишь, как читала она всегда стихи, смущенно прикрывая лицо руками?»), и «Избранное» Маргариты Иосифовны Алигер, одной из ведущих наших поэтесс...

Здесь и павшие в боях. Кульчицкий. Коган.

Здесь и другие поколения. Гамзатов. Винокуров. Слуцкий.

Здесь и совсем юные... Вот Зоя Габоева... Вот Юнна Мориц...

— Знаешь, Саша. Иногда мне кажется, что я сильно постарел. Дамасские кинжалы больше не волнуют меня. А в редкие свободные вечера я подхожу к этим шкафам, вынимаю одну за другой книжки... И вся моя жизнь проходит передо мною. С радостями и горестями, с ее взлетами и падениями. Всякое бывало. И я листаю эти книжки, толстые и тонкие, и я снова молодею, и мне снова хочется жить. Тебе знакомо это чувство?

Да, мне знакомо это чувство, Володя. Милый, седой и всегда молодой Володя, старинный друг мой...

Находились в нашей среде люди, которые упрекали Луговского:

— Старик, тебе надо больше подумать о себе, о своих новых книгах. Ты ведь уже далеко не юноша. А ты растрачиваешь свое время на других.

Луговской негодовал.

— В каждом из них, молодых,— мое сердце. Может быть, я напишу меньше на одну свою книгу и сумею помочь выходу пяти книг замечательных питомцев моих... Сочтемся славою...

Не раз по почину Луговского, а в былые дни еще и замечательного воспитателя молодежи Михаила Григорьевича Огнева, писали мы гневные письма и статьи в защиту Литературного института, в защиту «лицея» нашего, на самое существование которого вот уже тридцать лет беспрестанно посягают противники его.

Луговской был воспитателем добрым, но суровым. Иногда после его семинара молодые поэты вы-

ходили как из бани... Красные, взъерошенные, пропаренные, что называется, до костей. Но никто не обижался на Луговского. Знали, что за судьбу настоящих талантливых людей он будет бороться, принципиально, настойчиво, до конца.

Когда в одном из украинских издательств пытались перекроить книгу молодой поэтессы Юнны Мориц, с протестом выступил и Володя Луговской...

Я знал о том, как перегружен Володя. В последние годы он опять и много ездил и много писал. Это был замечательный взлет его творчества, орлиный взлет, за которым все мы следили с надеждой и радостью. И все же, когда созданы были Высшие литературные курсы, я упросил Володю принять участие в их работе, взять руководство еще одним творческим семинаром, семинаром самым трудным, в котором объединились поэты разных национальностей.

Он согласился. Он любил работать с поэтами разных республик, приносящих в литературу воздух своей страны — ледяной Чукотки и знойного Таджикистана. Он много переводил и друзей своих и учеников. Многие, многие ныне маститые поэты наших республик не забудут своего заботливого, строгого, сердечного и терпеливого учителя.

Проходишь, бывало, мимо аудитории, где занимается Луговской, и слышишь разноязычный говор его учеников. Он требовал прежде всего (не доверяя подстрочникам) прочесть стихи в оригинале. Веселый смех, могучий бас «мэтра»... И сердце радуется. Живы наши традиции, жив замечательный «лицей» наш, жив «дядя Володя»...

10

В последний год жизни Луговского (последний... Как горько писать это слово!) мы жили в Доме творчества, в Переделкине. Он работал над книгой «Середина века»... Он был уже тяжело болен. Но работал страстно, неудержимо. Он боялся не успеть.

У него было много замыслов. Я никогда не видел его в состоянии такой «одержимости». Любитель поговорить с друзьями, «потрепаться», он запирался в своей узкой келье (№ 13) и писал, писал, писал. Днем и ночью.

И сюда приезжали молодые поэты. Их принимал он всегда. С сожалением отрывался от рукописей своих и слушал в саду, на скамеечке, их стихи, входил во все их нужды, редактировал их книги, звонил, помогая им, в институт, в издательства, в Литфонд.

Мы хотели оградить его от «нашествия». Но в этом вопросе он был непреклонен.

— Это необходимо,— говорил он.— Что делать, что делать... Ну, напишу на одно стихотворение меньше... Они допишут за меня...

...В эту ночь не спалось... Я вышел посидеть на скамеечке перед домом, где часто сиживали мы с Володей Луговским, философствовали о жизни, о творчестве.

Недавно здесь я (не поэт) читал ему таежные свои стихи, и мы говорили о верности, о партии, о сложных судьбах человеческих.

Долго говорили и долго молчали.

...Окно комнаты Луговского светилось. И мне казалось, что я слышу биение его сердца и стук его машинки...

Вдруг окно померкло. Стукнула дверь, и Володя вышел, опираясь на массивную свою трость.

Мне показалось, что он обрадовался, увидев меня на скамейке.

Он подошел, сел. Морозный воздух пенился от его дыхания. Без всякого предисловия прочел он мне только-только рожденные строчки:

Пусть люди мирно спят и видят сны
Счастливые. И пусть зашелестит
И развернется под луною книга,
Земная книга воли и свободы.
Пусть в нашем мире воцарится юность.

Тебя я вымыл месяцем и ветром,
Проснись и приходи под небо юга.
Вся в песнях ветра, в грохоте прибоев,
Скорей явись!
Тебя я вызываю
Из времени, пространства и судьбы.

Дыханье молодости слышит мир,
Рожденный, чтобы вечно обновляться.
Так будем вечно обновлять его!..

...Работая в Переделкине, я часто прохожу мимо этой скамейки... Сижу на ней в бессонные ночи... И всегда мне кажется, что вот сейчас отворится дверь, выйдет Володя, подойдет ко мне и скажет:

Поэзия! Бессребреная слава
В холщовом платье, в тоненьких сандальях,
Проснись! В тебе такие силы есть,
Каких не знала память человека...

Но дверь не открывается. Никто не выходит. Володи уже нет. И только память о нем неизгладима.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСБАХ

Александр Абрамович

НА ЛИТЕРАТУРНЫХ БАРРИКАДАХ

М., «Советский писатель»,
1964, 368 стр.

Редактор А. И. КРУТИКОВ
Художник Ю. В. САМСОНОВ
Худож. редактор Д. С. МУХИН
Техн. редактор М. А. УЛЬЯНОВА
Корректоры: Т. И. ВОРОНЦОВА и
Ф. Л. ЭЛЬШТЕЙН

Сдано в набор 20/IV 1964 г.
Подписано в печать 15/IX 1964 г.
А-09410. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Печ. л. $11^{1}/_{2}$ (18,86). Уч.-изд. л. 16,38
Тираж 30 000 экз.
Заказ № 692. Цена 59 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9. Б. Гнездниковский пер., 10

Ленинградская типография № 4
Главполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров СССР
по печати, Социалистическая, 14


59 коп.